

АНАТОЛИЙ
ВИНОГРАДОВ

Осуждение
ПАГАНИЗМА





Библиотечная серия

АНАТОЛИЙ
ВИНОГРАДОВ



Niccolò Paganini

Осужденный
ПАГАНИНИ

КИЕВ «МУЗИЧНА УКРАЇНА» 1984

Оформление художника *М. Митченко*

Библиотечная серия

Анатолий Корнелиевич Виноградов
ОСУЖДЕНИЕ ПАГАНИНИ
РОМАН

Редактор *А. Г. Любченко*
Художественный редактор *Е. Ф. Контарь*
Технический редактор *М. Г. Чередник*
Корректоры *Г. Н. Вильховская, Т. И. Павлюк,*
А. Г. Савчук

Информ. бланк № 1304

Сдано в набор 14.11.83. Подписано к печати 18.01.84. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага № 3. Гарнитура литературная. Способ печати высокий.
Усл. печ. л. 17,22. Усл. кр.-отт. 17,48. Уч.-изд. л. 19,42. Тираж 250 000 экз.
(2 з-д 150 001—250 000) Зак. № 3—3112. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Музична Україна», 252004, Киев, Пушкинская, 32.
Головное предприятие
республиканского производственного объединения «Полиграфкнига»,
252057, Киев, Довженко, 3.

Виноградов А. К.

B49 Осуждение Паганини: Роман. — К.: Муз. Україна, 1984. — 328 с.

Книга посвящена творчеству одного из прославленных музыкантов мира — итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини. Рассчитана на широкий круг читателей.

B 4700000000—014
M208(04)—84 14.84

P2

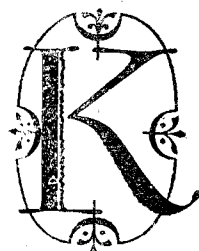
Печатается по изданию: Анатолий Виноградов.
Избранные произведения в трех томах, том третий.
М., Гослитиздат, 1960.

© Издательство «Музична Україна», 1980, 1984.



Глава первая

ГОРОД ДВУЛИКОГО БОГА



огда время прокладывает новую дорогу, когда новая морщина ложится на лицо земли, то старые дороги, как старые складки на лице, теряют свои прежние очертания. Пути, проложенные историей между странами земли, подвергаются причудливым изменениям. Одни поражают своею свежестью, шириной, полновозвучной наполненностью, движением, другие, еще долго сохраняющие свою величавость, гложут, погружаются в тишину. Трава пробивается между каменными плитами, и, наконец, деревья могучим потоком живой ткани выламывают камни. На этих дорогах птицы и звери забывают, что здесь когда-то шли колесницы и ступала нога человека. Пути, рассчитанные на века, сохранили свою старинную прочность, но остались без применения.

Города, лежащие на больших исторических путях, несут на себе следы всех этих перемен. Одни замирают, другие наполняются неслышанным и небывалым шумом. Одни поглощают свои пригороды, выбрасывая улицы далеко за пределы старых застав, рогаток и околиц, другие принимают в себя, на развалившуюся мостовую, семена соседних рощ и полей. Брошенные церкви окраин обрастают деревьями, колокола покрываются пылью, и от языка к стенке колокола тянется блестящая на солнце паутина.

Имена городов не случайны. Так и город, родивший Паганини, осужденного на гениальность и проклятого за талант, носит не случайно название Генуя. В средние века этот город назывался Јапиа. Латинское слово јапиа значит *дверь*. Не только такая створчатая дверь, которая ходит на петлях, а дверь в смысле порога и выхода, отделяющего весь открытый поднебесный мир от замкнутого жилища человека. Јапиа — это и не только дверь, это выход в новый день, порог к завтрашнему от вчерашнего, это взор, вперенный в будущее, и оглядка на прошлое. Јапиа — рим-

ский бог, охраняющий пороги домов и входы в города, какое-то воплощение геометрической химеры, определяющей черту между прошлым и будущим, там, где настоящее становится тоньше тени от паутины.

Этот римский бог нашел свое олицетворение в виде двуликого существа. Одно лицо смотрит вперед, другое — назад, хотя они являются частями одной и той же головы.

Первый месяц года назывался Януарий. Он запирает собой последние мгновения старого года, когда в зимнюю стужу, в вихрь и выюгу уже слышались голоса наступающей весны.

Когда-то Средиземье, замкнутое в гигантский эллипс, было увенчано короной драгоценных городов. На дальнем Западе, за Столбами Геракла, открывался Атлантический океан. Старинные периплы греков рассказывают о путешествии финикийца за Геркулесовы Столбы, о походе Язона за золотым руном. Платон в «Тимее» и в «Критии» повествует о том, что за Геркулесовыми Столбами когда-то была долина в Атлантиду. Страна ушла под море. Остатки древних народов еще встречаются на лице теперешней земли. Как Архимед о пестчинках, так Платон говорит о древних мирах, об их кончине и о возникновении новых. Столбами Геракла кончились достижения старинного человечества. Отважные мореплаватели, пролагавшие пути на Восток, туда, где встает солнце, на Левант, имели гораздо больший успех, чем путники, уходившие на Запад. На Восток устремлялись сердца искателей индийского золота и помыслы тех, в ком пламенело желание видеть неугасимые лампы Иерусалима. Вот венцом к этому венцу городов Средиземья, ключом к вратам земли была в те века Генуя.

Из Генуи вышел человек, пожелавший запереть двери старого мира и открыть выход в Новый Свет. В Генуе родился Колумб.

Когда американское золото наводнило Европу и Новая Индия вытеснила Старую Индию Леванта, замерли громадные дороги, выводившие Европу через генуэзские двери на старинный Восток.

В XIV столетии Генуя потеряла Кипр. Прошло четыре века, она потеряла Корсику. Корсика — генуэзский остров. Ее захватили французы. И вот теперь корсиканский офицер с севера двигался в Италию. Бонапарт и Массена шли походом на Геную. Город пытался сохранить свою вольность. Генуэзская республика в дни Бонапарта еще избирала дожа, при нем существовали еще двенадцать губернаторий и восемь префектур. Генуэзская аристократия в Ма-

лом совете управляла городом, богатые горожане и дворяне составляли Большой городской совет из трехсот человек...

Глава вторая

ЛЕГЕНДА О РОЖДЕНИИ

Три грязные, обвалившиеся ступеньки сквозного — из улицы в улицу через дома — коридора вели в серый дом в Пассо ди Гатта Мора. На этих ступеньках, по преданию, поскользнулась повивальная бабка. Споткнувшись, старуха упомянула черта, и в это время открылась дверь и послышался сильный мяукающий плач новорожденного Паганини.

Ребенок кричал всю ночь, ребенок кричал утром. Он плакал, словно жалуясь на произвол родителей, призвавших его к жизни в эту дождливую и бурную ночь, когда в оба генуэзских мола, как пушечные выстрелы, хлопали волны прибоя.

Паганини родился в ночь на 27 октября 1782 года.

Глава третья

НИЩЕТА

Неподалеку от Пассо ди Гатта Мора в те годы стояло длинное строение, обращавшее на себя внимание черными рамами окон, пятнами сырости, дырами в старой, позеленевшей штукатурке. Это было убежище для бедных — «Albergo dei poveri».

В гурьбе оборванных ребятишек, высыпающих из этого здания пускать бумажные и деревянные кораблики в лужах или с гамом и криком бросающихся в уличные бои, можно было заметить маленькую обезьянку с выдающейся челюстью, широким лбом, курчавыми черными волосами и очень длинным носом. На этом уродливом лице странно выделялись огромные агатовые глаза. Необычайно красивые глаза поражали своим несоответствием всему облику длиннорукого, кривоногого ребенка с громадными ступнями, с длинными пальцами на длинных кистях. Когда эти глаза загорались любопытством, лицо выравнивалось и внезапно теряло свою уродливость. Но это мимолетное облако мгновенно таяло, и, скаля зубы, маленький человек испускал вопли и дикие ругательства, налетал вместе с товарищами

на соседей, отбивал у них кораблики и лодки, быстро мчавшиеся по уличным потокам...

В узких и темных коридорах «Убежища» они играли в прятки. По воскресеньям они наблюдали, как старый инвалид, напившись после полудня, бил костылями свою старуху. Ребятишки взбирались на верхнюю площадку лестницы: стекло над дверью позволяло любоваться семейными сценами. Они осторожно подходили к дверям каморки, где нищие играли в кости, и терпеливо ждали того момента, когда проигравшие вступят в драку с выигравшими. Под стук кулаков и грохот падающих стульев они разбегались, насладившись зрелищем и унося с собой тревожное чувство свободы от родительского авторитета.

Одно из первых потрясений — долгая и страшная болезнь. Три недели Никколо бредил, соскакивая с кровати; ему связывали руки и ноги, на голову клали полотенце, смоченное холодной водой. Болезнь совершенно истощила его. Он долгое время был оторван от компании своих сверстников. Целыми часами играл он на лютне, пока мать шила, стирала, гладила, готовила скудный обед. Он уже играл на отцовской гитаре.

Никколо рос на попечении матери. Старшего брата, Франческо, почти никогда не бывало дома, он постоянно вел какие-то таинственные переговоры со стариками, приходившими к синьору Антонио. Это был для Никколо чужой и даже неприятный человек. Синьор Антонио тоже все чаще и чаще отлучался из дому.

Однажды, проснувшись ночью, Никколо увидел мать перед распятием, она усердно молилась. Отца не было дома. Взглянув на сына, мать подошла к постели и сказала:

— Спи, спи, он еще вернется, он недалеко. Он играет и проигрывает: в надежде принести нам счастье приносит горе...

К полудню следующего дня Антонио Паганини вернулся. Мальчик играл на лютне. Он так увлекся, что не заметил вошедшего отца. Антонио Паганини стоял с улыбающимся лицом и слушал. Позади него в дверях остановилась мать. Когда ребенок кончил играть, отец захлопал в ладоши и, подойдя к сыну, положил, — быть может, впервые, — свою большую ладонь на его чернокудрую голову. Маленькая обезьянка; открыв широко челюсти с желтыми зубками, заискивающе и трусливо поглядела вверх, на суровое лицо отца.

— Фу, какой ты урод! — сказал вдруг синьор Антонио. Ласковое выражение исчезло с его лица, он обернулся к жене. — Тереза, ну пойди, купи всего, что нужно к обеду. Я голоден. Давайте сегодня повеселимся немножко.

Он взял гитару, сел против сына, кивнул ему головой — «Карманьолу!»

Отец играл хорошо, сын робко старался вторить. Потом, вдруг ударив по струнам, Антонио Паганини положил гитару и резкими и большими шагами вышел в соседнюю комнату. Он принес оттуда старую скрипку и объявил:

— Никколо, ты будешь учиться играть на скрипке. Я сделаю из тебя чудо, ты будешь зарабатывать деньги. Знаешь, что это такое? Эта скрипка принадлежала нашему предку, похороненному в Капуе в Аннинской церкви. То, что я проиграл на бирже, ты должен выиграть на скрипке. Сегодня хороний день. Видишь эту машину? — отец показал на картонные таблицы, лежавшие на письменном столе. — Это мое изобретение, это мое открытие. Тайна успехов в моих руках. Простые кружочки картона ворочаются и раскрывают мне тайну выигрыша...

В это время вошла синьора Паганини с корзинкой.

— Ну что ж, иди, Антонио?

— Иди, иди. — Он вынул из камзола пачку кредитных билетов, выбрал билет наименьшего достоинства и вручил жене. — Вот видишь, Тереза, — сказал он, — мои дела поправились, отгадывающая машина не врет, я теперь знаю наверняка, какие номера лотереи покупать, чтобы выиграть!..

— Ну, ну! — перебила жена. — Не нужно меня обманывать, я знаю, что ты играешь в карты...

— Не лги!.. — закричал старик. — Ступай, ступай отсюда! Иди, куда тебе надо...

Начался первый урок скрипичной игры. Маленький человек с трудом понимал отца. Отец раздражался и на каждый промах сына отвечал подзатыльником. Потом взял со стола длинную квадратную линейку и стал ею пользоваться во всех случаях, когда сын делал ошибку. Он легкими и почти незаметными ударами бил его по кисти до кровоподтеков. К тому времени, когда вернулась с покупками Тереза Паганини, синьор Антонио был уже в полной ярости. Он запер мальчика в чулан и велел ему играть первое упражнение.

Дикие, раздирающие уши звуки слышались из чулана в течение целого часа, пока Антонио Паганини сидел с женой за бутылкой вина. Он хвастливо рассказывал о своих

выигрышах, проклинал синьора Лоу, который разорил французские банки и наводнил всю Францию кредитными билетами вместо хорошей, добротной звонкой монеты. Он проклинал итальянских акционеров, которые вошли в соглашение с французскими купцами: в те дни, когда «эти проклятые французы захватили главную крепость Парижа, посадили в тюрьму короля, отменили бога и святую церковь», — по морям прошли ураганы, совсем не похожие на прежние бури... Но ни одна буря не нанесла столько ущерба морской торговле, сколько бунт французской черни. Англичане перехватывают французские торговые суда. Французские купцы прекратили платежи по итальянским обязательствам, биржа заглохла. За какие грехи честный старый маклер Антонио Паганини должен страдать, когда французская чернь бунтует?

— И эта проклятая чернь поет нашу генуэзскую «Карманьолу», когда идет по улицам в красных колпаках и с человеческими головами на пиках! Как им не стыдно порочить наши хорошие генуэзские песни!..

Язык старого Паганини все больше и больше заплетался, Антонио все чаще прибегал к крепким выражениям. Он бранил всех, рассказывая о бесчестном дворянстве, о разорении купечества. Внезапно принимался восхвалять свою лотерейную машину. Он уже не обращал внимания на то, что его собеседница молчит. Он уже не видел страдальческого выражения ее лица. Расхваставшись, он ударил кулаком по столу:

— Тысяча дьяволов! Слышишь, как играет мальчишка? Из него выйдет толк!..

Тогда Тереза решила напомнить о том, что мальчик был недавно болен, что ему опасно так долго и так сильно напрягаться, что ему пора обедать. Синьор Антонио резко перебил ее:

— Не будет есть, пока без ошибки не сыграет первого упражнения...

Глава четвертая

ВОЙНА

В «Убежище» рассказывали странные вещи. Французы в городе Париже на большой площади поставили помост, на помост поставили стойки, между стойками укрепили в пазах большой стальной треугольник, который опускался в пазы и сваливался острым концом вниз. Одним словом,

французы сделали миланскую машину, которой старые миланские мясники убивали быков на бойне. На этот раз они сделали машину для человеческих голов. Они вывели короля из башни, в которой держали его в плену, положили его под эту машину и опустили тяжелый стальной треугольник, а потом подняли за волосы голову, отделенную от тела, и показали собравшемуся парижскому люду со словами: «Вот истинный король Франции».

Никколо с удивлением слушал эти разговоры, передаваемые из уст в уста. Говорили, что король этот был злодеем и предателем своего народа, что казнь его — справедливое воздаяние за преступление, совершенное им перед своей страной. Говорили, что он позвал иноземные войска для того, чтобы опустошить Францию огнем и мечом. Говорили о страшных пожарах французских сел, о голоде французского простолюдина, о том, что соседние монархии объединились для спасения Людовика XVI и что они теперь ведут войну с восставшим французским народом.

— ...А вы слышали? Французы поют нашу «Карманьолу»...

...Маленький Паганини играл уже хорошо. Он научился играть по нотам. А когда уходил старик, принимался сочинять сам короткие музыкальные пьесы. Он представлял себе, как французы со знаменами, в красных шапках идут на парижскую крепость. «Бастия, Бастилло», — старался вспомнить маленький Паганини, и звуки, рождавшиеся в нем внезапно, он передавал в игре на своей старой, непомерно большой скрипке. «Карманьола» выходила живая, звучная. Но это была уже другая «Карманьола», другая песня. С этой песней, воспользовавшись отъездом отца, маленький Паганини впервые вышел из дома, и с этой песней, как со своей добычей, он вошел в полутемный коридор «Убежища». Впервые играл он при большом скоплении слушавших его людей. Он испытывал особую гордость, когда к звукам его скрипки вдруг присоединились голоса поющих взрослых людей. Мужчины и женщины, обступившие его в «Убежище», пели «Карманьолу» на новый лад, с тем богатством оттенков, которое придавала ей скрипка Никколо.

Над Генуей по-прежнему сверкало яркое солнце. По-прежнему ласково пела, набегающая на мол в Дарсена Реале, морская волна, по-прежнему мерно качались цветущие деревья в городском саду, и гигантские мраморные памятники на кладбище белели под лучами солнца, неизменно

спокойные, величавые, охраняя старинные могилы генуэзской знати.

Никто не знал, кроме городского совета, о том, что ураган, срывающий кровли дворцов, несется с севера на юг, с запада на восток и что не нынче-завтра ясное небо Генуи покроется тучами. Носились темные слухи о том, что где-то в горах, в Западных Альпах, в горных проходах, появились красно-синие-белые мундиры, трехцветные знамена развевались перед конницей, шедшей на Капель Франко, на крепость Бард. Но это были только слухи. Называли итальянскую фамилию, говорившую об удачливом и счастливом жребии, о хорошей участи того, кто носит эту фамилию. Буонапарте — счастливая доля, — так называли человека, шедшего с целой армией бунтовщиков с севера на юг.

— Кто он? — так рассуждал старик Паганини за столом. — Он — сын простого корсиканского синдика. Как же эта сволочь смеет носить генеральский мундир, когда он даже не дворянин Франции?! Разве они могут устоять против регулярных войск австрийского короля?..

— Близок конец мира, — говорил он, однако, допивая четвертую бутылку. — Скоро некуда будет бежать.

Два раза открывалась генуэзская биржа. Два раза сеньор Паганини получал огромные выигрыши. Ему везло в карты, везло в темных лотерейных делах. Соседи шептались о том, что дело не чисто с лотерейными номерами, что колеса лотерейной машины смазаны золотым маслом... Старику сказочно везло.

Когда повеяло зимой, на улицах Генуи родилась тревога, заговорили открыто о движении с запада — от Ниццы — французских войск. Паганини, казалось, не слышал и не видел ничего вокруг себя. Он весь ушел в сложнейшие операции лотерейной игры. Счетная машина, со всеми ее картонными кругами, деревянными планшетками, стальными иглами, стрелками и указателем, уже не пользовалась прежним его вниманием. Запыленная, она валялась в углу, и кошка обращалась с ней до крайности непочтительно. Теперь уже не нужно было прибегать к этим безумным ночным подсчетам. Мышиное шарканье стальных стрелок по картону прекратилось. Часовые стрелки работали на сеньора Паганини — время работало на него.

Паганини плыл по течению. Река времени его несла. Воды этой реки замутились, и в мутной воде бывший маклер города Генуи ловил крупную рыбу.

На севере было неблагоприятно. Пошатнулись устойчи-

вые и солидные предприятия городов. Корабли не выходили в море. Английские «военные пираты» сделались владыками Средиземья. Романелли и Спиро, владельцы одного из банкирских домов Генуи, вызвали маклера Антонио Паганини ранним утром к себе. Они читали прокламации генерала Бонапарта:

«Солдаты, вы плохо кормились, вы ходите почти голыми. Правительство Республики обязано вам всем, но не может сделать для вас ничего. Вам делает честь ваше терпение, наше геройское мужество, но из этих свойств вы не сошьете себе ни славы, ни выгоды. Поэтому я принял решение вывести вас из гор в самую плодоносную долину мира. Перед вами расстилаются широкие дороги с большими городами, вы увидите прекрасную провинцию, новую страну, там вас ждет честь, слава, богатство».

— Что же! — восклицал банкир Спиро, размахивая перед носом Паганини листом синей бумаги. — Что же, этот грубый солдат осуществляет все свои обещания армии разбойников, которую он ведет из Ниццы? — И сам отвечал: — Да! Он начисто грабит города и облагает население такой контрибуцией, которая хуже смерти!

— Мы решили закрыть банк, — продолжал компаньон, обращаясь к Антонио Паганини. — И тебе, нашему верному помощнику, делаем мы почетное предложение: ты поедешь на север и повезешь кое-какую поклажу. Это мешки с нашими бумагами, закладными, векселями, расписками, акциями, облигациями. Наличность мы вывозить не будем. Мы закроем банк и сами на время уедем из Генуи подальше. А ты отвезешь в город Кремону душу и сердце нашего предприятия.

Антонио долго молчал. Лицо его делалось все печальней и печальней. Не поднимая век, он в зеркало наблюдал за выражением лиц своих собеседников и, наконец, снова поднял глаза. Они были полны напускного страха. На лицах банкиров появилась растерянность.

— Мы тебе доверяли крупные сделки, ты был нашим посредником во всех морских делах банка. Скажи, как могли бы мы вознаградить тебя заранее?

Романелли сказал слишком много. Спиро вдруг нахмурился и заявил:

— Я могу договориться с моим братом — он собирается выехать на север, — если тебе трудно сделать это самому, сеньор Паганини.

Тогда старый маклер решил нанести удар. Он знал, каковы отношения между братьями. Он был осведомлен

ПУТЬ ПО ЗЕМЛЕ

о темном деле, после которого братья разошлись. Он знал, что синьор Спиро вовсе не из родственных чувств отказался от вмешательства австрийской полиции в отношении его с родным братом, и быстро замял дело.

Паганини посмотрел на них, сделал еще более страдальческое лицо и сказал:

— Достопочтенные синьоры, у меня жена и дети, я не могу оставить их на произвол судьбы. Покидая родной город, я должен выехать вместе с ними. Я должен купить хороший экипаж, я должен платить дорожке других путешественников, чтобы беспрепятственно получать лошадей, а в то же время я должен сделать все, чтобы меня приняли за путешествующего бедняка. Вы должны согласиться со мной ради справедливости, что поручение ваше равносильно приказу прыгнуть в пасть дракона.

Наступило молчание.

Три раза повторялась эта сцена, после чего сам синьор Спиро скрепя сердце назвал сумму в пять тысяч лир. Паганини встал, держа шапку в руках, и сказал:

— Синьоры, меня ждет семья, разрешите мне уйти и поверьте, что всем сердцем...

Но тут Романелли остановил его резким движением:

— Да что ты, в самом деле, ну, назови цифру, которая вполне соответствует выгодам твоей семьи. Зачем тебе брать жену и детей?

— Нет, синьоры, увольте...

Паганини направился к выходу. Синьор Спиро быстро загородил ему дорогу, подойдя к полке с банковскими книгами. Достав толстую книгу, он стал, расставив ноги, в дверях и сказал:

— Ты вот посмотри, упрямый человек, что мы можем сделать, когда мы почти разорены?

— Я не хочу вас еще больше разорять, синьоры,— сказал Паганини,— я сам живу на несчастные гроши, заработанные мною непосильным трудом в последнее время.

— Ну, скажи, что мы должны сделать для тебя?

Тогда Паганини, потупив голову, произнес:

— Проценты с морских операций банка, как только благородные синьоры возобновят эти операции. В число документов, которые я повезу в Кремону, благородные синьоры благоволят включить обязательство, делающее меня участником банковских прибылей, и двадцать тысяч лир паличными в день отъезда.

В городе Кремоне, на севере Италии, жил синьор Паоло Страдивари. В те дни, к которым относится наш рассказ, он вел свои записи почти ежедневно и отмечал:

«Савойя, Ницца, крепости Алессандрия, Кони, укрепления Сузы, Бунетты, Экзилья захвачены и разрушены. Какой-то безвестный французский генерал, проходивец и негодяй, обложил со всех сторон Мантую, сильнейшую крепость... Город Милан занят французскими войсками. На воротах города красуется надпись: «Слава доблестному французскому оружию!» Женщины в цветных платьях и мужчины в праздничных камзолах встречают французов криками и песнями. Офицеров забрасывают цветами, пушки обвивают цветами и виноградными листьями. Жандармы Австрийской империи бежали на север, духовенство в страхе покидает города, и все это — под грубым напором корсиканского бандита, отменяющего католическую религию, закрывающего монастыри. Герцог Пармский за одно перемирие заплатил два миллиона. Он отдал 20 лучших картин своей галереи, лучших коней пармской конюшни и оставил Парму без провианта. Герцог Моденский отдал 10 миллионов, все картины и статуи своего дворца. Король Неаполитанский в страхе отозвал свои войска, и даже первосвященник римский заплатил 21 миллион этому бандиту. Он выдал 100 прекраснейших картин Ватикана, он выехал из Болоньи в Феррару, из Феррары уехал дальше, малодушно благословив город Анкону на принятие французского гарнизона. Даже наша Ломбардия заплатила контрибуцию в 20 миллионов. Что будет дальше? Кто сопровождает этого страшного злодея? Какой-то Мюрат, сын кабатчика, какой-то безвестный Массена, какой-то безвестный Ожеро. Ни одного имени с титулом, ни одного дворянина. Впрочем, есть разбойник с баронским титулом, волковник Марбо».

27 декабря 1797 года французский генерал Дюфо вмешался в уличную стычку между жителями Рима и солдатами и был смертельно ранен. 10 февраля 1798 года под стенами Рима появился Бертье с армией в восемнадцать тысяч человек. Пять дней спустя Вечный город, столица мира, где имел пребывание наместник Христов, вдруг провозгласил себя Римской республикой, и французская армия с музыкой и знаменами вошла в Рим. Останки

французского генерала Дюфо были погребены в Капитолии, где погребали величайших мужей мировой истории, а римский первосвященник, папа Пий VI, в качестве пленника был увезен в Валанс в простой карете, под конвоем французских офицеров Миолиса и Раде.

Генуя голодала. Генерал Массена и верный его помощник Марбо кормили солдат клейким тестом из овса. Крахмал и бобы выдавались по воскресеньям в качестве лаковой пищи. Похлебку заправляли кожаной резкой из старых ранцев. Так жили день за днем, и так проходили месяцы. Французы голодали. С севера провиант приходил плохо. Французские транспорты, отправленные из Марселя, были перехвачены. А на горизонте появлялись все новые и новые белые точки. Громадные паруса гигантских кораблей белели на закате. Корабли бросали якоря, и длинная ограда, замыкая весь горизонт, обрамляла морскую даль. Французские пикеты проходили по берегу, сверкая киверами и касками. Уличные мальчишки посмеивались, видя, как болтаются на похудевших и тощих телах оборванное обмундирование, сборная одежда, в которой монашеские рясы, перешитые в походные плащи, сочетались с мундирами национальной гвардии парижской милиции, с мундирами конвента.

Французские пикеты не пропускали жителей к берегам. На оконечности мола стояли сторожевые посты. Реквизированные корабли генуэзских торговцев были приспособлены для французской военной службы. Французское командование с тревогой наблюдало за горизонтом. Лес корабельных мачт, легкие и сторожевые суда сменились огромными линейными кораблями. Это накоплялась могучая сила, эскадра английского адмирала Кейса. На море набережных были укреплены батареи; длинные медные пушки, снятые с колес, и перевернутые лафеты лежали неподалеку. Ядра, бомбарды, мортиры, пороховые ящики — все это в большом беспорядке покрывало берег.

Генерал Массена должен был бы давно уйти на север, но боязнь английского десанта заставляла его держаться в этом городе, где голодающее население уже съело последних голубей и ворон, где собакам и кошкам давно стало опасно появляться на улицах, где французским солдатам приходилось превращаться в рыбаков и, отняв сети у окрестных поселян, в сумерки выплывать на лодках за пределы последних ограждений мола...

В эти дни, когда издали доносился гул канонады, когда рвались паруса на море у Лигурийского побережья,

горели палубы, валились расщепленные мачты, где-то на горных снегах горели костры, а по склонам перебежали дружны кричащих людей с поднятыми вверх ружьями, — в эти дни через Комо, Бергамо, Пескьеро двигалась старая, изношенная карета, с облезлыми дверцами и разбитыми стеклами. Закутавшись от ветра, сидели в ней мужчины, женщина и мальчик. Огромные тюки были привязаны на крыше. Форейтор и кучера посвистывали и хлопали бичом, погоняя тощих кляч. Карета ежеминутно останавливалась при встрече с людьми, шедшими пешком по дороге. От встречных узнали, что дорога на Павию и Пьяченцу занята французскими отрядами. Круто повернули на юг. Путь на Кремону был тяжелый, приходилось сворачивать на кружные дороги. Пушки французской армии разбили дороги, глубокие колеи остались повсюду, где проходили французские батареи.

Путешествовавшие не называли себя синьорами Паганини. Это была простая семья бедного, напуганного войной парикмахера, который переселялся с побережья в родной город на севере Италии. Ночевали в маленьких, грязных гостиницах. Спали в них не раздеваясь, и старый Паганини все время ворчал, упрекая жену за ее настойчивое желание бежать из Лигурии. Первоначально он делал это, как актер, ради того, чтобы скрыть истинную цель поездки. Потом он вошел во вкус.

Все выше и выше поднималась дорога. Роскошь тенистых густо-зеленых парков, низкие поросли виноградников, золотистая зелень которых покрывала склоны, освещенные солнцем апельсиновые, лимонные деревья все чаще и чаще сменялись полями тюльпанов, серыми безлюдными рощами олив, на огромном пространстве разливался зеленый свет прозрачной, напитанной солнцем листвы. При въезде в город сломалась ось кареты. Пришлось прожить здесь лишних три дня в ожидании, пока починят экипаж. Это был первый большой привал. Отягощенный трудностями пути и целой фьяской выпитого вина, синьор Паганини заснул и проспал непробудным сном двадцать восемь часов.

...Забравшись на голубятню, маленький Паганини вынул скрипку из футляра. Не раскрывая нот, он взял смычок. Мать охраняла имущество, пьяный отец спал. Внизу, под горой, кузнец раздувал горн. Еще минуту назад, корча невероятные гримасы перед зеркалом и показывая себе язык, Никколо был далек от мыслей о своей скрипке. А тут вдруг ему захотелось поведать самому себе в звуках

впечатления пути, передать свое детское ощущение всего этого зеленого, буйно растущего мира.

Рыбаки, возвращавшиеся с озера, остановились и слушали скрипку. Прошел час, мальчик все играл, до тех пор, пока не увидел в окно толпу горожан, рыбаков с сетями, охотника с ружьем. Он остановился, положил скрипку и осторожно спустился по лестнице...

...Дорога поднималась все выше и выше. Все худших и худших давали лошадей. Клячи едва тянули большую, широкую карету. Зачастую приходилось останавливаться, чтобы дать передышку лошадям, не перепрягая, в первом попавшемся поселке. И эти остановки были большим несчастьем для Никколо. Старый Паганини вдруг, словно одержимый бешенством, стал требовать, чтобы сын играл на каждой остановке. Он будил его по ночам, он заставлял его играть часами. Когда усталый, обессиленный скрипач ронял смычок, отец ударом ноги возвращал сына к действительности.

Так прошли четыре недели пути. Мальчик едва держался на ногах. Под дождем, на сквозном ветру он простудился и стал кашлять кровью. Но, невзирая на это, отец не скуился на побои. Ошибка в пассаже, плохо сыгранный такт, вялость в игре — все влекло за собой наказание. Виноград с вареным рисом отодвигался в дальний угол стола. Мальчик мог издали любоваться лакомым блюдом. Он водил смычком по струнам до полного изнеможения. Блюдо вареного риса превращалось в высокую снежную гору. Колени подгибались, подбородок тяжелее ложился на скрипку, мальчика начинало лихорадить, пальцы быстрее бегали по грифу. Как не похоже здесь на теплую, яркую, освещенную солнцем долину Ломбардии! Там теплые басовые звуки рассказывали его впечатления от теплой могучей зелени, а здесь — снежные поляны, высокая гора и бледные пятна лесов на вечных снегах. И вот снег, холодные искры голубого фирна передавались взлетами к тонкой, серебром звенящей шантрели. Шантрель пела, чистым высоким голосом выводила она мелодию снежных высот...

Отец уходил, и маленький Паганини осторожно расстегивал ремень, которым была перетянута корзина с едой. Потом, крадучись, убежал из дому. Он бегал по склонам гор, выпрашивая у старух кусок овечьего сыра или чашку козьего молока. Усталый, исцарапавшись об острые камни, он забирался в самые глухие места, где отец не мог его отыскать. Засыпал на ветвях деревьев, пригретый лу-

чами солнца, проклиная скрипку, которая превращалась для него в орудие пытки.

В Генуе в старинном застенке мальчику случалось видеть деревянные голенища и колодки, напоминающие по форме деку скрипки. Это были части так называемого испанского сапога, которым стискивали ногу преступника во время пытки. Скрипка стала таким же орудием пытки для рук, сердца и мозга ребенка. Локти и плечи болели, пальцы не держали смычка, левая рука выпускала гриф, и скрипка падала на циновку. Но, помимо того, неделями не проходили кровоподтеки, синяки от умелых щипков родной отцовской руки. Руки, ноги, лицо, шея — все было в синяках. Мать бросалась в ноги, упрашивая отца щадить ребенка, но ее заступничество лишь ожесточало отца. Ничто не могло сломить настойчивости старого Паганини.

— Я сделаю из тебя чудо, проклятая обезьяна!.. Ты все равно продан черту, — так ты или погибнешь, или обеспечишь мою старость. Я выпущу тебя, мальчишка, перед большой толпой знатных и богатых господ, когда мир опять станет на место, после ухода проклятых французских бродяг. Ты будешь вызывать восторг и умиление богатых людей, ты вызовешь у них умиление, которое заставит их забыть свою скупость...

Наступили тревожные дни. Беглецы из южных викариатов спешили покинуть Ломбардию. Говорили, что весь север Италии находится во власти Франции. Старик решил укрыться в Швейцарии. Начались скитания вдоль берегов Тичино. От самого Прато, через Дацию Гранде и Киоту — извилистыми путями на Бруньяско, Альтанну и Ронно. Приехали в район озера Ритом и там остановились.

Вечером, когда семья Паганини села ужинать, послышался стук колес. К маленькой гостинице подкатил в коляске русский генерал с двумя офицерами. Четыре конных ординарца сопровождали коляску. Антонио вскочил и подбежал к окну. Значит, и тут нет покоя! Русские войска, пришедшие на помощь Австрии, идут против французской революции, быть может, они свернут шею генералу Бонапарту, — но кто знает, как они отнесутся к мирным путешественникам!

Русский генерал занял весь нижний этаж. Паганини с вещами выкинули в конюшню. В селении громко поговаривали о том, что неподалеку на горах расставлены русские пушки, и скоро весь берег озера Ритом превратится в яму, изрытую ядрами. Перед наступлением ночи русские

солдаты пели песни, пили огромными ковшами противное кислое вино, смотрели в окна, ждали кого-то.

Под утро внезапно все переменялось. На заре старый Паганини высунул голову из ворот конюшни и увидел во дворе хозяина гостиницы. Тот весело мигнул синьору Антонио и сказал:

— Господин парикмахер, медведи и казаки уехали, за ними приезжал верховой.

Снова дорога замелькала снежными склонами, поющими под ветром соснами и елями. Застывали руки, зябли ноги, лицо обдавал суровый ветер. Коляска тряслась по ухабам. Вязкий снег сменялся каменистым грунтом, цокание двадцати четырех подков сразу пробуждало старика Паганини, который, как нахолившаяся птица, сидел в углу кареты, — и он сбрасывал рукавом каплю, подмерзшую на кончике красного носа.

Глава шестая

КРЕМОНА

После страшной недели в горах — опять зелень, опять дорога, где склоны и долины чередуются с ледяным простором горных озер и необозримыми пастбищами. Воздух режут звуки пастушьего рога, доносится звон колоколов, вся природа наполняется огромным количеством звуков.

Наконец показались старые крепостные стены Кремоны. Две речки и одна река. Маленькая Адда, маленькая Оглио и огромная, полноводно текущая По. Крепость с замком необычайной красоты. Вот застава. Синьору Антонио приходится, разминая затекшие ноги, сутулясь, вылезти из кареты, войти в маленький дом из серого камня и предъявить придирчивому вахмистру документы, удостоверяющие законность поездки синьора Антонио Паганини — теперь уже не безвестного парикмахера, возвращающегося в родной город, а человека вполне достойного и почтенного, благородной профессии, бывшего посредника Антонио Паганини, с супругой Терезой и сыном Никколо.

Потом опять удар бича, лошади рвутся вправо, в переулок, где виднеется двор мессаджера, привычное место стоянки. Несколько порывистых движений вожжами, выкриков, несколько ударов бича, и, переминаясь с ноги на ногу, усталые клячи поворачивают в противоположную сторону.

Вот уже городская площадь. Германо-ломбардские ста-

ришные дома XII столетия. Красный и розовый мрамор, высокий шпиль собора. Вот дом с остроконечной крышей из красной черепицы. Низкие, но широкие двери гостеприимно открываются перед гостями. Старший брат отца, Витторио Паганини, стоит на пороге. Седой парик из собственных волос, красный нос, оловянные глаза, грубый, сухой, покрытый тончайшими морщинами подбородок с черной ямкой посередине, будто следом воткнутого гвоздя, уши маленькие, серые, как будто давно не мытые.

Глаза производят неприятное впечатление на мальчика. После взаимных приветствий дядя откидывает полу камзола, достает из кармана табакерку, нюхает табак и чихает. Слезы льются из глаз. Дядя смахивает слезы платком из зеленого шелка с вышитыми крест-накрест большими ключами. Такие платки имели только лица духовного звания или те, кто внес богатый вклад на церковь.

Прошло утро. Никколо вместе с матерью отправляется в церковь. Мать жарко молится перед фреской, на которой изображен ангел, играющий на скрипке...

Ночью у матери лихорадка. В пути держалась крепко, — вечный страх за Никколо, боязнь, что побои отца сведут ребенка в могилу, постоянное стремление сберечь лишний кусок для сына заставляли перемогаться, скрывать свои страдания. А здесь, в Кремоне, в первый же день пошла на исповедь. Внезапный обморок сломил ее силы.

Под утро, разметавшись в жару, она позвала сына. Долго смотрела на него молча, потом слабым голосом проговорила:

— Мальчик, нынче ночью ангел, тот самый, которого мы видели на святой картине в соборе, сказал мне, что ты будешь первым скрипачом мира. Недаром мы приехали в этот город. Тут жили лучшие скрипичные мастера — Амати, Гварнери и Страдивари. Я чувствую, что здесь ты похоронишь свою мать. Обещай мне никогда не расставаться со скрипкой.

Мальчик был испуган, он бросился на колени и заплакал. Лицо стало еще более уродливым, когда по выдающимся скулам к треугольному подбородку побежали слезы. Никколо обещал матери исполнить все, что она просит. Он обещал бы в тысячу раз больше, лишь бы не слышать ее жалоб и не испытывать этого ужаса, который охватил его при мысли о том, что мать может уйти от него навеки.

Проходили дни. Никого хоронить не пришлось. Мать выздоровела.

Дядя со дня на день становился все веселее и ласковее, он все чаще заговаривал с Никколо, и легкое подозрение закралось в сердце мальчика, приобретшего первый жизненный опыт в «Убежище». Маленький Паганини насторожился, как взрослый, он почувствовал, что отец недоговаривает чего-то в беседах с дядей и дядя намеревается через него, Никколо, выведать то, что прячет так старательно отец. Но мальчик сам ничего не знал и первый раз пожалел о том, что он плохо осведомлен в делах отца. На всякий случай он делал, однако, вид, что ему кое-что известно, но что он должен молчать. Маневр удался. С этого дня дядя был почти в его руках.

— Ты раздираешь мне уши своей игрой, у тебя ужасная скрипка! — заметил однажды дядя.

Маленький Паганини чувствовал, что это только начало большого разговора, и приготовился. Он опять принял вид человека, затаившего какой-то секрет, и перешел в контратаку. Он спросил, правда ли все, что рассказывают о кремонских скрипках, о скрипичных мастерах, прославивших этот город, и, наконец, о Паоло Страдивари, который живет неподалеку от соборной площади. Дядя смотрел на него внимательно и, казалось, не понимал. Наконец старик ответил:

— Дурачок, наш славный город всему миру известен шелковыми фабриками. Правда, сюда приезжал в прошлом году какой-то сумасшедший английский лорд и все выспрашивал и записывал сведения о синьорах Страдивари. Синьоры Страдивари — почтенные дворяне в нашем городе. Они были сенаторами и никогда не занимались ремеслом. Их отдаленный предок, правда, делал скрипки, но это был дворянин, он делал их между прочим и никогда не торговал своими изделиями.

Мальчик слушал его недоверчиво.

— Послушай, — попытался старик свернуть на интересовавшую его тему, — вы перед отъездом из Генуи как будто жили бедно?

— Нет, дядя, — коротко ответил мальчик.

— Вот как! Вы, значит, бедствовали?

— Нет, дядя, — тем же тоном ответил Никколо.

— Так что же, вы были нищими?

— Нет, дядя.

Тогда дядюшка решил сделать передышку.

— Знаешь ли, — сказал он, — синьор Паоло Страдивари жив до сих пор. Он рассказывал мне, как этот сумасшедший английский лорд осаждал его расспросами о предках

синьора Паоло, делавших когда-то скрипки. Так вот, я хочу тебе сказать: если дела у отца поправились и он сейчас с деньгами, то попроси его купить тебе скрипку лучше у графа Козио. Этот чудак собрал коллекцию, целых шестьсот скрипок. Синьор Паоло всегда направляет людей к нему, если кто-нибудь, как этот сумасшедший лорд, начинает надоедать ему. Сам синьор Паоло ненавидит скрипку.

Мальчика не удовлетворили эти сведения.

И вот однажды синьор Паоло Страдивари был сильно испуган, видя, что к нему в окно с дерева спрыгнул похожий на обезьяну черноволосый чертенок.

— Синьор, во имя бога, простите! — крикнул мальчик. — Уже три часа я стучу, и никто не отпирает ваших ворот.

Синьор Паоло, прихрамывая, подбежал к окну и схватил трость, намереваясь ударить мальчика, которого он принял за вора. Но маленький Паганини стал на колени.

— Умоляю, синьор, не бейте меня! Меня достаточно бьет отец, не бейте меня! Я хотел только узнать у вас, как делают скрипки господина Страдивари...

Синьор Паоло нахмурился.

— Откуда ты, безумная обезьянка, и кто тебе рассказывал небылицу о скрипках? Мои предки были сенаторы, они носили красные плащи и красные шапки. Мне никакого дела нет до сплетен, которые сочиняют у нашем славном роде... Постой! — И тут синьор Страдивари схватил мальчика за шиворот. — Ты просто вор! Ты в сотый раз повторил мне вопросы, на которых помешались теперь англичане. Когда я был молод, ни один дурак не интересовался скрипичным старьем и хламом. А тепер мне прохода не дают эти английские сумасброды. Кто тебя подослал? — спросил он грубо.

— Никто, синьор! Никто меня не подсылал, я сам пришел, по собственной воле. Я играю на скрипке, которая...

— В этом городе воздух становится отравленным! — воскликнул синьор Паоло. — Это какое-то безумие! Весь город наполнен сплетнями о скрипках Страдивари. Что же, выходит, я потомок ремесленников? — Потом он смягчился. — Ну, а кто ты? — спросил он, обращаясь к мальчику. — Сколько тебе лет? Ты лжешь, что ты играешь на скрипке в твоём возрасте!

— Я из Генуи, — ответил мальчик. — Я сын синьора Антонио Паганини. Отец учил меня играть на скрипке, я люблю скрипку, хотя отец делает все, чтобы я ее разлюбил.

— А я думал, что ты воришка,— сказал синьор Паоло.— Я живу в Кремоне и записываю события. Страшные вещи надвигаются на нашу Италию...— Старик говорил иногда как будто сам с собой.— За год произошло столько вещей в мире, сколько не было за сто лет перед этим. Так ты думал, что никого нет дома,— снова обратился он к мальчику,— и хотел украсть что-нибудь?

Он снова поднял трость и снова ее опустил. Тут мальчик заметил, что синьор Паоло — совсем дряхлый старик. Momentами у старого Страдивари отваливалась челюсть. Какие-то странные знаки отличия, плохо прикрепленные к камзолу, болтались на его высохшей груди...

— По всей Европе идет какое-то сумасшествие! То свергают королей, то вдруг начинают скрипичное старье ценить дороже нынешних хороших скрипок. Это еще надо доказать, что старые скрипки лучше новых... Надо доказать, что новая политика лучше старой,— добавил он. Старческое лицо вдруг исказила свирепая гримаса.— Еще надо доказать,— закричал он,— что французская республика чего-нибудь стоит по сравнению с хорошими древними монархиями!

Веки старика закрылись, потом он вдруг, как бы насильно заставляя себя проснуться, обратился к Никколо:

— Итак, мальчик, иди к графу Козио. Этот самый дурак помешался на скрипках. Это он пускает сплетни о том, что в доме Страдивари занимались ремеслами. Не верь тому, что граф Козио будет говорить про нашу семью, он старый маньяк и выдумщик, но скрипок у него много и человек он неплохой.

Синьор Паоло взял колокольчик со стола и позвонил. Вошла женщина лет сорока, румяная, крепкая, сильная. Она недовольно посмотрела на старого синьора, с негодованием оглядела маленького Паганини и, обращаясь к синьору Паоло, резко спросила:

— Что вы тут шумите?

— Катарина,— сказал Страдивари,— проводи мальчика к выходу и готовь завтрак.

— Нет вина,— ответила Катарина.— Как этот маленький негодяй попал сюда?

Она говорила резко, с таким видом, словно желала подчеркнуть, что она хозяйка в доме и синьор Страдивари находится у нее в подчинении.

— Ключи у тебя, Катарина,— возразил Страдивари с досадой.

— А деньги у вас,— грубо отрезала Катарина.

— Деньги у тебя,— пробовал спорить старик.

— Деньги вышли все.

Синьор Страдивари зашевелил губами, хотел что-то возразить, сделал неопределенный жест и стал шарить рукой в кармане камзола, пытаясь достать ключи. Он долго искал деньги в стенном шкафу. Наконец Катарина вырвала у него из рук мешок с серебряными монетами и, быстро обернувшись к маленькому Паганини, воскликнула:

— Идем!

— Иди на площадь святого Доминика! — крикнул вдогонку Страдивари.

— Кто тебя впустил в дом, чертенок? — грозно спросила Катарина, открывая перед Никколо дверь.

Чтобы не осложнять положения, мальчик поспешно юркнул в открытую дверь и прыгнул на мостовую...

...Он уже приближался к двухэтажному дому графа Козио, как вдруг его чуть не свалил удар в ухо. Кто-то схватил его за плечи и стал нещадно трясти. Вскинув глаза, через плечо, мальчик увидел разъяренное лицо синьора Антонио.

— Вот ты где, дьяволенок! Вот ты где, вор семейного благополучия! Какой черт носит тебя по улицам, когда я два дня, заботясь о тебе, добиваюсь приема у графа Козио? Сегодня он согласился слушать твою игру, а тебя, как на грех, унесло неведомо куда. Если будешь шляться без позволения по улицам...

— Да пустите же, отец! — закричал мальчик.— Я иду к графу Козио, я все знаю!

Синьор Антонио выпустил его, с недоумением посмотрел на свою руку, только что державшую сына за шиворот, и проговорил:

— Как? Что? Что ты сказал?

— Ну да, отец,— быстро заговорил Никколс, наспех придумывая изворотливую фразу,— ну да, я иду к графу Козио, потому что... потому что... мне передали, что...

— Ты лжешь! — завопил старик.— У тебя заплетается язык.

— Это потому, что вы сдавили мне горло,— нашелся мальчик.

— Нет, совсем не потому, а потому, что ты лжешь!

Время было выиграно. Они стояли у решетчатой ограды. Синьор Антонио постучал. Привратник открыл дверь. Старик Паганини, слегка подпрыгивая и танцуя, поклонился привратнику с такой почтительностью, словно от

этого человека зависело очень многое, и попросил доложить господину графу о приходе его нижайшего слуги Паганини с мальчиком, чудесным скрипачом.

Никколо вздрогнул и, как зверек, сверкнул глазами, глядя исподлобья на отца. Чудесный скрипач! Ему вдруг показалось, что забыты отцовские побои, забыты обиды, захотелось броситься к отцу, сказать, что бить его вовсе не нужно, что он сам сделает все необходимое, он сам любит музыку и скрипку, а после побоев, наоборот, каждый раз он уже совершенно не может играть... Но, увидев подострастную и жалкую улыбку старика, мальчик понял, что для этого человека его, Никколо, страдания не существуют, старик считает сына вещью, инструментом для наживы, машиной, которая должна обеспечить безошибочный выигрыш. Сердце маленького Паганини сжалось. Никогда раньше он не видел у отца этой хитрой и подленькой улыбки.

Отец не стеснялся перед сыном. Старик даже не заметил внимательного взгляда стоящего рядом с ним маленького человека. Никколо значит для него меньше, чем попугай для шарманщика или обезьянка для савояра. Этот попугай должен был в скором времени вытянуть шарманщику самый счастливый билет.

Через минуту отец и сын были введены в большую пустынную залу, где за маленьким столом сидел старик с орлиным носом и круглыми и необычайно живыми глазами хищной птицы. На нем был белый парик с буклями и темно-малиновый камзол с очень грязным кружевным жабо. Пожелтевшие манжеты на камзоле, обрамлявшие тонкие, сухие руки, были похожи на старые тряпки. Внимательный взгляд мог заметить, что это тончайшие и прочнейшие северные кружева. Они не износились, несмотря на то, что годами не снимались с рукавов камзола. Поникшие и смятые, они все еще сохраняли красоту своих узоров. Они как нельзя более соответствовали самому владельцу. Время изрыло его морщинами. Природные недостатки лица усугубились под давлением лет, рельефы заострились. Словно замша, без износу прочная, сохранилась кожа старческого лица. Все было потерто, все полиняло, но несколько не ослабела прочность этого существа, при виде которого можно было спросить себя: сколько же столетий существует на свете, под дождем и солнцем итальянской погоды, этот человек?

Граф Козио осматривал своих посетителей с головы до ног, медленно переводя глаза с одного на другого. Потом

он громко рассмеялся. Раскаты его силового хохота заполнили всю глубину и высоту огромной залы.

— Так об этом шенке мне говорил славный Менегети? Да ведь он сам меньше ростом, чем любая из самых маленьких скрипок Амати! — Он развел руками. — Детский «Поншон» я продал на прошлой неделе сумасшедшему англичанину. Это была единственная известная мне скрипка Страдивари, сделанная для ребенка. На чем же будет играть ваш сын, синьор Паганини?

— На чем прикажет синьор граф, — ответил мальчик, даже не взглянув на отца.

Козио подошел к стене и дернул шнур. Зашевелилась огромная малиновая занавеска, и под лучами солнца засветились в застекленных шкафах десятки желтых, зеленых, золотистых, коричневых, темно-вишневых скрипок со смычками, простыми и строгими, изысканными и украшенными, инкрустированными жемчугом и перламутром. Здесь висели толстые, пузатые виолончели, могучие, полнокровные альты, скрипки с короткими и длинными смычками, с грифами, на которых скрипичные мастера изображали причудливые группы, головки, львиные морды. И, наконец, Паганини увидел диковинную уродливую скрипку, короткую, толстую, с головой бульдога на грифе.

Маленький скрипач не отрывал взгляда от шкафов, стоявших вдоль всей громадной стены зала, как панно в полтора человеческого роста. А старый Козио глазами фанатика и влюбленного смотрел на это фантастическое собрание скрипок, на свою любимую коллекцию, сквозь золотистые потоки солнечных лучей, освещающих дымчатые и золотистые искры тончайшей комнатной пыли.

Козио подошел к маленькому Паганини. Откинул ему волосы со лба, внимательно посмотрел на брови, на лоб, на глаза и сказал:

— Мне девяносто семь лет, восемьдесят из них я потратил на собирание этих сокровищ. Мне осталось, по моему подсчету и по вычислениям моего астролога, два года жизни. Дом, в котором ты находишься, хранит первую в мире коллекцию музыкальных инструментов. Ради них существует земля, ради них творец вселенной вложил в человека безумную любовь к превращению плохой жизни в прекрасные звуки.

Произнеся эти высокопарные фразы, старик подошел вплотную к одному из шкафов. Он достал связку мельчайших ключиков и стал отпирать вереницу фигурных замочков. Когда он снял последний замок, створка с тихим пе-

нием открылась сама. Ясеневая рама отошла на шарнирах, и старик снял со стены золотистую старинную скрипку. Осторожно держа ее за гриф левой рукой и не стирая пыли, он протянул ее мальчику, потом так же осторожно, почти торжественно вручил ему смычок. Маленький скрипач заиграл.

Глава седьмая

ГРАФ КОЗИО

Синьор Паганини сообщил Терезе:

— Я получил от графа Козио вспомоществование десять луидоров.

— Разве у нас нет больше своих денег? — спросила взволнованно синьора Тереза.

— Ах, опять ты со своими причудами! — гневно отозвался старик. — Не могу же я тратить на щенка деньги, которые мне доверили мои хозяева. Еще не скоро выдавишь из него хотя бы чентезими. Но его надо учить и учить! Граф Козио говорит, что из мальчишки ничего не выйдет, если он немедленно не будет брать уроков у синьора Роллы. Но ты знаешь, как дорого Ролла берет за уроки. Я думаю, что лучше вовсе не учить мальчишку за деньги, а просто отправиться путешествовать с ним по Ломбардии, как только уйдут проклятые французы. А они уйдут, поверь мне, уйдут. Здесь вчера собрались священники, приехал жандарм из Вены под видом каноника, он привез хорошие вести. Французов бьют повсюду, их скоро не будет.

С этими словами старик достал толстый зеленый бумажник и вынул оттуда кипу каких-то билетов.

— Вот, — сказал он, — с тысяча семьсот восемьдесят девятого года эти документы перестали иметь хождение во всем мире. А после смерти французского короля нашлись короли, которые стали мешками уничтожать французские акции, вышедшие при короле. Вот теперь я их скупил во всей Кремоне. Месяца не пройдет, как я буду самым богатым человеком в Ломбардии.

— А если французы не уйдут?

— Уйдут. Здешний астролог предрекает им полное поражение, звезды и планеты предсказывают им гибель. Марс вошел в созвездие Астреи, а Астрея — это Австрия, австрийская монархия Габсбургов. Ты знаешь, я после выигрыша пожертвовал деньги на церковь. Аббат Саганелли

говорил мне: «Скупайте эти акции, скупайте». Я у него купил их на две тысячи лир...

...Старый Козио рассказывал маленькому Паганини историю скрипки.

— Слышишь, мальчик, — говорил старик, расхаживая по огромной пустынной зале своего дворца, — здесь родина самой великой скрипки в мире. Это произошло потому, что здесь растет азароль — одним нам известная порода деревьев, и здесь природа делает человека таким чувствительным к звукам и таким влюбленным в высокое мастерство. Три века тому назад в нашем городе жил некий Джованни Марко дель Буссетто. Он принял в свою семью некоего Андреа Амати. Буссетто был честным ремесленником, Андреа Амати был знатным синьором. Случилось так, что оба они сошлись на одном и том же любимом деле. Старый и молодой понимали друг друга так же хорошо, как мы с тобой сегодня. Андреа Амати так и не вернулся в свою знатную семью. Семья считала, что он опозорил родовой титул тем, что сделался ремесленником. До сих пор многие не понимают, что благородное искусство делать скрипки не относится к разряду черных ремесел. Вот поди к синьору Паоло Страдивари: он будет скрывать, что он происходит от скрипача, от скрипичных мастеров, хотя его купленный титул хуже, чем природный талант скрипичного мастера. Но не буду говорить о синьоре Паоло. Он хороший человек, он пишет свои хроники и летописи для отдаленных потомков, он не живет нашей жизнью... Почему Амати ушел из семьи? Смешно сказать — почему. Маленький Андреа Амати играл вместе с детьми Буссетто. Детям ремесленника позволяли играть в саду Амати. Амати бывал в мастерской у Буссетто. Андреа Амати начал с игрушек. Он делал игрушечные скрипки, Буссетто ему помогал. Во время отлучки отца маленький Амати вырубил грушевые деревья в отцовском саду и подарил их Буссетто. Ты знаешь, что из груши делают деки аматиевских скрипок. Когда старик Амати вернулся домой и увидел, что делается в саду, он, несмотря на уговоры стариков, не нашел ничего лучшего, как швырнуть своего ребенка в тюрьму. Вот с этого началось. Когда мальчика выпустили из тюрьмы, он остался в семье Буссетто, и никакие уговоры отца не заставили его вернуться домой.

Старик подошел к шкафу и указал на тонкие пластинки мелкослойного золотистого дерева:

— Вот это грушевое дерево, плоды которого оказались так горьки для маленького Амати и так сладки для нас... Старики умирают раньше молодых. Отец почти всегда умирает раньше сына. Андреа Амати сделался наследником большого состояния. Но вот тебе пример благородного увлечения: он уже не мог бросить своего ремесла и сделался мастером скрипки. Может быть, правду говорят, что он получил в тюрьме повреждение ума. Он работал в каком-то лихорадочном бреду. Он так спешил, так напрягался из последних сил, что ни днем, ни ночью не знал покоя. Он ничем не занимался, кроме изготовления скрипок, и если жена забывала принести ему обед в мастерскую, он мог, не чувствуя голода, просидеть двое-трое суток, пока не кончит работы. Ему было предсказано, что он получит бессмертие после изготовления четырехсотой скрипки. Он спешил, хотя прекрасно знал, что это бессмертие не будет бессмертием его телесной оболочки. Каждая новая скрипка была лучше предыдущей. Поэтому он знал, о каком бессмертии идет речь. Руки Амати были изрезаны, с двух пальцев сорваны ногти, и эти уродливые руки, в мозолях, порезах и кровоподтеках, обладали такой гибкостью, как твои детские пальцы.

Старый Козио взял руку Паганини и, высоко подняв ее, поднес к своим слабым глазам.

— У тебя каждый палец похож на утиный нос. Уродство, да и сам ты некрасив. А такие пальцы лучше всего для игры.

Вскоре маленький Паганини научился различать породы скрипок. Он смотрел на высокие своды, на вырезанные эфы, изящные, стройные, наклоненные друг к другу, словно ангелы на картинах фьезоланского монаха.

— Это не сильная скрипка. Князья и герцоги любили слушать скрипачей в маленьких комнатах, им нужны были сладкие, нежные и тихие звуки. Поэтому никогда не играй на скрипке Амати в больших залах. Если ты будешь играть в этой зале в том углу, где стоит мой письменный стол, тебя трудно будет услышать в середине комнаты. Мягкие и приятные тона — это неплохая вещь. Но когда наша республика боролась с поработителями, когда свора Габсбургов кинулась на Северную Италию, другим людям понадобились другие звуки. Я был в Милане, когда давали концерт огромному собранию господ офицеров. По лицам этих людей можно было видеть, что новые кондотьеры хотят найти в звуках отклики своей боевой мощи. Рыцари новых войн, они ничего не поняли в мягкой и нежной игре

скрипки Амати, а вот когда Серветто, скрипач из вашей Генуи, вышел на эстраду с громадной скрипкой Страдивари и стал резать воздух звуками, от которых могли бы погибнуть стаи перелетных птиц, тогда вдруг выпрямились фигуры этих людей, откинулись плечи, расправилась грудь и глаза загорелись...— Козио остановился, потом, как бы в раздумье, продолжал: — В Версале, под Парижем, была самая лучшая в мире коллекция инструментов. Амати. Она исчезла в тысяча семьсот девяностом году бесследно. Это были шесть альтов, две виолончели и восемнадцать скрипок. Вся коллекция была заказана для струнного оркестра французского короля Карла Девятого. Теперь говорят, что остатки этой коллекции за баснословные деньги купили англичане в европейских городах.

Паганини слушал, боясь прервать рассказчика. Козио переходил с одной темы на другую:

— У Андреа Амати было два сына, которые продолжали его дело,— Джеронимо и Антонио. Братья полюбили одну и ту же девушку. До этого несчастья они работали вместе, работали дружно, не делясь. Девушка вышла замуж за Джеронимо, и семья распалась. Братья стали работать порознь. Антонио навещал семью брата. Посещения становились все реже и реже, а потом однажды Антонио нашли повесившимся у входа в мастерскую. Джеронимо продолжал дело семьи. По его стопам пошел и его сын Никколо, самый талантливый из Амати. Никколо принимал к себе в мастерскую учеников со стороны. Так у него приютились и Андреа Гварнери, и Антонио Страдивари. Оба стали знаменитыми скрипичными мастерами. Ты был у синьора Паоло, он врет, что Страдивари знатного рода, это все вздор и выдумки. Их знатность — в скрипке.

Козио показал маленькому Паганини старинный портрет Страдивари с тремя сыновьями и дочерью. Страдивари был изображен в мастерской. Он стоял в белом замшевом фартуке и в красном сафьяновом колпаке и держал кусок дерева и инструменты.

— Я сам раскрасил эту гравюру,— сказал Козио,— и, по-моему, цвета взяты верно. Я показываю тебе этот портрет, чтобы ты видел, что этот обыкновенный ремесленник — вовсе не сенатор и вовсе не патриций. Но знаешь ли, мальчик, я готов променять свой старинный графский титул на способность сделать хотя бы одну такую скрипку, какую сделал этот Страдивари, когда ему исполнилось сто шесть лет!

Старый граф повел мальчика к другому шкафу.

— Вот смотри: золотистый лак, он не закрывает ни одной черточки в рисунке древесного слоя. Смотри, дерево похоже на пятнистую шкуру леопарда, а верхняя дека — без единого сучка и пятнышка, она покрыта волосными линиями! Этому дереву не меньше трехсот пятидесяти лет. Рассказывали, что во время войны Венеции с турками Страдивари закупил огромное количество дерева, которое шло на постройку турецких кораблей. Это дерево сушили десятки лет. Потом, когда восточный берег Адриатики стал недоступным, никто уже не мог покупать этого дерева. Мелкослойная ель встречается кое-где на наших горах, но ее нужно долго выдерживать, чтобы она стала пригодной для этой тонкой и сложной работы. А за рубежом, за берегами Адриатики, на недоступной высоте растет балканская ель, как бы нарочно созданная творцом для скрипичных мастеров...

Козио показывал мальчику скрипку за скрипкой.

— Один и тот же мастер, посмотри, никогда не делал скрипок одной и той же формы. Они все разные, взгляни. Если ты возьмешь циркуль и измеришь расстояние между эфами, то заметишь, что все эфы во всех скрипках поставлены по-разному и наклон их к оси скрипки тоже разный. А что это значит? Это значит, что скрипичные мастера владели тайной дерева. Они знали, что разные породы дают разный звук, и вот по тому, как они вычерчивали эфы, ты видишь, как глубоко они проникли в тайны своего ремесла. Эфы дают у них в каждом случае особо высокое качество звука. — Он осторожно вынул еще одну скрипку. — Вот эту я снимаю очень редко. Это — «Лебединая песнь». Так называется она потому, что это — последняя скрипка, сделанная Страдивари перед смертью, на сто седьмом году жизни. Старик работал лучше, чем в молодости.

Страдивариеву скрипку старый граф называл серебряной, звуки альтов сравнивал с золотом, виолончель, по его мнению, давала бронзовый тон, а контрабас звучал медью.

Однажды, в минуту откровенности, Козио признался мальчику, что он разломал четыре скрипки Страдивари. На цыпочках, говоря шепотом, словно боясь, что его услышат посторонние люди, граф подвел мальчика к низенькой двери. Зажег свет в полутемной комнате и с видом человека, совершающего неизбежное преступление, указал на четыре деревянные пластинки, привинченные к столу. Смахнув пыль со старинного камертона, Козио ударил им о стену.

— Слышишь? — шепотом спросил старик.

Мальчик ответил:

— Да.

— А это похоже?

— Да.

— Но ты понимаешь? Поет камертон, и одинаково поет деревянная пластинка, вырезанная из скрипки Страдивари. Этот звук дает пятьсот двенадцать колебаний... Ну, а это? — старик тронул другую пластинку.

Мальчик кивнул головой.

Они перепробовали все пластинки, и каждый раз маленький Паганини кивал головой:

— Это тоже! И это тоже!

Звуки были равной высоты и частоты.

— Видишь, — сказал старик, — это все — пятьсот двенадцать колебаний в секунду. У тебя хороший слух, мальчик! Так вот, смотри: это — деревянная пластинка из скрипки Страдивари, сделанной им в тысяча семьсот восьмом году, а рядом я заставил звучать кусок дерева из скрипки, сделанной тем же мастером в тысяча семьсот семнадцатом году. Это волнистый клен. А вот, рядом — пластинка из ели. Скрипка сделана в тысяча шестьсот девяностом году. А вот тут — последняя пластинка, тоже из ели. Скрипка сделана в тысяча семьсот тридцатом году. Приступим к опыту.

Глаза старика загорелись молодым огнем. От тихих, едва заметных ударов пластинка запела. Мальчик назвал:

— Ля диез!

— Хорошо! — сказал Козио.

Вторая пластинка дала ту же ноту. Третья и четвертая — то же. Под ударами опытной руки одновременно запели все четыре пластинки сразу.

Мальчик стоял молча и слушал, широко раскрыв глаза, не отрывая их от кусочков дерева. На лице его учителя застыла улыбка маньяка.

Наконец старик продолжал:

— Для того, чтобы получить такой серебряный звук, нужно сочетать природные свойства клена и ели. Звуки всегда живут в природе, но звук надо поймать, его надо приручить, как птицу, порхающую по этим деревьям в молчании. Ее надо приручить настолько, чтобы она запела. Заметь, мальчик, верхняя дека скрипки всегда делается из ели, нижняя — всегда из клена. И еще я высчитал, что ель обладает способностью в шестнадцать раз быстрее порождать звук, чем воздух. Звук, рожденный в скрипке из соче-

таний малой скорости колебаний клена и большей чувствительности ели, получит соотношение двенадцать к шестнадцати. Но многие думают, что звук родится однотонным в верхней и нижней деках. Это два различных звука. Благозвучность природы состоит в том, что они сливаются в единый, цельный, совершенный, нераздельный звук. Однажды я заказал скрипку сплошь из клена, с деками одинаковой толщины. Эту скрипку нельзя было слушать, у нее был отвратительный глухой тон. Природа не терпит однообразия, мальчик. Верхняя и нижняя деки должны звучать по-разному, и разница должна равняться целому тону. Чистый и неделимый звук, рождающийся из этого, совершенно подобен сплаву двух благородных металлов, из которых каждый порознь слаб и мягок, а в сочетании с другим дает твердость и крепость. Из двух слабостей родится сила. Помни, что размеры скрипки нельзя ни увеличивать, ни уменьшать. Как только количество воздуха в скрипичной коробке увеличится, шантрель начнет визжать, как собачонка, которой наступили на хвост, а звук басовых нот станет слабым, глухим и сиплым, как бред пьяного человека. Если уменьшить коробку, получится обратное явление. Заглохнет четвертая струна, а бас закричит сипло. Но не думай, что все это остается неизменным. Меняется природа, меняются люди. У каждого поколения новые уши. Камертон нынешнего века звучит иначе, нежели камертон прошлых столетий. Когда будешь играть перед большим скопищем людей, настраивай скрипку иначе, чем настраивал бы ее, играя перед семьей в пять человек. Твой дед и прадед иначе слышали звуки природы, им нравилось слушать одно и закрывать уши на другое, и это делалось невольно, без всяких ухищрений с их стороны. В этих делах человек не может лгать сам себе, нельзя уговорить нынешнее поколение настраивать музыкальные инструменты по камертону прошлого столетия. Вот старый Тартини шестьдесят лет тому назад измерил давление натянутых струн на скрипичную коробку. Тогда он получил цифру шестьдесят три фунта. Но помни, что струны тогдашнего времени были тоньше, а подставка, держащая струны, была ниже, струны тесней прилегали к верхней деке. Поколение нынешних людей предъявляет другие требования, они не слышат старой скрипки, и вот пришлось повысить камертон, колебание струн тоже увеличилось, и подставка под струнами стала выше, струны натянулись горбылем на верхней деке. Подставка поддерживает струны так, что мышь может пробежать между шантрелью

и верхней декой. Знай, мальчик, что диапазон по сравнению с прошлым веком повысился на полтона, а давление струн на деку теперь не шестьдесят, а восемьдесят фунтов. Человек стал натягивать струны сильнее, и нервы людей напрягаются больше. Время летит быстро, дни сменяют другие, и непрерывно меняются люди. Что будет дальше, где остановится изменение человека? Уже теперь, я замечаю, мир меняет свои краски, ухо ловит иные звуки, и думается мне, что тускнеет солнечный свет...

Козмо сел на маленький диван. Вынув платок, он по-рывисто вытер слезы. Потом поднялся и за руку вывел Паганини из комнаты.

— Пойдем, мальчик,— проговорил он.— Никому не рассказывай, что ты от меня слышал. Природа не любит выбалтывать свои тайны, она мстит любопытным.

Глава восьмая ПУТЬ ПО ЗВЕЗДАМ

В Геную семья возвратилась в новом составе.

В Кремоне произошло неожиданное примирение синьора Антонио с дочерьми Лукрецией и Маргаритой, о существовании которых Никколо до этого даже не знал, так как в семье не принято было о них говорить. Семья Паганини увеличилась сразу вдвое, так как дочери синьора Антонио были уже замужем.

Муж старшей, Лукреции, оказался весьма беспокойным человеком. В первые же дни знакомства он успел чуть не до драки поссориться с синьором Антонио, а по приезде в Геную целые дни проводил за игрой в карты с незнакомыми людьми. Он много проигрывал, а когда ему везло, домой являлись люди, обыгранные им, и поднимался адский крик, тревоживший всю округу.

А тут еще сильно пошатнулись дела синьора Антонио.

С маниакальной настойчивостью, уподобляясь средневековому астрологу, он вглядывался в вечернее небо, наблюдая перемещение планет, и бормотал себе под нос сложные астрофизические формулы; он говорил о влиянии звезд на движение человеческой крови, о влиянии планет на судьбу его семьи. В его словах странно смешивались поиски гороскопа с выкладками предстоящих барышей. В руках этого маклера счетная машина Паскаля и Лейбница превращалась в инструмент для бухгалтерских подсчетов, логическая машина Раймунда Луллия, искавшая философскую истину, становилась лотерейным колесом, которое

должно было обеспечить покупку выигрывающих номеров. Астрологические, алхимические поиски жизненного эликсира и философского камня, которые у средневековых безумцев связывались с мечтами о человеческом счастье, об устройстве человеческого общества, у старого Паганини превращались в искание средств для биржевого обмана природы, для маклерских сделок с темными силами.

Но все оказывалось напрасным.

Обязательства перед банкирами не были выполнены. Старый Паганини ссылался на кражу в дороге, на кражу в Кремоне, на неудачи вследствие военных затруднений и на многое другое, но синьоры директора, старые банкиры, видали виды. Начался длинный судебный процесс.

Синьора Антонио стали избегать прежние друзья. Если раньше он важно восседал за своим маклерским столом, то теперь сам бегал в поисках матросов, разузнавал, какие товары прибыли в порт, да и то, когда он являлся, чтобы заключить сделку, он заставлял недовольных, замолкших при его появлении купцов; сделка состоялась помимо него. Каждый день биржевой неудачи удвоенной тяжестью ложились на семью.

Вернулся после долгой отлучки старший брат. Он пришел в ужас, когда увидел маленького скрипача.

— Что все это значит? Как держится душа в этом щенке? — грубым, осиплым голосом спросил он у отца: костлявый мальчик, кашлявший кровью, едва держался на ногах.

После ужасающей сцены между Франческо с синьором Антонио, когда Франческо едва не ударил отца, мать всю ночь плакала, стоя на коленях перед маленькой постелькой Никколо. Она говорила, что все надежды семьи связаны с его прилежанием, — он должен во что бы то ни стало добиться успеха.

Отец не дал ни байокко для платежа Джованни Серветто, с которым, по совету Козио, Никколо занимался, вернувшись в Генуи.

— Синьор Серветто уже дал лучшие указания, какие только можно было получить в этом мире юдоли и печали, — сказал синьор Антонио.

Серветто обиделся, и уроки пришлось прекратить. Правда, к тому времени основные трудности владения инструментом были уже преодолены, а *vista*¹ мальчик играл уже гораздо лучше самого Серветто, — но впереди было еще столько работы!

¹ с листа (итал.).

Соседские кумушки принялись усиленно шептаться с синьорой Терезой. Откуда-то синьора Тереза раздобыла деньги. Воспользовавшись днем, когда синьор Антонио должен был задержаться в суде, она повела сына к синьору Джакомо Коста. Синьор Джакомо Коста был преподавателем генуэзской капеллы и играл первую скрипку во всех церковных оркестрах Генуи.

Синьор Коста прослушал маленького Паганини.

На следующий день Паганини играл в соборе. По окончании службы синьор Коста подзвал мальчика и приказал ему приходить пять раз в месяц к нему на дом.

После первых же занятий синьор Коста был совершенно поражен отчетливостью звука, чрезвычайной восприимчивостью своего ученика и быстротой его работы. А через полгода, когда Тереза Паганини тайком от мужа принесла деньги за тридцать уроков, синьор Коста уже прикидывал с довольной улыбкой, в каком соотношении находятся эти деньги и его выручка от церковных концертов, в которых участвовал Паганини.

Синьора Тереза удостоилась расположения высшего духовенства Генуи и перемену, происшедшую в делах семьи, приписала божественному произволению.

Синьор Антонио перестал пить. Глядя на сына, он ласково посмеивался. Особенно он был обрадован, когда при встрече с синьором Коста узнал, что синьор Джакомо не желает брать с него денег. Оба остались довольны: синьор Джакомо — своим учеником и доходами, которые давал этот ученик, синьор Антонио Паганини — великодушным синьора Коста, великодушным, которое весьма ощутимо сказывалось на бюджете семьи Паганини.

Но вскоре внезапно обнаружилось корыстолюбие синьора Коста, и синьор Антонио почувствовал себя оскорбленным и обманутым. Выпив соответствующее количество вина для бодрости духа, он отправился для переговоров. Ругань слышна была далеко за пределами скромного жилища мастера церковной капеллы. Разрыв был полный. Уроки у синьора Коста прекратились. Синьор Коста не согласился оплачивать концертные выступления своего ученика и не дал ни байокко разъяренному синьору Антонио. Дело приняло плохой оборот.

Синьор Коста собрал сведения о крещении, о детских годах своего ученика и пришел к заключению, что скрипичный талант мальчика, его необычайная музыкальная одаренность, невероятная для отрока музыкальная техника не могут быть объяснены божественным вмешательством.

Тут несомненно вмешательство нечистой силы и несомненно демонское влияние. Проклятие повивальной бабки было причиной необыкновенных успехов маленького Паганини.

В день, когда произошел разрыв, Никколо Паганини еще не знал о разговоре своего отца с синьором Коста. Он, ничего не подозревая, взял скрипку и направился к учителю. Тихо и скромно постучал в дверь. Мощная оплеуха заставила его кубарем скатиться с лестницы.

Он едва не сшиб с ног высокого черноглазого человека, поднимавшегося к синьору Джакомо.

Испутив поток проклятий, незнакомец остановил мальчика.

— Откуда ты, что с тобой, куда ты летишь, чертенок?

Паганини махнул рукой, пытаясь что-то сказать, — слезы сдавили ему горло.

— Да что ты? В чем дело? — настаивал незнакомец...

— Подожди здесь, — сказал он, когда Паганини рассказал ему о своей беде.

Паганини ждал внизу все время, пока синьор Коста на верхней площадке лестницы говорил с гостем. Паганини слышал, как синьор Коста, обращаясь к незнакомцу, называл его «милый Ньекко». Из разговора было ясно, что незнакомец этот — знаменитый композитор Ньекко, оперы которого разыгрывались во всех театрах Северной Италии, в Неаполе, Венеции, Милане, Падуе, Ливорно. Паганини слышал отрывки из сочинений Ньекко в Генуе, он знал, что оперы Ньекко ставятся даже в Вечном городе.

Сладкое и томительное предчувствие охватило мальчика, когда он услышал, что разговор закончился и синьор Ньекко сходит вниз.

Синьор Ньекко прошел мимо мальчика, ничего ему не сказав. Паганини молча шел за ним. У двери старого дома на улице Архимеда синьор Ньекко заговорил:

— Я тебя слышал, дьяволенок со скрипкой. Я, конечно, не верю всякому вздору о вмешательстве нечистой силы в твою судьбу: слишком много для тебя чести. Но ты действительно какое-то маленькое чудо. А тебя бьет отец? — вдруг, без всякого перехода, спросил он.

— Сильно, — ответил Паганини с большой выразительностью.

— И, должно быть, это идет на пользу? — насмешливо шурясь, спросил синьор Ньекко, открывая перед мальчиком дверь большой, красиво убранной комнаты.

Ноты, набросанные золотыми чернилами на красные

линейки, поразили маленького Паганини. На всех вещах в этой комнате лежала печать изысканности и изощренности. Клавесин, арфа, красивые серебряные трубы, флейта, фагот, гобой и набор мелких колокольчиков из цветного металла, красных, белых, синеватых, желтых; юпитры, пульты, палочки из слоновой кости с золотым наконечником; кресла, обитые тисненой испанской кожей, этажерка с книгами и партитурами в кожаных переплетах, горка из ярко-алого венецианского стекла; серебряный стакан с красным вином и большой восточный сосуд из какого-то белого металла на столе, украшенном флорентийской мозаикой. Паганини казалось, что все это — во сне.

Синьор Ньекко открыл футляр, внимательно осмотрел скрипку маленького Паганини, отложил ее в сторону, подошел к застекленному резному шкафу, достал большую скрипку вишневого цвета, смычок и протянул Паганини. Потом подвинул к нему юпитр и раскрыл маленькую тетрадку, мелко исписанную нотными знаками...

— Ну что же, — сказал Ньекко, когда Паганини кончил играть, — этот месяц я пробуду безвыездно здесь. Приходи каждый день. Если не застанешь меня, посиди, подожди, играй один. Впрочем, в этот час я всегда бываю дома.

Прошло всего четыре дня. Синьор Франческо Ньекко не пропустил ни одного урока. И всякий раз, с трепетом сердца приближаясь к улице Архимеда, мальчик испытывал горячее чувство благодарности судьбе, приведшей его в хоромы синьора Ньекко.

Гусиные перья, золотые чернила, красные линейки на толстой желтоватой бумаге, насмешливо прищуренные глаза, добрый голос...

— Я должен тебя поздравить, — говорил Ньекко, — я ни у кого не встречал такого слуха. — Как бы усиливая значение этих слов, синьор Ньекко кивнул головой. — Но я должен тебе сказать, что когда ты фантазировал прошлый раз, тебя было слушать приятнее, чем когда ты играл мои вещи. Ты переделываешь мои вещи, а не играешь их так, как я сыграл бы сам. Ты всегда все будешь переделывать в жизни. Ты ни на чем не остановишься удовлетворенным до тех пор, пока не переделаешь по-своему. И мой совет тебе: когда будешь выступать перед публикой, не играй пьес ныне живущих композиторов: ты оскорбишь их своим исполнением, хотя, быть может, то, что ты придашь чужому творению, будет богаче, нежели замысел его создателя. Хорошо, что ты встретил композитора с моим характе-

ром,— другой вклеил бы тебе хорошую затрещину за твои фантазии, за какую-то, даже не свойственную твоему возрасту страстность, которую ты вливаешь в звуки чужой музыки... Ну, за дело! Не бойся испугать меня фантазией: ты должен не только играть чужое, но и творить свое... Что ты краснеешь, маленькая обезьяна? — вдруг нахмурился, прервал Ньекко самого себя.— Я ничего не сказал тебе особенного, не вздумай задирать нос!

Тогда Паганини робко и неуверенно признался синьору Ньекко, что он никак не мог примириться с требованиями синьора Коста.

— У меня никакого желания не было,— говорил мальчик, прижимая руки к груди,— перенимать у синьора Коста его способ ведения смычка. Я считал, что он применяет какое-то насилие, занимаясь со мной. Я всегда выполнял его предписания против воли. Я даже рад, что от него перешел к вам...

— Хорошо, хорошо,— возразил синьор Франческо,— я не люблю лести. Когда ты перейдешь к следующему учителю, через какой-нибудь месяц ты, вероятно, будешь говорить ему то же самое обо мне.

— Никогда в жизни! — вспыхнув, воскликнул Паганини.

— Что делает твой отец? — спросил синьор Франческо.

— Заставляет меня играть в церкви.

Синьор Ньекко кашлянул.

— Набожные итальянцы охвачены сейчас скрипичным безумием. Мальчик со скрипкой, как тебя называют, ты привлекаешь в церковь много народу, это повышает доходы святых отцов. Смотри, из тебя сделают святошу.

— Нет,— сказал Паганини.— Я не люблю тягучей музыки.

— Я думаю, что игра в капелле может только испортить музыканта,— с расстановкой произнес Ньекко.

...Странная дружба установилась между оперным композитором и «дьяволенком со скрипкой», как называл Никколо синьор Ньекко.

Однажды, когда зашла речь о путешествии в Кремону и когда маленький Паганини старался выложить все свои знания по истории инструмента, Ньекко, с особым вниманием вслушивавшийся в рассказы мальчика о французских войсках, перейдя внезапно от разговора о музыке к политической теме, впервые познакомил маленького Паганини с историей порабощения Ломбардии австрийцами. Он говорил о значении французского нашествия на Италию,

говорил быстро, как бы перебивая самого себя. Он сообщил мальчику, что сам он родом из Милана. В Милане, старом вольном городе Ломбардии, чувствуется острее всего недовольство австрийским гнетом. Какобы бы ни были средства, помогающие освободить Италию от варваров, как говорил Петрарка, все эти средства хороши. Французские войска гонят австрийских жандармов, они гонят немецких попов, приехавших из Вены, а прокламации Бонапарта несут с собой освобождение от религиозного и политического гнета, и поэтому — «да здравствует французское оружие!..»

После этого разговора Паганини почувствовал особенную привязанность к синьору Франческо. Доверчивость, с какой учитель относился к маленькому ученику, была вознаграждена.

Это чувствовал синьор Ньекко и нередко, указывая Никколо на черномазых людей на ярко освещенной мостовой, с осликами, запряженными в тележку, из которой горой поднимались кули древесного угля, осторожно кивал в их сторону, говорил:

— погоди, дьяволенок, будет время, я расскажу тебе об иных угольщиках, несущих другой, более тяжелый груз.

Итальянское слово «карбонарии» — «угольщики» — Паганини уже слышал неоднократно в «Убежище». Раз как-то с таинственным видом сообщили ему ребята об аресте двух живших в «Убежище» карбонариев. Паганини знал этих людей. У них были бледные лица, тонкие длинные руки. Одежда не носила никаких следов угольной пыли. И когда маленький Паганини спросил, почему же они — угольщики, ребята ответили: «Не знаем».

Подводя мальчика к раскрытию тайны, Ньекко рассказывал о том, что есть лесные братья, которые добывают уголь, сжигая старые деревья. Эти лесные братья выходят из леса на рынок. Таким образом фореста, баракка и вента постепенно входили в ряд усвоенных и привычных понятий Никколо. Но как только мальчик просил объяснить то или другое слово, синьор Ньекко прикладывал палец к губам.

Маленький Паганини сделал новую вариацию итальянской «Карманьольы» и присочинил свою собственную музыкальную тему, ту зажигательную французскую песню, которую он слышал случайно от французских матросов на берегу моря в тот день, когда красивые молодые марсельши распевали эту песню, поднимаясь на высокий берег. Эта песня звала к восстанию всех детей родины, она

говорила о том, что поднято знамя, алое от крови народа, о том, что наступили дни славы. Каждый куплет заканчивался словами: «К оружию, граждане!»

Когда Паганини, непосредственно после «Карманьолы», заиграл эту песню марсельских моряков, как он ее назвал, Ньекко взволнованно вскочил с кресла и заходил большими шагами по комнате. Никколо впервые выдел его таким. Синьор Ньекко достал из стенного шкафчика и показал мальчику серые клочки французских прокламаций генерала Бонапарта, разбросанных в Северной Италии. Тайна лесных братьев раскрылась. Тяжелый груз угля, таящего пламя, стал понятен маленькому Паганини.

Работа карбонарского братства захватила воображение мальчика, а налет тайны на всех этих разговорах с учителем имел к тому же особую прелесть. У Паганини началась своя, не мальчишеская жизнь. Ему стало даже легче сносить побои и попреки отца. Он спокойно присутствовал при долгих перебранках между сестрами, старшим братом, отцом и матерью. У него появилась своя жизнь, появились свои жизненные планы.

Носовой платок Паганини, покрытый красными пятнами, внушил синьору Ньекко первые подозрения о состоянии здоровья его ученика. Через посредство друзей синьор Ньекко навел справки о семье Никколо. Осторожно, чтобы не обидеть своего ученика, он приглашал его завтракать вместе с собой, задерживая на лишний час. Однако вскоре против этих задержек маленький Паганини решительно восстал. Синьор Ньекко убедился в его правоте, как только увидел кровоподтеки на лице своего ученика: отец не разрешал удлинять уроки.

Ученику хотелось изыскать способ хоть как-нибудь растягивать время пребывания у синьора Ньекко в предчувствии скорого отъезда своего любимца. Но для этого пришлось бы обманывать зорко следившего за ним отца.

Ньекко, сам участник карбонарской конспиративной работы, имел навыки внимательного и зоркого наблюдателя. В эти годы Ньекко был единственным, кто точно представлял себе все значение бурного вторжения легенды в жизнь маленького скрипача. В то время как синьор Антонио Паганини, со всей толпой своих коммерческих друзей и врагов, и синьора Тереза, его супруга, со всей озлобленной сворой родных и двоюродных Боччарди, терялись в догадках о происхождении ранней одаренности Никколо и строили предположения о сверхъестественном вмешательстве, видя в этом вмешательстве то страшную демо-

ническую, то благодатную ангельскую основу, Ньекко боялся за судьбу мальчика, хрупкость которого внушала ему самые серьезные опасения. Ньекко боялся, что могущество этого всеподавляющего таланта превратится в огонь, который сожжет и очаг и дом.

Временами же ему казалось, что этот мальчик, при всей своей хрупкости, обладает железным здоровьем, если выносит колоссальную тяжесть, взваленную синьором Антонио на его плечи.

У насмешливого, веселого Ньекко туманились глаза в минуты, когда, подняв брови, Паганини без всякой аффектации рассказывал ему о долгих упражнениях в семилетнем возрасте, когда, не будучи в силах держать скрипку в обычной позитуре, ребенок изучал игру на этом инструменте, ставя его, как виолончель, между маленькими угловатыми коленями. Слушая его, Ньекко не мог смотреть в глаза мальчику. Ему казалось, что перед ним раскрывается какая-то черная яма человеческих бед.

Синьор Ньекко вздрагивал, перечитывал страницы Миланской хроники, на которых старинный повествователь рассказывал о ломбардских крестьянах, намеренно уродовавших своих детей, чтобы потом продать их в качестве придворных шутов герцогу Сфорца. «Новые птицы, новые песни,— думал Ньекко.— Это удивительное творение находится в руках чудовища, которое может изуродовать его талант, сделав из мальчика дешевого ярмарочного жонглера...»

Была еще одна тема для размышлений синьора Ньекко о судьбе Никколо. Он убеждался, что церковная музыка чужда его маленькому ученику. Ньекко наблюдал, что, покрывая соборные хоралы могучими звуками своей скрипки, маленький Паганини оставался по-прежнему незатронутым, и все навязчивые, вкрадчивые притязания католической клики оставляли холодной душу ребенка нового века. Когда же синьор Ньекко говорил с ним о свободе Италии, о живой и яркой работе карбонариев, щеки мальчика покрывались румянцем возбуждения.

Эта холодность к церковной музыке была безотчетной, вражды и неприязни к церкви не было в маленьком Паганини. И, однако, синьор Ньекко ловил себя на мысли об удобстве позднего католического причастия. Исповедь Никколо у священника в те дни могла бы принести большие неприятности синьору Ньекко. Местный кардинал-легат сурово требовал от священников, чтобы на исповеди они тщательно выпытывали образ мыслей сынов и дочерей

церкви. Он сам еженедельно давал сведения представителю апостольской римской курии в городе Генуе. Оттуда эти сведения шли в Рим, а иногда и в Вену, где министр полиции его апостолического величества короля и императора делал соответствующие выводы и набрасывал на карту возможные очаги будущих восстаний.

Затаенность и молчание мальчика, его успокоенность возбудили подозрения синьора Антонио. Он переговорил об этом со своей супругой, супруга имела разговор с духовником. Но священник местной церкви благосклонно отнесся к маленькому Паганини. Он утешил синьору Терезу и сказал, что мальчик на хорошем пути, три раза в неделю он выступает в церковных концертах, его выступления привлекают толпу молящихся, молящиеся охотно отзываются на кружечный сбор, — таким образом, можно рассматривать Никколо Паганини с его скрипкой как явление, угодное богу.

После этого синьор Паганини успокоился. Он не стал возражать, когда, по инициативе синьора Ньекко, маленький скрипач был приглашен к участию в концерте светской музыки.

Италия тогдашнего времени еще увлекалась выступлениями сопранистов. Знаменитый кастрат Маркези, выступая в день своего бенефиса, в тысячный раз удивлял и восхищал простодушную генуэзскую публику серебряной чистотой своего тончайшего дисканта.

Паганини с любопытством маленького зверька украдкой смотрел на Маркези, когда тот выводил дискантовые рулады перед упоенным зрительным залом. Ни восхищения, ни удивления не вызвало у него искусство мужчины, поющего женским голосом.

Маленький Паганини играл после пения Маркези, после пения знаменитой певицы Альбертинетти. Часть публики, сидевшая в верхних ярусах, была наслышана о выступлениях маленького скрипача в церкви, но большинство собравшихся в этот день в огромном театре ничего не знало о чудесном ребенке.

Добропорядочные буржуа, офицеры, священники, жены биржевиков, купцы, нотариусы, маклеры, моряки старинных фамилий с одряхлевшими титулами, обедневшие дворяне, разорившиеся графы — все это зашумело, закивало головами, когда на авансцене появился мальчик со скрипкой. Робкой походкой, с таким видом, будто у него на ногах деревянные башмаки, вышел хилый мальчик с впалой грудью, угловатыми плечами и руками, достававшими по-

чти до вывороченных наружу коленных чашечек. Легкий шум досады прошел по рядам, замелькали улыбки. Никколо играл впервые перед такой большой аудиторией. И если дикая легенда о маленьком скрипаче не выходила до этого за пределы родного переуллка, то теперь эта легенда раскинула свои крылья и полетела по городу, над морем, по всему Лигурийскому синему заливу.

Любопытство сменилось удивлением. Мальчик извлекал из огромной для его роста скрипки непомерной силы и поразительной красоты звуки. Вот вступает оркестр, вот волны хора покрываются звучанием сотни инструментов, но над всеми этими звуками рассыпаются колокольчики, и кажется — запела не одна, а десять скрипок. Широкая волна кантилены покрыла хор и оркестр, и вот, заканчивая последние такты, певучая, бесконечно длинная нота повисла в воздухе. Она висит и не обрывается минуту, две... Публика встает, шелест побежал по зале, головы качаются, как колосья. Зрительный зал не отрывает глаз от мальчика. Удивление уступает место восторгу, а на многих лицах можно видеть выражение, близкое к суеверному испугу.

Бледный молодой семинарист Нови, с горящими глазами, полными ненависти, шепчет что-то во втором ряду своему соседу. Это змеиное шипенье слышит синьор Ньекко. Нови говорит, что здесь сказалось проявление нечистой силы, ибо без помощи дьявола не может человек, да к тому же почти еще ребенок, одержать такую победу над куском мертвого дерева.

И буря аплодисментов не заглушает отдельных голосов.

— Даже я, — восклицает священник, — всегда обращенный к небу, даже я почувствовал трепетное волнение в крови и всю прелесть этой греховной земной жизни, когда слушал звуки, извлекаемые из скрипки смычком этого одержимого ребенка.

Иезуит переглядывается многозначительно с представителем святейшей инквизиции, одетым в светское платье. Тот отвечает равнодушным взглядом. Он смотрит рыбьими глазами на эстраду, качает головой и, подойдя к священнику, говорит:

— Отец и мать — верные слуги церкви, мальчик играет в храме. Эта музыка — от бога.

Ночью у маленького Паганини началась лихорадка. Утром он так и не мог вспомнить, снилась ему или на самом деле происходила ссора между отцом и матерью.

Обрывки случайных фраз, долетевших до мальчика, мучили его. Отец говорил о необходимости «хорошо питать перед дальней дорогой». Мать часто повторяла слово «рано», отец бранился и говорил: «Пора». Сопоставляя обрывки фраз, Никколо понял, что речь шла о затее отца предпринять круговую поездку по городам Лигурийского побережья с концертами маленького скрипача.

Как только отец ушел на биржу, мальчик сорвался с места, быстро оделся и побежал к синьору Ньекко. Как раз в тот момент, когда он хотел взяться за ручку двери, он увидел, как синьор Ньекко отворяет эту дверь, и под лучами солнца, падающими сквозь окна лестницы, из двери синьора Франческо со звонким смехом появляется девушка... Улыбка сбежала с ее лица, оно стало серьезным, как только она увидела маленького Паганини.

— Вот ваш маленький скрипач, — сказала она, оборачиваясь к синьору Ньекко. — Итак, я вас жду.

Стуча каблуками, она шла по лестнице, быстро, на ходу повязывая вуаль вокруг шеи. Не зная сам почему, Паганини почувствовал, как тонкая ледяная иголочка вошла к нему в сердце, сломалась и оставила в нем острие.

Синьор Ньекко поднял маленького Паганини на воздух, покружил с ним по комнате, поцеловал его в лоб и с размаху опустил на пол.

— Поздравляю! — сказал он. — Как жаль, что я не могу взять тебя с собой. Завтра я уезжаю.

Паганини бросился в кресло, слезы ручьем побежали из глаз. Весь успех вчерашнего концерта, все ликование мальчишеского самолюбия — все исчезло перед лицом огромного неожиданного горя.

Глава девятая

ОТРОЧЕСТВО

Антонио Паганини был несколько встревожен тем шумом, который поднялся вокруг концерта маленького скрипача.

Однажды утром, когда Тереза Паганини мирно спала, когда лучи солнца только начали золотить верхушки памятников на генуэзском кладбище, а песок на морском берегу был еще закрыт тонкой пеленой быстро убегающего под утренним ветром тумана, когда только чириканье птиц оглашало одинокие генуэзские улицы, маленький Паганини с тростью, перекинутой через плечо, и узелком за спи-

ною, семеня ногами, стараясь поспеть за большими шагами отца. Старик суетливо переключивал из кармана в карман бумажник, кошелек, билеты «Итальянского мессаджера». Через час уже были в Фоче, потом в Нерви, потом увидели на открытом морском берегу Рекко, потом ехали в гору и, когда солнце стояло уже высоко, по дороге, прибитой дождем, въехали в лес. Так доехали до Киавари. В Киавари остановились у дешевого трактира. Только здесь маленький скрипач узнал, что мать не будет тревожиться, ей оставлено письмо. Синьор Антонио был неожиданно ласков с Никколо. Он даже потрепал сына по щеке и сказал:

— Знаешь, я совсем разорен, теперь в твоих руках спасение семьи. Играй, играй всюду. Соберем деньги, тогда заживем хорошо.

Из Киавари, где Никколо впервые пришлось играть в трактире, выехали на юг. Два раза мальчик играл в Специи. Потом пошел концерт за концертом — в церквях, в трактирах, в гостиницах. Жажда наживы гнала старика из города в город. К Антонио Паганини как бы вернулись юношеские силы, бодрость; он не давал сыну ни минуты отдыха, не щадил и самого себя. Откуда-то взялась ловкость самого настоящего импрессио. То, что не удавалось маклеру, вдруг удалось антрепренеру.

В маленькой типографии Массы, ради дешевизны работы, были заказаны афиши. Скрываясь под маской дальнего родственника, Антонио Паганини отчаянно рекламировал сына. Предметом наибольших надежд были Лукка, Пиза, Флоренция, потом он хотел ехать в Болонью, Модену, Реджио, Парму, Пьяченцу, Павию и Алессанрию, затем опять на юг, дать концерт в Нови и горной дорогой вернуться в Геную. Таким образом, все побережье Ривьеры ди Леванте сделалось ареной действий этого старого пирата.

Между выступлениями в больших городах старик не брезговал ничем, заставляя ребенка играть на постоянных дворах, выпрашивая байокки, чентезими и сольди у погонщиков мулов, у бродячих артистов, семинаристов, сидевших за кружкой вина и уничтожавших фрутти ди маре.

Так доехали до Ливорно. Перед первым концертом в этом городе старик раскрыл самый тяжелый сверток. Там лежали серая куртка, панталоны, новые чулки и туфли, серая огромная шляпа с перьями. Все это было неуклюже, не по росту, но сделано из дорогого материала. Белый кружевной воротник стоил несколько лир, и маленький скрипач

еще раз почувствовал, что для синьора Антонио его существование имеет новую, ранее неизвестную мальчику цену.

Пестрота ливорнской публики не помешала успеху концерта. Отец сам следил за выручкой и принял все меры к тому, чтобы его не обсчитали ни на один байокко. А вечером, после очень сытного ужина, старик позволил себе большую роскошь. Он поставил луидор в ливорнском ридотто и выиграл в этот же вечер тысячу франков. Выигрыш ударил ему в голову, как хмель. Старик подошел к стойке, залпом выпил бокал можжевелевой водки и вновь вернулся к игре, ни на секунду не отпуская от себя сына, словно боясь, что мальчик может выдать какой-то секрет, если останется один. А быть может, он смутно почувствовал, как тяжело переживает Никколо страшную тоску по дому, о которой намекнул отцу маленький Паганини после успешного концерта.

Через три часа все, что было выручено на концерте, и весь выигрыш этого удачного вечера — все было проиграно, и последнюю двадцатипятифранковую кредитку старик снес в морской притон на берегу.

Под утро вернулись в гостиницу. Старый Паганини брюзжал и ругался. Ложась спать, заявил, что завтра будет повторение концерта.

Утром, проснувшись, маленький скрипач заметил, что рукав новой серой куртки разорван. Он не помнил, как это случилось, но знал, что ему не миновать побоев, да и выступать вечером будет не в чем.

Отец спал. Мальчик глядел на рваную куртку с таким ощущением, как будто это была рана, разорвавшая его собственную кожу. Держа куртку в руках, он осторожно вышел из комнаты. У дверей он застал служанку и коридорного лакея. Служанка локтем отталкивала пристающего к ней усатого лакея, но как только тот заметил, что отворилась дверь, он сам отскочил в сторону. Горничная хотела убежать. Мальчик остановил ее, попросив иголку с ниткой. Заливаясь слезами, он по совету служанки пошел на чердак. Ветер гулял на чердаке. Было холодно, сквозняк поднимал тонкую едкую пыль с деревянных балок и стропил. Маленький Паганини бранил себя за то, что не хватило мужества упросить служанку заштопать куртку. Но тотчас трезвое соображение, что за это пришлось бы платить деньги, удовлетворило его.

В это время Паганини услышал громкое пение продавца овощей. Голос чистый и отчетливо ясный прорезал воздух улицы. Мальчик наклонился, опираясь на подоконник,

и выглянул в окно. Порывом ветра у него вырвало куртку из рук, и пока он бежал по лестнице, куртку кто-то успел подобрать. Выбежав на улицу, Паганини встретил только удивленные взгляды.

Весь в слезах, он остановился у двери. Рука несколько раз ложилась на скобку двери, и каждый раз казалось, что руку обжигает, как огнем. Наконец, осушив слезы, вошел. Отец еще спал. Паганини осторожно, стараясь не шуметь, навесил крючок и лег на свою постель. Он хотел снять туфли и сделать вид, что он и не вставал, но вдруг увидел, что один глаз отца внимательно осматривает его с головы до ног из-под одеяла. «Видел или не видел?» — подумал мальчик и потом с внезапной решимостью сказал:

— Отец, разрешите мне признаться вам: украли куртку.

Старый Паганини вскочил, мгновенно прошли последние ощущения сна.

— Ты меня разоряешь! — завопил отец и заметался по комнате в бесплодных поисках.

«Слава мадонне, — подумал Паганини, — отец не видел». И с притворным усердием стал помогать отцу. Но искать было нетрудно — в комнате, кроме жалкого имущества Паганини, ничего не было, мебелировка была убогая, куртка завалиться никуда не могла. Через несколько минут старый Паганини уже кричал в коридоре, что он не заплатит ни копейки и сейчас же пойдет предупредить власти о том, что в этой гостинице грабят и убивают. Маленький Паганини притаился в номере. Кто-то, очевидно предполагая, что речь идет об одежде старика, принялся уговаривать синьора Антонио.

Тот окончательно разошелся и не желал ничего слушать. Он кричал:

— Мой сын, мой знаменитый сын сегодня дает концерт, и у него украли одежду!..

— Какой ваш сын? — спросил женский голос.

Синьор Антонио открыл дверь, и Никколо увидел ту самую горничную, которая давала ему иголку и нитку. Ложь мгновенно была изобличена.

— Вы говорите, синьор, знаменитый скрипач, а такой лгунишка не может быть знаменитым скрипачом!

Тогда отец накинулся на сына с кулаками:

— Ты дармоед, ты забываешь запоем господню опочтении к родителям. Чтобы вывести тебя в люди, я, не щадя своих старых костей, мечусь по каменистым дорогам... Где куртка?

Маленький Паганини, стоя на коленях, протягивая к отцу руки, сбивчиво и бестолково рассказывал о случившемся.

— Лжешь! — кричал отец. — Ты ее продал! Боже мой, боже мой, такой концерт, и ни байокко денег. Ты продал! — снова закричал он, наступая на сына. — Чтобы сегодня к вечеру куртка была!

Маленький Паганини надел старую, подаренную матерью куртку и вышел на улицу. Сначала он шел медленно, думая, что отец окликнет его, но старик был, очевидно, совершенно вне себя. Он не вернул сына.

Выйдя за черту города, Никколо сел на придорожный камень, потом, почувствовав усталость, снял куртку, подложил ее под голову и прилег на траву. Заснуть ему не удалось: под щеку попал твердый кружок. Паганини вскочил от радости. Это была пятифранковая монета. Тереза Паганини была суеверна — в каждый новый костюм детям она зашивала деньги.

Первой мыслью Паганини было вернуться, но тут же он принял другое решение. Пробродив до вечера по окраинам Ливорно, голодный, он вошел, когда стало смеркаться, в морской притон близ гавани, тот самый, где вчера потерпел поражение отец. По следам старого Антонио Паганини мальчик второй раз в жизни вошел в игорный дом.

Спустившись в полутемный коридор и отсчитав ровно восемь ступенек, Паганини нащупал дверь, знакомую со вчерашнего дня, открыл ее и, не обращая внимания на то, что матросы и проститутки загоразивали дорогу, потихоньку вдоль стенки прошел в комнату.

Здесь были неудачливые капитаны, не в меру ловкие боцманы, неизвестные люди в поношенных камзолах, в долгополых сюртуках, какой-то старичок с беспокойной ласковостью взгляда, а дальше, в полутемной комнате, вповалку спали на скамьях портовые грузчики и матросы, окончательно отяжелевшие от можжевелевой водки. Там пьяный негр яростно спорил и ругался с вербовщиком рабочих для кораблей дальнего плавания. Свинцовая кружка мерно ударяла по деревянной стойке, и каждый раз со дна выбрызгивались капли желтоватой жидкости на руки вербовщика. Негр плевался, харкал и ругался на всех известных ему языках. За столом шла игра. Ставки были мелкие. Маленький Паганини, подойдя к столу, поставил на карту свою пятифранковую монету — благословенные деньги, подаренные матерью.

Десятки глаз устремились на мальчика. Кто-то хотел что-то сказать, но занулся. Игра шла. Кто-то спросил:

— Больше нет ставок?

К мальчику подошел старичок.

— Ну? — спросил Никколо грубо.

Сзади матрос схватил Паганини за шиворот. Мальчик огрызнулся, как собачонка, схваченная за ошейник, бесильно стремящаяся укусить схватившую ее руку.

— Что тебе нужно? Пусти! — кричал он.

— Вот я тебе сейчас покажу игру, — заговорил загорелый боцман. — У кого украл деньги?

— Свои, — ответил мальчик. — Мне надо купить одежду, без одежды я не могу вернуться к отцу.

И он показал рваную нижнюю рубашку, пожаловался на пестроту своей одежды.

— Смотри, дьяволенок, не пришлось бы тебе купить сегодня каменную одежду!

Но распорядитель игры, очевидно, иначе посмотрел на дело. Он только метнул взгляд в сторону мальчика и продолжал игру.

Поздно ночью, выходя из притона вместе с маленьким Паганини, боцман говорил:

— Тебе везет, маленькая обезьяна. Да уж если говорить прямо, то никогда и мне не везло, как сегодня. Ты родился под счастливой звездой. Но вот что я тебе скажу. Я видел, ты выиграл восемьдесят луидоров. Ты богат. У тебя столько денег, сколько у меня не было за год. Дай мне пять луидоров, я провожу тебя до дому, а то тебя зарежут в каком-нибудь переулке.

Действительно, по пятам шли двое. Боцман подтянул ремень, достал из-за пазухи тяжелый пистолет с чеканкой, изображавшей корабль, поправил пояс, на котором в ножнах висел тесак. Все это было сделано с таким внушительным видом, как будто боцман готовился отразить нападение дюжины бандитов. Но никто никого не пытался ограбить. Мальчик дошел благополучно до дому. Боцман благополучно получил пять луидоров.

Отец спал. Огромная разбитая фьяска лежала у кровати, лужа вина атегла на полу. Башмаки старика плавали в вине.

Маленький Паганини всю ночь не сомкнул глаз. У него стучали зубы, бешено колотилось сердце. Старик не проснулся. Совсем под утро тихонько, чтобы не разбудить старика, мальчик, никем не замеченный, вышел из гостиницы со скрипкой под мышкой, неся в руках узелок, в котором

было все его имущество: молитвенник, подарок матери, и бантик из лент — красной, зеленой и черной, который ему подарил как-то синьор Ньекко.

Впервые за все свое детство Ниццола Паганини чувствовал себя легко и спокойно. Хотелось есть. Он не ел два дня. Мимо большой каменной ограды, за которой виднелась зелень и щебетали птицы, он прошел по всему побережью. Девушка звонко пела на берегу, одеваясь после купанья. Медленно просыпался город. Приморская кофейная была первым местом, куда вошел скрипач-оборванец. Человек, стоявший у двери и протиравший окна, подозрительно посмотрел на маленького Паганини.

— Можешь ты заплатить? — спросил он, когда Паганини заказал себе не по возрасту обильный завтрак.

Забыв осторожность, Паганини встряхнул на ладони горсть пятифранковых монет и покосился на свои чулки, в которых были спрятаны остальные деньги. Потягивая густой горячий кофе и с жадностью уничтожая вареные яйца, мальчик вдруг вспомнил ночную игру. В конце концов чувство азарта побороло страх, внушенный притоном. Голова кружилась, с какой-то сладкой тошнотой думалось о минутах неслыханного успеха, когда золото хлынуло потоком.

Внезапно его охватил животный страх перед ворами. Поспешно выйдя из кофейни, мальчик зашагал по спокойным утренним улицам. На площади он очутился как раз в тот момент, когда магазин с красивой вывеской «Венское платье» открылся и человек высокого роста принялся перетаскивать из экипажа узлы и пакеты.

Мальчик купил себе сразу два костюма. Он не узнал себя в шеголе, которого увидел в зеркале. Боязнь того, что он один ходит по магазинам в чужом и незнакомом городе, исчезла. Выйдя из магазина и стоя на углу, он, забыв, где он находится, вынул скрипку из чехла. Взял несколько аккордов, и звуки полились сами собой. Охватившие его чувства, все пережитое в этом году внезапно вылилось в урагане звуков, сбивающих все на своем пути, все покрывающих собой, рвущих нить, связывающую его с домом, с семьей. Он шатался, его бросало в жар и озноб, он играл, как одержимый, как безумный, и не понимал, где он и сколько времени он играет. Он не замечал собравшейся вокруг него толпы, не видел, как прохожий снял с него шляпу и положил ему под ноги, как в эту шляпу со всех сторон сыпались деньги. Он не чувствовал, что слезы застилают ему глаза, и только когда зашатался — опустил

смычок. У него тряслись колени, плечи казались ему обремененными свинцовой тяжестью. Тут он увидел людей и услышал, как вся площадь ему рукоплескала. Извозчик, призвавший на козлах, кричал и махал шляпой, приказчики в магазинах бросили свои прилавки, покупатели остановились у входа, его узнавали, о нем говорили.

Паганини с удивлением посмотрел на деньги, поднял шляпу, неуклюже набил карманы монетами и бумажками. Спрятал скрипку в чехол и пошел один, не зная, куда идти. Ноги едва повиновались ему. Постепенно таяла за ним толпа зевак и прохожих. Никто не осмеливался обратиться к нему с вопросом, видя изможденное лицо, заплаканные глаза, огромные мокрые ресницы. Мальчик все время думал, что он должен что-то сделать; и не мог ответить себе на вопрос, что именно сейчас нужно сделать. Наконец догадался. Имея деньги, можно нанять извозчика. Когда сел в экипаж, он почувствовал, что бороться со сном стало не под силу. Держа под мышкой скрипку, он освободил правую руку и щипал себя за ухо. Доехали до почтового двора. Там он узнал, что через час отправляется поздний мальпост, и взял билет до Милана. Поздней ночью выехал из Ливорно при звуках рожка по большой старинной дороге на север. Там когда-то проходили римские войска. На мостовой древние камни, истертые колесами римских повозок, чередовались с прокладками новой мостовой.

Старая жизнь кончилась. Первая игра в притоне оказалась куда интересней, чем игра на скрипке. «Впрочем, что я думаю, — соображал Паганини, засыпая, качая головой при каждом толчке мальпоста, — еще такая игра на площади, и я снова богат. Зачем мне возвращаться к отцу, который сосет мою кровь?»

Выехали из старинных Пизанских ворот по северной дороге.

«Хорошо сидеть в мальпосте в хорошую погоду, — пишут старые путешественники и добавляют: — Хорошо сидеть в мальпосте в декабрьский дождь, спрятавшись глубоко внутри кареты, если нет щелей в полу и в окнах, если есть крепкая смена одежды и хорошо наполненный желудок, если неподалеку из свертка торчит серебряная фляжка с крепким тягучим золотистым напитком». Но плохо оказалось путешествовать в мальпосте по северным итальянским дорогам одинокому мальчику.

Едва почтовая карета въехала в ворота мессаджера в Лукке, как два жандарма арестовали маленького Паганини.

Старик Антонио занял денег и, не покупившись на расходы и обещания, поднял на ноги всю полицию Ливорно, а последняя гелиограммой предупредила о приезде мальчика в Лукку.

Двое суток просидел Паганини в префектуре. Его не переводили ни в тюрьму, ни в камеру, за решетки, он пользовался почти полной свободой. Ему запрещалось только выходить за пределы здания префектуры. Над ним посмеивались полицейские чиновники, его почти не спрашивали, предполагая, очевидно, что это сын богатого человека, что все решится само собой, не надо только торопиться и обострять положение. И так как полицейские чиновники не знали, как себя вести с мальчиком, который не является преступником, а, может быть, даже принадлежит к хорошей фамилии, то гостить в луккской префектуре Паганини было не так уж плохо. Он выпался, был сыт.

Он несколько раз спрашивал, когда приезжает южный мальпост, и каждый раз забывал час, который ему называли. Наконец, когда он открыл двери и, обращаясь к стоящему внизу полицейскому, еще раз спросил о южном мальпосте, он услышал голос отца:

— Здесь уже, здесь.

Ни побоев, ни одного грубого слова за всю дорогу домой. Наоборот, отец проявил даже признаки несвойственной ему нежности. Мальчик украдкой смотрел на отца, когда тот засыпал в мальпосте; настороженность не покидала Никколо ни на минуту. Но, вопреки ожиданиям, старый Антонио держался ровно и спокойно, говорил мало, был задумчив. Чем дальше продвигались они на север, чем ближе они были к Левантинской Ривьере, тем быстрее работал мозг маленького Паганини. Никколо вдруг почувствовал, какое огромное значение в его детской жизни имел этот побег от отца. Он почувствовал себя отрезанным от семьи. Даже обостренная боль разлуки с матерью исчезла по мере приближения дилижанса к родному городу. Если бы Паганини был старше, он сумел бы сформулировать свое отношение к отцу как ощущение удачливого педагога, ловко исправившего поведение своего воспитанника. Роли переменились. Паганини чувствовал, что отец находится у него в руках. И в то же время он боялся его.

По молчаливому уговору, отец и сын вернулись домой, как богатые и счастливые путешественники. О тяжелом происшествии они не вспоминали.

В Генуе царил веселье.

Кто-то привез слухи об успехах маленького Паганини, и маркиз ди Негро прислал письмо с приглашением выступить на вечере с знаменитейшей певицей Северной Италии Терезой Бертинотти. На этом же концерте Крейцер-старший играл на клавесине свои сочинения.

Паганини успешно выступил у ди Негро с тем спокойствием и уверенностью в себе, которые дало ему первое большое жизненное испытание.

Со своим новым положением Паганини быстро освоился. Несмотря на бранные клички, которыми награждали его сестры, на завистливые и почти ненавидящие взгляды, которые бросал на него брат, Паганини чувствовал себя центром семьи.

Старик Паганини напустил на себя удвоенную важность: чудо-ребенок, выращенный любящим отцом и самоотверженной матерью, которые все сделали для того, чтобы развернуть талант сына, — вот новая вариация, избранная старым Паганини.

Мать Никколо радовалась этой перемене, принимая все за чистую монету. Она боготворила сына за его благодетельное влияние на отца.

Однажды господин Крейцер остановил свой экипаж около мрачных дверей дома в Пассо ди Гатта Мора. Богатый музыкант, артист с аристократическими манерами и внешностью французского маркиза, Крейцер зажал нос шелковым платком, когда шел по лестнице.

Господин Крейцер долго внушал синьору Антонио от имени маркиза ди Негро, что мальчика необходимо отправить в Парму, ибо в Парме живет единственный скрипач, который может завершить музыкальное образование маленького Паганини. Мальчик слышал это имя. Ди Негро и Крейцер уговаривали отца поехать к Алессандро Ролла.

Прошла неделя. Снова легкий запах горных цветов врывается в окна открытой кареты. Старик и мальчик со скрипкой едут в мальпосте по дороге на Парму.

Приехали в полдень.

Их проводят в комнату, несущую на себе отпечаток величавости и запущенности. Это — комната самозабвенного человека, заболевшего тяжелой и неизлечимой болезнью.

У окна, под горячими лучами полдня, на столе белеет большая нотная тетрадь. Свинцовым карандашом набросаны сорок восемь строк новой музыкальной пьесы,

Ролла болен. Старый Паганини упрасивает его жену показать Никколо великому Ролла «хоть на минутку».

Пока синьора Ролла в дальней комнате справляется у мужа, сможет ли он принять маленького скрипача, мальчик вынимает скрипку и уверенно с первых тактов начинает разыгрывать а *vista* новую пьесу Ролла. Это скрипичный концерт, еще нигде, никем, даже самим автором, не сыгранный. Не зная этого, Паганини играет; играет, увлекшись первыми фразами концерта.

Вот пройдены первые двадцать семь строчек, вот наступает адажио, и в эту минуту распаивается дверь, и на пороге останавливается желтый, изможденный человек в голубом халате, распахнутом на груди. Седые волосы на голове и на груди, глубокие морщины, больные глаза. Не говоря ни слова, махнув длинным желтым пальцем, повелительным жестом приказав продолжать игру, Ролла подходит, еле волоча ноги, к креслу, садится, роняет голову на ладони, опершись локтями в колени, и с закрытыми глазами слушает собственный концерт.

Вот кончается кантилена. Быстрое, как искры, пиццикато, потом фермата, и мальчик кладет скрипку. Не отнимая рук от лица, Ролла откидывает голову на спинку кресла. Плечи старика вздрагивают, но слез не видно, и мальчик не понимает, что это — сдавленное рыданье старого композитора или приступ кашля, который тот хочет подавить усилием воли.

Скрипач смущен, он переводит глаза с отца на старого Ролла, от композитора к его жене. Вскинув в каком-то всплеске ладони, эта женщина стоит с выражением не то ужаса, не то восторга. Старый Паганини растерянно мнет шляпу в руках. Чтобы прервать это неловкое молчание, Никколо подходит к синьору Ролла:

— Маэстро!..

Но Ролла прерывает его:

— Я никогда не буду твоим учителем, мальчик. Как быстро шла жизнь, если дети теперь достигают того, к чему мы подходили, только истощив свои силы! Что сделалось с миром, как быстро улетает жизнь!

Старый скрипач внимательно, с ног до головы оглядывает маленького Паганини. Выражение все большего и большего удовлетворения разливается по лицу старика, выровнялись морщины, улеглось волнение, и твердым голосом он говорит:

— Я стар, мне нечему тебя учить. Но есть в Парме человек молодой и полный сил, он может быть тебе полез-

ным. Ты выйдешь из дверей на Виале Ментана, там ворота из серого камня, войдешь в них, найдешь широкий внутренний двор с цветами и колоннадой, — там музыкальная школа. Ее директор — синьор Паер, к нему обратишься, и да благословит тебя бог.

Старик подобрал полы халата, быстро встал, плечи его вздрогнули, словно от озноба; не прощаясь, он ушел к себе.

Глава десятая

КАРТЫ, КОСТИ И СКРИПКА

Полгода жизни в Парме пролетели, как один день. Паер сам руководил музыкальными занятиями маленького синьора Никколо Паганини. Теория музыки давалась легко.

Облик Паера ассоциировался у мальчика со ртутью. Походка у синьора Паера была такая тяжелая, словно действительно в жилах его текла ртуть. Но эта тяжесть сочеталась со странной подвижностью его манер, с быстротой и блеском. И в то же время Паганини всегда чувствовал холодность этой крови. Ртуть похожа на расплавленный металл, но она холодна. Мальчика поражал этот странный человек, поражали холод и мертвящая тяжесть его зрачков, словно не видящих, с каким-то лиловым оттенком, глаз; этот фиолетовый тон и легкая лиловость, сиреневость одежды, галстука, перчаток — все это странно действовало на Паганини. Он сам удивлялся, что так часто видел его во сне. Синьор директор консерватории, важный господин Паер, всегда фигурировал в этих снах в качестве какого-то чудесного гения в лиловом хитоне; он махал рукой перед оркестром таких же, как он, лиловых людей — фиолетовых гениев, — и с каждого пальца сбрасывал не то серебряные капли, не то брызги ртути, которые, дробясь, со звоном падали на оконные стекла, и этот звон превращался в звон миллионов колокольчиков. Сыпалось разбитое стекло, звенело, превращаясь в кристаллики, искры, звездочки, градинки и снежинки, которые осыпали деревья. Вдруг становилось холодно, зима покрывала мир, как на высоких горах за Кремоной, там, где в июле ребята бегают на коньках на горных озерах, а внизу пасутся стада, и золотой звон пастушеского рожка собирает овец и гонит их в узкие проходы между высокими ажурными оградами зеленых виноградников, залитых солнечным светом. Вот эти капли ртути попадают на деревья, мгновенно загораются тысячами белых огней

по ночным аллеям парка. А потом ночь сменяется днем, и пармские фиалковые поля еще ярче горят от магического влияния лилового и фиалкового цветов на господине директоре консерватории города Пармы.

Проходили дни. Гарди и Нови, ученики пармской консерватории, были соперниками Паганини. Им не удалось одержать победу над ним ни по скрипичной игре, ни по классу теории, но в области композиции они оспаривали у Паганини подступы к сердцу учителя. Гарди и Нови ненавидели друг друга. Вначале каждый из этих консерваторских семинаристов стремился привлечь Паганини на свою сторону. Но Паганини не воспользовался этими предложениями дружбы с одним для того, чтобы вредить другому. Тогда оба врага объединились в общей ненависти к Паганини.

Нови был братом каноника старинной геновезской церкви. Братья Нови писали друг другу сладкоречивые письма, исполненные взаимных уверений в преданности делам церкви. Старший передавал младшему сведения о семье и детских годах Паганини. Младший поручал старшему распространение сплетен о молодом скрипаче. И в то время, как Паганини, увлеченный работой, не щадя сил и здоровья, занимался по четырнадцать часов в сутки, в другом городе готовилось ему большое и суровое испытание.

Паганини жил в каморке у синьоры Августины. Каморка запиралась плохо. Паганини уже не удивлялся, когда, возвращаясь из консерватории, замечал следы пребывания чужих людей в своей комнате. Перерыты все его вещи, не исключая белья, распорота и неряшливо зашита подушка, в беспорядке сложены и связаны письма от матери и сестер. Зачастую Паганини, открывая дверь, видел, как, в довершение всего, обычная посетительница его комнаты, большая крыса, сидит на письменном столе и грызет оставленную кем-то корку хлеба. Паганини вздрагивал и останавливался. И каждый раз, презрительно глядя на музыканта, крыса медленно, не торопясь, шлепалась со стола и убегала под пол.

Правоверные католические газеты доносили о больших событиях. Но эти отголоски не колебали воздуха Пармы. В Парме тихо позванивали колокола, и толстые, заплывшие жиром аббаты гнусавили мессу. Молодые скрипачи по обязанности бывали в церкви. Совершеннолетний Гарди исповедовался и приобщался. После исповеди всякий раз он подолгу запирался с Нови для каких-то особых обсуждений. Они хвастливо заверяли товарищей по консер-

ватории, что им поручено наблюдение за правильностью образа мыслей консерваторских студентов.

Паганини целыми часами бился над почти неразрешимыми скрипичными пассажами. Потом, измученный работой, которая все больше и больше связывалась для него с огромным физическим утомлением, он шел на другой конец города, где жил Гиретти, старый неаполитанский дирижер. Гиретти был учителем Паера. Именно ему синьор Паер поручил теоретические занятия с Паганини. Гиретти относился к ученикам с необычайной строгостью, и Паганини знал, что малейшая ошибка, малейшее ослабление внимания скажутся немедленно на отношении к нему синьора Гиретти и синьора Паера. Гиретти был простым преподавателем консерватории, его ученик был директор. Синьор Паер был учеником Гиретти и его начальником. Но, как это часто случается в мире высокого и большого искусства, фактически положение было таково, что синьор Паер не выходил из подчинения у синьора Гиретти во всех вопросах музыкальной теории. В делах административных синьор Паер был полным господином. Синьор Гиретти просто отрицал существование каких бы то ни было административных задач и административных работ синьора Паера. Казалось, что для Гиретти не существовало вовсе практической жизни. В противоположность синьору Ньекко этот высокий худой старик с красивым лицом в ореоле седых волос был как бы не связан с явлениями обыденной жизни. Внутреннее убранство комнат нисколько его не занимало. Беспорядок господствовал повсюду — и на полках, и на столе, и на диване, который служил синьору Гиретти одновременно и постелью. Связывала этих двух, совершенно не похожих друг на друга, дирижеров только преданность одинаково почитаемой обоими эмблеме. Паганини заметил среди вещей, разбросанных на письменном столе в комнате, куда Гиретти не впускал никого, кроме Никколо и синьора Паера, маленький черно-красно-зеленый бантик, такой же, какой однажды подарил Никколо синьор Ньекко. Это был значок лесных братьев. В полудетском сознании Никколо три цвета этого значка обозначали леса, в которых эти люди среди зелени раздувают красное пламя подземных костров и целыми курганами жгут черный уголь. Вот откуда сочетание красного, черного и зеленого. Политическое значение слов «фореста», «баракка» и «вента» Паганини почти забыл, вся эта система символов была под запретом.

Если теоретические занятия Паганини проходили под руководством Гиретти, то все очередные практические упражнения и работа по композиции велись под непосредственным руководством Паера. Другие преподаватели смотрели на маленького Паганини скорей как на младшего товарища. Паганини знал о том, как относятся к нему консерваторские педагоги. Это наполняло его мальчишеской гордостью. Но, к сожалению, это не сделало его более осторожным в отношении со студентами. Поглощенный работой, он продолжал держаться особняком. Возвращаясь от Гиретти, он, вместо того, чтобы в свободный вечер веселиться с девушками Пармы, как это делали товарищи его по консерватории, снова запирался в комнате и снова играл. Он довел себя до такого истощения, что нередко скрипка падала у него из рук. Но он уже достиг той степени фанатического напряжения, когда не замечал, как тают силы, не ощущал ничего, кроме своего продвижения к поставленной им себе цели. Лишь страшные приступы кашля на целые часы выводили его из строя. В такие промежутки Паганини оставлял скрипку и садился за стол. Мельчайшим почерком он исписывал листы графленой нотной бумаги. Это были задачи, заданные ему Паером. И к концу шести месяцев пребывания в Парме были готовы двадцать четыре фуги в четыре руки, написанные без инструмента. Паер играл их вместе с Паганини. Это был единственный ученик, которого допустили играть с директором консерватории. Невероятно трудная музыкальная форма, приданная маленьким композитором своим произведениям, исключала возможность исполнения его композиций кем-либо из шести учеников, допущенных к занятиям с синьором Паером.

По истечении четырех месяцев совместной работы с Паером Паганини получил приказание написать дует для скрипки и с головой ушел в разрешение этой задачи.

Пока вынашивалась эта сложная и трудная композиция, Паганини разыгрывал произведения других учеников. Он делал это с добрым чувством, а вызывало это тяжелые последствия. Его исполнение, помимо его воли, озлобляло соперников, так как он на лету, в процессе исполнения, исправлял смычком дефекты их произведений. Бездарную вещь он умел так изменить, что в его исполнении она не вызывала возмущения Паера. Но эта маленькая помощь соперникам вместо чувства признательности вызывала еще большую их ярость. Товарищи Паганини в присутствии Паера молчали, зная, что Паганини исправил

их вещи, выручил их, но набрасывались на него, как только учитель уходил. Гарди гневно кричал Паганини, что тот произвольно переделал его произведение; двое других угрожали Паганини жестокими побоями за то, что он будто бы крадет целые фразы из их произведений и вставляет в свои фуги.

Паганини прекрасно знал, в чем дело. Играя пьесы своих товарищей, он облакал их в форму, в которой многое было продуктом его вдохновения. Естественно, что отдельные элементы повторялись в его собственных произведениях. И когда первая fuga была сыграна в консерваторском зале, шестеро студентов набросились на Паганини с криками: «Вор!»

Однажды вечером, когда Паганини вышел из своей комнаты отдохнуть и сидел около Пармского замка, внезапно его внимание привлек валяющийся на дорожке листок с нотами. Паганини поднял его. Это были ноты с французским текстом, с длинным витиеватым названием, с виньетками по углам, — военная песня рейнской армии, исполняемая на сценах разных театров, сочиненная инженерным офицером Руже де Лилем.

Паганини вернулся домой, зажег свечу, снова перечитал ноты. Потом, слушая, как в тишине наступающих сумерек прозвенел на отдаленной колокольне «ангелюс», он с последними звуками затихающего колокола провел смычком по струнам. Скрипка запела первые три такта «Марсельезы». В тоне колоколов, в замедленном темпе эта песнь звучала странно.

Широкий, спокойный поток церковного хора сменился целым морем органных звуков, которые только одному Паганини удавалось воспроизвести на скрипке. Потом послышалось журчание, словно побежала по камням струйная речка. Сначала тихая, она становилась все более стремительной, все более мощной, и, наконец, ее шум слился с шумом рокочущего бурного прилива, многоголосого говора толпы, который приближается по отдельным улицам и выливается на площадь. Цоканье копыт, звон оружия — и только в этот момент Паганини выпустил «Марсельезу» на свободу, как птицу. Французская боевая песня, горячий призыв к борьбе захватили и самого скрипача настолько, что он не заметил, как собралась около дома толпа, не понимал, почему раздаются рукоплескания и крики, и, только окончив игру, положив скрипку, он увидел в маленькое окошко, что улица полна народа.

Утром Паганини проснулся под ворохом одежды, которую он ночью, пытаясь согреться, набрасывал на себя. Его была лихорадка.

Десять дней Паганини провел в постели. Он не спускался со своего чердака. Старая привратница консерватории пришла навестить его, передала привет от синьора Паера и принесла записку:

«На тебя гnevаются, ты не знаешь, безумец, как опасно смешивать церковные гимны с безбожными песнями французов. Я случайно узнал о твоей болезни. Нови явился ко мне с докладом и сообщил, что ангел явился к тебе и теперь ты лежишь с разбитой рукой, храня на себе печать божественного гнева. Я не верю этому вздору, но будь осторожен. Сожги эту записку, дорогой глупец. Барбара позаботится о том, чтобы ты скорей выздоравливал и чтобы тебя как следует кормили. Я лишен возможности навещать тебя. Приходи, я расскажу тебе о приглашении, которое я получил от венецианцев, так как не в Парме, а именно в Венеции принята к постановке написанная мною опера. Не забудь наглухо закрывать окна с вечера. Начались холодные ночи, и много людей болеют лихорадкой».

Письмо было без подписи. Старая служанка молча ждала, пока Паганини читал записку. Потом зажгла свечку и наконец предала уничтожению письмо Паера. Суровый взгляд старухи и выражение лица ее говорили, что она знает о молодом скрипаче гораздо больше, нежели он сам.

На следующий день Паганини отправился в консерваторию, чтобы сдать учителю дописанный дуэт. Выходя, он с досадой увидел, что дверь открыта: по-видимому, всю ночь после ухода служанки она оставалась незапертой.

Когда он сыграл первую строку, жгучая боль в левом глазу и виске едва не лишила его сознания. Лопнула басовая струна. Конец ее ударил скрипача в левое веко. Приобретенная выдержка не позволила в присутствии учителя обнаружить боль. Собрав все свое мужество, Паганини решил продолжать игру на трех струнах. Руки дрожали, голова кружилась, тяжесть давила руки и плечи.

«Опять лихорадка», — подумал Паганини, боясь взглянуть в сторону Паера. Краска заливала ему щеки, казалось — песком засыпаны глаза. И вдруг учитель положил ему руку на плечо.

— Откуда ты взял эту ночную посудину? — грубо спросил Паер. — Ведь это не твоя скрипка, Паганини.

Действительно, это была грубая деревенская скрипка,

неизменный гость сельских свадебных пирушек и танцевальных вечеринок. И в довершение всего, на внутренней стороне грифа были привязаны кусочки свинца. Паер зажег канделябр и принялся рассматривать со всех сторон это грубое изделие плохого мастера. Подтащив Паганини за локоть, он молча, тонким пинцетом показал ему, что все струны надрезаны. Он бросил скрипку на стол. С жалобным звоном полопались оставшиеся струны. Паер большими шагами заходил по комнате.

Паганини стал смеяться, сначала тихо, потом смех этот перешел в хохот. Он упал на диван и, почти катаясь по дивану, смеялся. Угнетавшее его чувство неуверенности в себе, страх, что болезнь убила в нем скрипача, сменились страстным, непобедимым сознанием того, что нет на нем никакого вины перед великим искусством и что виновника сегодняшней неудачи нужно искать не в себе, а в других. От болезни не осталось и следа. Та робость, которая мгновенно охватила Паганини в присутствии Паера, вдруг исчезла.

— Ну, а где же твоя скрипка? — спросил Паер.

Паганини смолк.

— Я знаю, кто это сделал, — как бы про себя задумчиво сказал Паер.

Потом, машинально перевернув страницу нотной тетради, воскликнул:

— А! Дуэт готов, это хорошо.

Он достал из шкафа скрипку для Паганини, взял свой инструмент.

После того как дуэт был сыгран, с улыбкой большого удовлетворения Паер сдержанно сказал:

— Ни одной ошибки против требований чистого и строгого стиля. Что же? Я считаю, что ты сдал экзамен. Теперь поговорим о нашем расставании.

Глава одиннадцатая

КРЫСЫ

Пармская полиция отказалась предпринимать какие бы то ни было поиски пропавшей скрипки.

После двух платных концертов, данных на скрипке, принадлежавшей Паеру, Паганини оплатил стоимость нового инструмента. Остаток денег он отослал отцу.

Странно складывалась его жизнь. В размышлениях о ней он провел немало часов, сидя у окна своей комнаты, из которого видна была вся юго-западная часть города.

Однажды его размышления были прерваны появлением в переулке двух странных людей. Вот они стоят под окнами чердака на углу, против входа в большое здание. Они умолкают, когда мимо них проходит кто-то, и возобновляют разговор, опасливо глядя проходящему вслед. Потом один быстрыми шагами уходит в переулок. Паганини смотрит на них с чердака, и, хотя его каморка возвышается над тремя этажами старого пармского дома, он слышит весь разговор от слова до слова.

Так было всегда. Часто в ночном безмолвии Паганини ловил едва долетающие звуки: то отдаленный звон из селений к северу от Пармы, льющийся между холмами по долине, то скрип одноколок и крики погонщиков за городским валом на старинной римской дороге, то голоса пешеходов, проходящих по площади за два квартала от дома, то крики и плач больных детей, доносящиеся из подвальных помещений соседних переулков, и даже легкую перебранку хозяек у вечернего колодца за дальним переулком у городской стены. Эта необыкновенная изощренность слуха казалась Паганини естественной.

Человек, оставшийся в переулке, быстрыми шагами направился к лестнице. Прошло несколько секунд, раздались шаги по лестнице и стук в дверь. Вошел учитель.

— Вот,— сказал Паер.— Я пришел с тобой проститься. Пришел проститься только с одним учеником.

Паганини подвинул ему стул. Взволнованный и расстроенный, он смотрел на синьора Паера. На лице его учителя тревога и грусть сменились улыбкой.

— Я хочу предупредить тебя,— заговорил Паер, не садясь,— не ходи в консерваторию, уезжай как можно скорей из Пармы. Я жалею, что мне приходится бросать город, в котором я провел столько лет, но венецианцы упорны, условия, которые они предлагают, лучше, чем условия других городов.

Паер словно загнулся, он провел рукой по волосам, посмотрел на Паганини и спросил:

— Ну, ты огорчен? Ты как будто смущен чем-то?

Взяв Паганини за плечи, он повернул его лицом к окну. Паганини отвел глаза, на желтых щеках его появились красные пятна. Потом Паганини посмотрел Паеру прямо в глаза и сказал:

— Я очень виноват перед вами, я уже слышал все, что вы говорили с вашим спутником. Я знаю, что вы — карбонарий, и я знаю имя этого человека — Уго Фосколо.

Паер вздрогнул и отскочил.

— Вот за что я не люблю тебя,— сказал Паер быстро и отвернулся.

— Но я не разделяю вашей нелюбви,— ответил Паганини.— Разве я виноват, что меня не любят? Я ко всем отношусь, как к друзьям, и не виню никого за недостатки, в то время как меня бранят за мои достоинства.

— Что же ты слышал из нашего разговора? — спросил Паер.

— Очевидно, расставаясь, вы спрашивали синьора Фосколо о венецианской жизни. Синьор Фосколо рассказывал вам о постановке своей трагедии «Тieste». Он говорил о своей ссоре с Бонапартом, говорил о том, что он никогда не увидит родной Венеции после гибели цизальпинской республики. А вы, вы говорили ему, что постараетесь связать его с Венецией снова, вы говорили, что будете жить в Венеции на острове Мурано, будете ставить там свою оперу, между вами и Фосколо будет посредник — поэт Буратти. Учитель, учитель, зачем вы говорите так громко на улицах! Если это все...

Паганини остановился. Негодование и смех душили Паера.

— Черт побери тебя с твоим слухом! Можно было бы подумать, что ты стоял за углом. Но я не сомневаюсь в честности твоего сердца. Ну, прощай, у меня нет лишней минуты. Постарайся сегодня же выехать из Пармы, в Генуе тебе будет безопасней. Не вмешивайся в политику, если играешь на скрипке...

Паер ушел. Ночью он выехал по дороге на Гвасталлу, Мантую, Леньяно и Падую. Приехав в Венецию, он через неделю забыл своего ученика. Паер остался верным себе. Холодность, которую отметил Паганини в характере своего учителя, позволяла ему,— после того как внушенное ему чувством долга по отношению к человеку было исполнено до конца,— полностью забыть об этом человеке.

В течение последних трех дней перед отъездом в Венецию Паер разослал по городам и музыкальным центрам Италии серьезные рекомендации, где восторженно и в то же время строго сообщал о появлении Паганини как чуда в истории музыкального мастерства. Паер холодно и спокойно заявлял, что в мире музыкальных чудес Паганини открывает собой новую страну и что жизнь и история человечества не знали таланта подобного объема и мощи.

Но втихомолку уже работали другие силы. Клевета, как подземные ручьи, по темным каналам струилась во

все концы и прежде всего в родной город Паганини, куда возвращался молодой музыкант. Паганини еще не знал об этом, а Паер уже забыл. Переселившись в Венецию, он начисто выбросил из головы и из сердца мысли и воспоминания о своем ученике.

...Усталый от горной дороги, сидел Паганини за столом в маленькой комнате. Ничего неприятного сказано при встрече не было, но Паганини чувствовал себя так, словно он попал в чужую семью. Весь первый день с затаенным вниманием приглядывались родные к Никколо, словно ожидая какого-то взрыва. Но никакого взрыва не произошло.

Полная тишина и усталость были в душе молодого скрипача. Три дня он не брал в руки скрипки. Как фланер, обходил побережье. Он ступал по сырым камням ветхого мола; взяв лодку, переправлялся на Моло Дука и слушал там пение морских валов. Целыми часами он сидел на камне или стоял, скрестив руки, и смотрел, как ветер вырывает из синих валов белый пух и перья пены.

Ночами забвение не приходило. Он не разговаривал ни с кем из семьи. Незначащие вопросы, односложные ответы, скучные дни.

И только однажды вечером, вернувшись позже обыкновенного, он встретил такой грустный взгляд заплаканных глаз, увидел на лице матери выражение такой тоски, что это его испугало. Он спросил о причине ее слез. Мать молча покачала головой и хотела уйти. Он осторожно взял ее за руку. Она присела и указала ему место рядом с собой.

— Зачем ты погубил себя? Неужели ты думаешь, что нам неизвестно, какой образ жизни ты вел в Парме? Отец знает, кто был развратителем, кто отнял тебя у семьи, у бога, у святой церкви...

Никколо хотел перебить ее, но мать махнула рукой и продолжала:

— Твои друзья, которые любят тебя больше жизни, писали нам о тебе письма, полные горя. Я едва не умерла от этих писем. Тебе писал отец, я тебе писала, умоляла тебя, но ты был настолько жесток, что не ответил ни на одно наше письмо. Ты сразу приехал в родной дом как человек, имеющий право попирает порог семьи, и, приехав, ты не только не раскаялся, но даже не попросил прощения за пренебрежение своими обязанностями.

Никколо вскочил.

— Так вот чем объясняется ваш странный прием! — крикнул он.

В соседней комнате раздался шум. Отец проснулся и, шаркая туфлями, появился на пороге. Он шурился от света канделябра, дрожавшего в его руке. Хмурая улыбка иуродовала и без того некрасивое лицо. Старческие губы жевали.

— Стоит ли говорить с негодяем? — обратился он к жене. — В этом черством сердце мы не найдем ни одного светлого и чистого чувства. Предоставим этой собаке издыхать в одиночестве.

Старик тяжело дышал. Никколо молчал, не мог выйти из какого-то остоленения. Отец, приняв молчание сына за вызов, закричал с негодованием:

— Мы знаем все: знаем и то, с каким позором ты растратил здоровье в кутежах, провалился на экзаменах, как у тебя лопались струны и скрипка выпадала из рук. Помни, что все это — воздаяние господне за пренебрежение его заповедями. Мы со смирением приняли эту тяжкую кару, но не добивай свою мать упорством, нераскаившийся негодяй! Покинь нашу семью, а если не хочешь, то согласись снова взять себя в руки, и отправимся в путешествие по Ломбардии.

Никколо отрицательно покачал головой.

— Покуда вы не скажете мне, кто клеветник, кто посеял эти чудовищные сплетни, кто очернил меня в ваших глазах, до тех пор я сам буду отвечать молчанием на все ваши обвинения. Я еще выясню, кто лжет! Вы говорите, что не получали моих писем, но ведь и я не получил ни одного вашего письма!

Он припоминал все то, что было за месяц перед этим. Он всегда отдавал письма консерваторскому привратнику; письма, которые он получал, тоже шли по адресу консерватории. Но даже при всей чудовищности отношения австрийской жандармерии к переписке итальянских граждан не было случаев, чтобы пропадали все письма, посылаемые в обе стороны. Очевидно, помимо полицейского сыска и перлюстрации, был какой-то добровольный охотник за письмами.

Паганини стал на колени перед матерью и, целуя ее руки, проговорил:

— Скажите, матушка, кто этот человек, кто писал вам обо мне? Клянусь вам жизнью, что я не получил ни одного вашего письма. Я писал вам очень аккуратно каждое воскресенье. Все остальные дни недели я проводил в большой работе, я затратил много сил, но я надеюсь вернуть эти силы и обеспечить вашу старость.

Синьор Антонио закашлялся, потом, отхаркиваясь, сплюнул на пол, пренебрежительно растер туфель и, хлопнув дверью, скрылся в соседней комнате. Тогда синьора Тереза принесла связку писем и положила на стол перед сыном. Паганини стал читать. Почерк был ему совершенно незнаком. Письма были написаны на розовой бумаге, они начинались с изъявлений любви к нему, Никколо Паганини. Они начинались с выражений безудержного восторга перед ним как перед гением музыки, скрипачом, какого не видел свет. Они все начинались заверениями в глубочайшей и почтительнейшей любви, которые постепенно сменялись плачем и грустными сожалениями о том, что этот замечательный скрипач погибает в грязной луже разврата, что он проводит ночи в притонах, играя в азартные игры и напиваясь пьяным, с веселыми девушками и парнями. Что он, отпав от святой матери-церкви, не посещает мессы и что, хотя наступило уже время, он ни разу не был на исповеди и ни разу уста его не приняли святой облатки. В этом теле, не посещаемом огнем святого причастия, огонь демонской похоти и мерзостных желаний сжигает не только великую, божественную одаренность музыкальным талантом, но и остатки простых, естественных человеческих чувств.

Неизвестный друг писал:

«Мой лучший друг, любимый мною человек; Никколо, запирается на целые сутки, связавшись с компанией злодеев и карбонариев, имеющих явное намерение отравить колодец светлой истины, действующих заодно с нечистыми франкмасонами и якобинцами, пришедшими с севера».

Письма все, как одно, заканчивались мольбами о божьем милосердии: оно должно снизить на голову страшного грешника. И вот, наконец, последнее письмо. Оно ярко живописует печальную картину окончательного падения Никколо Паганини. Растратив себя в разврате, этот скрипач не может держать скрипку в руках. Его руки дрожат, дрожит смычок, и, силясь передать смычком нездоровое напряжение своих душевных сил, этот несчастный скрипач перепиливает смычком струну за струной.

«Дражайшая и благочестивая синьора, горькими слезами плакала вся консерватория; даже синьор Паер, наш уважаемый директор, не мог не прослезиться при виде того, как варварским движением смычка ваш сын стремится извлечь глухие и сильные звуки из запущенной, залитой вином, отсыревшей в подвалах и погребках скрипки. Синьор директор, уезжая в город Венецию, единственное

место, куда не проник пока нечестивый бонапартистский агонизм, заявил на прощальном консерваторском ужине педагогам, семинаристам и студентам, что он, возглавлявший большие надежды на господина Никколо Паганини, теперь окончательно в нем разочаровался и должен предать его своему учительскому проклятию».

Паганини не мог опомниться. Он перелистывал, перечитывал письма, вглядывался в отдельные строчки. Он вспоминал, как, играя по двенадцати часов подряд, он намыливал смычок, чтобы, водя по струнам своей, обреченной на эту черную работу, второй скрипки, не извлекая никаких звуков, преодолевать трудности, казавшиеся непреодолимыми. Этот намыленный смычок давал ему напряжение, которого требовали упражнения, заданные ему Паером. От этой игры у него затекали ноги, деревенели локти и плечи.

Он хотел рассказать это отцу, открыл дверь, но встретил окрик:

— Молчи, ничто не может тебя оправдать! Где деньги, которые ты заработал на своих пятидесяти концертах? Где успехи, которыми ты должен был похвалиться после полугодового предания отцовского хлеба в Парме? Разве я думал, производя тебя на свет, что в моей семье, благочестивой, испытанной и верной, родится безбожник, развратник, карбонарий, ниспровергатель законной власти, установленной господом богом и наместником Христа в Риме! Ты бесчестный, презренный негодяй, тебе судьба послала такого друга, который, заботясь о тебе, оберегал твою подлую душу каждую минуту... и все оказалось напрасным! Даже имея такого друга и попечителя, ты остался грязным животным!

Старик захлопнул дверь. Никколо едва успел откинуть голову назад. И все-таки он снова стал объяснять матери и условия своей жизни в Парме, и напряженность своей работы в консерватории. Но каждый раз, как только он заговаривал о том, что человек, написавший эти письма, клеветник и негодяй, который намеренно прикрывается дружелюбным тоном, чтобы вкрасься к ней в доверие, она качала головой и говорила:

— Я вполне понимаю твою досаду. Всякий человек, который говорит о тебе правду, кажется тебе негодяем.

Они проговорили всю ночь. Настало утро. Никколо в возбуждении ходил по комнате. Синьора Тереза не отрываясь смотрела на него, словно стремясь перелить всю

силу, весь огонь материнской любви и нежности в недостойного сына.

Тяжелый храп за дверью прервался. Синьор Антонио проснулся. Мать мгновенно погасила свечу и открыла шторы. Ясное, хорошее генуэзское утро смотрело в окна.

В дверь постучали.

— Здесь живет скрипач Никколо Паганини?

— Я, синьор.

— Однако вы недаром сидели под крылышком у такого орла, как синьор Паер!

В комнату вошел незнакомый Никколо старик. Внезапно выглянула брита физиономия синьора Антонио.

— Садитесь, синьор, садитесь,— угодливо пригласил он и снова скрылся за дверью.

Пришелец оказался антрепренером большого генуэзского театра. Он пришел с предложением выступить на вечере в доме синьора Браски, а потом дать в Генуе большой скрипичный концерт. Когда синьор Антонио, приодевшись, вышел к гостю, Никколо намеренно громко произнес:

— Так, значит, синьор Фернандо Паер писал вам обо мне?

— Еще бы! — ответил импрессарио. — Он писал два раза. Он считает вас лучшим своим учеником.

— Как, как? — переспрашивал синьор Антонио.

Никколо торжествовал.

Глава двенадцатая ЛЬВИНАЯ ЛАПА ПЕРЕВЕРНУЛА СТРАНИЦУ

Первые прокламации Бонапарта в Италии устанавливали равенство сословий, объединение людей, говорящих на одном и том же языке, свободу от австрийского гнета, свободу от жандармского и помещичьего произвола. Итальянская молодежь трепетным восторгом ответила на эти слова, и под штандарты наполеоновских легионов шли десятки тысяч молодых итальянских граждан.

Год за годом уносила из Италии молодые жизни воля Бонапарта, и не сразу эта воля стала понятна тем, кто отдавал ей эти жизни.

Вначале появились французские пушки, потом офицеры и солдаты, потом купцы с обозами товаров, потом аудиторы государственного совета, комиссар и интендант, налажавшие неслыханные контрибуции и обворовывавшие

дворцы искусств. Во Францию увозили драгоценнейшие картины, рукописи и книги, обогатившие Париж.

Это еще можно было стерпеть, но невозможно было примириться с тем, что, сперва разорив Италию, ее предавали потом в руки прежних поработителей.

К числу тех, кто больше всего был возмущен Бонапартом, принадлежали представители итальянского карбонаризма. В ломбардо-венетской организации первенствующую роль играл Уго Фосколо. Это был огромный рыжеволосый человек с львиной головой, автор звучных и прекрасных итальянских стихов. Венецианец, офицер бонапартовской армии, страстный почитатель французской революции, он кинулся очертя голову за французским полководцем. Вместе с Бонапартом он пошел на родной город, всей душой сочувствуя стремлениям Наполеона «разбудить старинную доблесть венецианцев». Но, увидя Венецию преданной и проданной, он возненавидел своего кумира.

На площади, около высокой колокольни, с которой видно чуть ли не оба берега Адриатического моря, высится розовая колонна, и на ней причудливый скульптор поставил на плоском помосте символ покровителя Венецианской республики, евангелиста Марка. На этой высокой колонне крылатый лев мохнатой лапой с когтями придерживает страницу бронзовой книги.

Бонапарт в Модене 18 апреля 1797 года заявил:

«Дряхлый лев святого Марка не может ожидать пощады от моих революционных солдат. Пусть я буду Атилой для Венеции, но я всюду уничтожу гнусность инквизиции! Я не хочу ваших сенаторских тайн, и если я дал свободу друзьям народа, то сумею разбить те цепи, которые венецианский сенат сковал для своего народа и сейчас тайно выковывает в союзе с другими правительствами для народа Франции».

12 мая Большой совет Венеции собрался в последний раз, чтобы обсудить предложение о сдаче столицы. На берегу вдалеке разъезжали французские кавалеристы. Маленький генерал с бронзовым лицом и длинными волосами, в треуголке, готовился форсировать переправу. Сенаторы воздержались от голосования, разошлись молча. Дождь старинной Венеции вернулся домой, вошел в свои покои, снял шапочку дождя и, вручая ее своему лакею, сказал: «Убери, она мне больше не понадобится».

Четыре дня спустя французы вошли в Венецию. Разбивая старые плиты на островах и на самой площади,

венцианские кузнецы, портные, парикмахеры и рыбаки сажали тонкие деревца миндаля и лимона. Это были деревья свободы. Перед одним из таких деревьев сожгли золотую книгу венецианской знати и шапочку дожа, а на бронзовой книге, на которую опиралась лапа льва святого Марка, на месте надписи: «Мир тебе, Марк, мой благовестник», отчеканили новые слова, начинавшие собой «Декларацию прав человека и гражданина». Прекрасный, полновзвучный первый параграф «Декларации прав» высказывал лучшие чаяния многих столетий, от него веяло воздухом фернейских гор и садами Монморанси и Эрменонвиля. Мудрость Вольтера и Руссо создала эту замечательную первую страницу новой истории Франции.

Опьяненный мечтами о человеческом счастье и свободе Венецианской республики, карбонарий Уго Фосколо воскликнул: «Наконец лев перевернул страницу бронзовой книги!»

Прошло немного времени, и Фосколо понял огромную ложь Бонапарта. Страница оказалась перевернутой не вперед, а назад. 18 января 1798 года Наполеон продал венецианскую свободу австрийцам. Белые мундиры австрийцев появились на площади святого Марка. Канаты подтянули литейщиков и слесарей на колонну святого Марка, и снова старая церковная надпись водворилась на бронзовой книге, под лапами евангельского крылатого льва.

Фосколо бежал в Парму. Вскоре в печати появились его орационы, дерзкое собрание прокламаций и речей против Бонапарта. Фосколо поднял против него всю карбонарскую Италию.

Фердинанд Паер, приехавший в Венецию, так и не смог выехать оттуда в течение всех этих бурных месяцев. А его друг Уго Фосколо начал скитальческую жизнь и все свои дни посвятил борьбе с Бонапартом.

Встречая утреннюю зарю звуками скрипки, Никколо только поздно вечером клал смычок.

Отец с настойчивой грубостью требовал денег. С той же просьбой обращалась мать, когда муж Лукреции проигрывал в карты слишком много.

Чтобы откупиться, Паганини с вечера отдавал все деньги, какие у него были, отцу и матери. Утром он запирался в комнате, которую вытребовал для себя, и не выпускал никого. Но чем больше он получал денег от конфертов, тем быстрее таяли эти деньги в руках семьи.

Первое время он воздерживался и не ссорился ни с кем из домашних; не потому, что нрав его был кротким и спокойным, а потому, что никогда прежде он не испытывал такого увлечения работой, никогда не был так поглощен страстным исканием новых путей скрипичной техники. То, о чем раньше он только догадывался, то, что раньше смутно намечал как возможное, теперь он брал как достижимое, с жадностью и порывистостью, неизвестными ему до сих пор. Он приблизился к тому состоянию упоительной дерзости поисков, той внутренней дрожи, которая всегда предвещает для ученого, для художника, для артиста момент зарождения нового открытия. В дни, когда новое столетие стучалось властно в двери старинной Европы, Паганини ощущал на себе освежающее веяние бурных ветров и весь отдавался поискам нового музыкального мира.

Он чувствовал, что ему может открыться мир неслыханный и невиданный. Он с жадностью рылся в книжных магазинах, он перечитывал горы старых и новых книг. Он тщательно изучал скрипичное мастерство и законы звука. Вместе с тем он почти судорожно схватывал суть старинной итальянской музыки, она перед ним оживляла эллигические пьесы Корелли, эпiku Вивальди, сладкую лирику Пуньяни и Виотти и, наконец, чарующую фантастическую музыку авантюриста и монаха, скитальца и безумца Тартини. Все это оживало под его смычком, приобретало новый смысл и значение, словно доказывало, что неумирающее большое искусство для каждого поколения несет новые, только этого поколения достойные откровения.

Когда однажды, слишком туго натянув струну, Паганини оборвал ее, он в рассеянной поспешности натянул альтовые и виолончельные струны. Заметив ошибку, он, вместо того, чтобы ее исправить, вдруг улыбнулся той таинственной и загадочной улыбкой, которая бывает у безумцев, у алхимиков, у ученых, открывающих после долгих поисков новое сочетание свойств в старых, давно известных веществах. Паганини решил испытать новые струны, и скрипка заиграла неизмеримо разнообразней и богаче.

С этого дня испытания скрипки продолжались без конца.

И, однако, пришлось такие усиленные занятия внезапно приостановить.

Отец и мать стали жить слишком широко в надежде на заработки сына.

Готовить большие концерты! Не к этому стремился Паганини. Оплачивать проигрыши шурина и биржевые спекуляции отца деньгами, получаемыми за выступления, вдруг показалось молодому скрипачу до того унижительным и опасным, что он стал выискивать повод к разрыву. Повод нашелся.

Прошли слухи, что город Лукка готовился к праздничной встрече нового столетия. Празднества начнутся в день святого Мартина и продлятся до 1 января.

Вот прекрасный предлог! С этого дня начались разговоры о Лукке в семье Паганини. Как бы нечаянно друзья сообщали, что в Лукку съедутся музыканты всего мира, что будет ярмарка, откроются громадные торги и что в это время Никколо может много заработать концертами именно в Лукке.

Ввиду того, что Никколо настойчиво твердил только о своей поездке, отец боязливо прислушивался к этим разговорам.

— Вы будете мною довольны,— говорил сын отцу.

Отец вставал из-за стола, ронял тарелки на пол и бокалы с вином.

Но сын был упорен, и для старика каждый следующий день не приносил ничего нового. Ноябрь быстро приближался. День святого Мартина стал сниться Никколо. Скрипач решил пойти на сделку со старшим братом. План удался блестяще. При условии передачи всех денег старшему брату, который должен был выступать в качестве импрессарио, отец согласился отпустить Никколо в город Лукку на праздник нового века.

Глава тринадцатая

CARMEN SAECULARE

Белесоватая каменная дорога была сплошь покрыта экипажами и пешеходами. Ломбардские паломники, празднующиеся туристы, любители развлечений и многочисленные представители разных ярмарочных профессий, законных и незаконных, кто пешком, кто на осле, кто в многоместном экипаже, направлялись по пути в Лукку.

Если для одних это была ярмарка в день святого Мартина, а для других — празднование наступления нового века, то для Паганини к этим двух праздникам присоеди-

нялся праздник собственной свободы, праздник полного освобождения от ига отца. Голова кружилась, билось сердце, и если ничего не было сказано отцу, то самому себе была дана клятва во что бы то ни стало не возвращаться домой никогда. Побег был решен, окончательный разрыв с семьей внутренне осознан.

С одной стороны, тут были минуты тревоги неокрепшего отроческого сознания юного человека, горящего любопытством к жизни, с другой, — было стремление большого, вполне созревшего артиста к освобождению от той коммерческой сделки с искусством, на которую влекла его своекорыстная воля отца. Все сильнее и сильнее чувствовал Паганини невозможность под родным кровом расширять свой музыкальный кругозор. И если прежде маленький Паганини страдал от побоев, от непосильной работы, то теперь это сменялось еще более острым страданием, так как оскорбляли его отношение к музыке, его чувство артиста.

Ему давно не хватало воздуха, и не будь этого путешествия в Лукку, он бежал бы юнгой на корабле, он сделался бы поваренком в английском ресторане, он на что угодно променял бы семейные будни. В минуты конфликта с самим собой, с отцом, в минуты колебаний в выборе жизненного пути Паганини чаще всего бросал скрипку и занимался гитарой. В игре на этом инструменте он достиг высокого мастерства. Это было новое чудо виртуозной техники. Но если в скрипке он облагораживал технику и заставлял ее служить себе так, чтобы она давала возможность раскрыть всю полноту переживаний большого артиста, то гитара выполняла иное назначение: здесь он выливал новое для себя озлобление. Поэтому какой-нибудь банальный танец, сыгранный на гитаре, превращался в сатирическую пародию, намеренно вульгаризованную пальцами Паганини. И чем меньше люди понимали пародийный стиль молодого гитариста, тем больше взрадовал Паганини. Гитара все чаще и чаще становилась для него средством издевательства над своим душевным состоянием, из которого он не находил выхода, — издевательства над людьми, которым он мстил за охватывавшее его временами недоверие к своему духовному подвигу.

Скрипка и маленький дорожный мешок. Ветер, солнце и ниль. Что может быть лучше ощущения полной свободы, когда вся жизнь впереди!

Праздники итальянских городов — едва ли не самое очаровательное зрелище в мире. Все население принимает в них участие. По воскресеньям итальянские улицы объединяются в общее веселье. Устраиваются процессии, толпы идут с оркестром, нечаянно и внезапно образовавшимся из группы соседей, владеющих разными инструментами. Идут мужчины, женщины, дети, украшенные лентами и цветами, иные — с благопристойным пением, иные — с хлопушками, с фейерверками. Крики звучат тем громче, чем южнее город. В Неаполе сотни хлопушек надевают на огромную металлическую раму, и усталый путник, приехавший в этот день и заснувший в гостинице, бывает разбужен громом и стрельбой и вскакивает, с недоумением открывая жалюзи, думая, что в городе восстание и канонада свергает представителей старой власти. В Венеции — серенады, на каналах лодки с цветными фонариками, певцы и певицы, танцы на берегу и прогулки в море. Все это всегда сопровождается неперменной спутницей итальянской радости — музыкой.

Директор луккской капеллы был предупрежден письмом Паера, и Лукка приняла Паганини хорошо. Первое выступление было приурочено к ночной праздничной процессии, вечером второго дня он снова давал концерт. Это был полный успех молодого скрипача. После концерта был устроен вечер в магистрате, и столько было выпито вина с неожиданными и незнакомыми друзьями, что Паганини не помнил, как попал в гостиницу. Это была не та гостиница, где он остановился, но такая мелочь не смутила музыканта: все равно.

Вечером — новый концерт. Первый раз Паганини не готовился к концерту. Он вышел на эстраду с непонятным чувством победной уверенности, и это чувство было похоже на огонь, пробегающий по жилам новобранца, вдруг, после первых колебаний, бросившегося в атаку.

Под обстрелом сотен глаз Паганини поднял смычок. Мелодии ушедшего столетия, мелодии Люлли и Рамо, чарующие такты менуэтов и гавота сменялись звуками охотничьего рога. Торжественное звучание церковных колоколов, похоронные песни и голоса гневных псалмов постепенно уступали место вторгающимся нечаянно стеклянным перезвонам колокольчиков. Раздавалась музыка того странного десятилетия, когда в церковные хоралы вливались звуки веселых и непристойных танцев. Колокольный звон благословения переходил в набат, набат сменялся простыми солдатскими и крестьянскими песнями Франции.

Снять «Dies irae»¹, и, как из пропасти, раздаются глухие удары, топот конницы и вой бури врзаются в зал, наполненный праздничной, нарядной толпой. Все ускоряя темп аккордов, Паганини рисует звуками, музыкальными вихрем колоссальную картину событий, потрясающих Европу. В финальных тактах раздаются звуки итальянской «Карманьолы» и «Марсельезы». Это была поступь нового столетия. Это была «Юбилейная песня».

Когда прошла неделя святого Мартина, миновали праздники, были выметены затоптанные букеты, конфетин, серпантин и обрывки лент, за опьянением первой недели свободы наступило отрезвление. Возникло стремление осмыслить пройденный путь. Но это стремление не увенчалось успехом. Строй, лад, ритм в музыке и в жизни — все казалось подчиненным какому-то целесообразному большому закону, управляющему всеми явлениями в мире. Паганини подходил к этому наивно, с бережливостью неопита и застенчивостью неопытного мыслителя. Он совершенно отчетливо ощущал, почти осязал значение самого себя как существа, воплощающего музыку. Паганини чувствовал себя современником нового века.

Он воспринимал всю церковную музыку как нечто враждебное тем звукам, форма которых звучала для него в «Карманьоле» и «Марсельезе». Огонь новой эпохи, пожары восстаний, их уничтожающее пламя, вихрем набегавшее на образы старого мира, — все это враждовало со спокойными церковными напевами, с гимнами католической церкви, с тем музыкальным предписанием смирения и покорности, которое было похоже на укрощение человеческого зверинца мелодиями Орфея.

Паганини любил сыпать в стакан горячей воды полные ложки соли. Он смотрел затем, как маленький сухой кристаллик, брошенный в этот перенасыщенный раствор, мгновенно вызывает бурную кристаллизацию в тяжелой, немевшей самостоятельной формы, массе.

Паганини усматривал в этом процессе, преобразующем мертвое вещество, те же самые явления, какие он наблюдал в концертном зале, когда раздробленные, бесформенные части человеческого сознания и воли вдруг кристаллизуются и приобретают необыкновенную стройность под влиянием музыки. Он улавливал раздражение, вызываемое результатом дерзкого сочетания необычных аккордов и звуков, когда человек старается освободиться

¹ «День гнева» (лат.) — церковное песнопение.

от внезапно налетающих чувств и не может, потому что дерзновенное сочетание звуков и чувств облечено в такую гармоническую форму, которая неотступно преследует человеческое сознание. И тот, кто услышал это сочетание звуков, оказывается им поработанным, хотя знает о запретности этого сочетания.

Засыпая после концертов, Паганини просыпался внезапно как бы в бреду или в лихорадке. Ему казалось, что музыка должна перестроить весь мир вещей и строй человеческих отношений. Но какая это должна быть музыка? В поисках этой музыки он чувствовал себя все более и более утомленным, а впечатления Лукки усиливали это утомление.

Паганини устремился к другой игре. Зеленые столы, куски мела, таблички из слоновой кости, свинцовый карандаш, лопаточка крупье и горсти червонцев — все это заставило бросить скрипку надолго. Все это изменило дни и ночи, часы и минуты, мысли и чувства Паганини.

Под утро, с распухшими веками, с пожелтевшим лицом, с большими синими кругами под глазами, юноша выходил из игорного дома. Усталый, заспанный лакей подавал ему шляпу и трость. Сырой туман встречал его на пустынных улицах Лукки. Торговец овощами презрительно глядел в его сторону, девушки ночной профессии окликали его насмешливыми голосами и предлагали пройти с ними целую школу удовольствий. Паганини был утомлен и проигрышем, и усиленным прохождением курса этой школы. У него появилось то отвращение к жизни, которое раньше было незнакомо мальчику, изнуренному только тяжелой работой, только той растратой сил, в которой он сам не был виновен.

Как это все случилось, Паганини не помнил. Он поклялся, что никогда этого не забудет и никогда это не повторится. Он лежал в ливорнском госпитале. Давно ли он был в Ливорно? Как он попал в Ливорно?

Его окружают люди в больничных халатах, доктор в красной шапочке, с молоточком и со стетоскопом в руках. Паганини слышит: «...был бред».

«Быть может, все это — только страшный сон, — думает он. — Лучше никому не говорить об этом».

Что он вспомнил? Крик женщины и зарезанного ребенка!.. Идиотическую болтовню пьяных людей у костра. Темный овраг, огромные деревья где-то очень высоко. Он словно на дне колодца. Люди за кустами у костра. Страшные лица, гримасы пьяного хохота. И вот человек с огром-

ной бородой, с синим носом, с воспаленными веками держит в руках его скрипку и словно перепиливает ее смычком. Отвратительные, чудовищные, жалкие звуки. Потом опять бессознательное состояние.

— ...Да, вспомнил! — вдруг громко произнес Паганини. Он скинул одеяло и сел на постели.

Последний концерт он давал в Ливорно.

И, как бы отвечая ему в тон, доктор сказал:

— Да, я был на вашем концерте. А после концерта, на следующий день, вас нашли неподалеку от южных ливорнских ворот. Вас ограбили начисто, очевидно: у вас не было даже вашей скрипки. Вы метались в сильном жару, а теперь, чтобы выздороветь, вам необходим полный покой.

— Сколько времени я здесь, в Ливорно? — тревожно спросил Паганини.

— Не могу вам сказать. На моем попечении вы три дня. За это время дважды к вам приходил господин Ливрон.

— Не знаю его, — сказал Паганини.

— Вот как! Это весьма уважаемый гражданин нашего города, член нашего магистрата.

— Зачем я ему нужен?

— Очевидно, вы будете иметь возможность узнать это от него лично, — заметил доктор, недоверчиво глядя на Паганини.

К вечеру действительно пришел высокий, весьма благообразный человек и попросил разрешения говорить с синьором Паганини. Осторожно, в очень деликатной форме, Ливрон просил синьора Паганини «оказать ему высокую честь», испытать достоинства скрипки Гварнери, принадлежащей ему, Ливрону. Паганини не знал, что ответить, но быстро нашелся, поблагодарил Ливрона и сказал, что надеется испытать эту скрипку в первом концерте, который даст по выздоровлении.

Познакомившись ближе с господином Ливроном, Паганини переехал к нему. Член ливорнского магистрата оказался весьма гостеприимным хозяином. Он предоставил в полное распоряжение музыканта комнаты, настолько спокойные и удобные для работы, и сам так мало номинал гостю о своем существовании, что Паганини чувствовал огромную благодарность к этому человеку. Но все эти дни были наполнены для Паганини тревогой, оравлены непонятной встречей с той страшной половиной жизни, которая существует бок о бок с обычными,

светлыми и ясными днями человеческого сознания. Теперь во время игры Паганини чувствовал необходимость сорвать голубую пелену с черного, нависающего над миром неба. Он говорил себе, что кошмар за воротами города раскрыл для него незнакомый ему доселе ужас.

Это чувство прорывалось у него потоком демонических, разорванных, уничтожающих друг друга мелодий. Он видел, как дрожь пробегает по рядам концертной залы, когда эти ноющие, меланхолические и страшные звуки врываются в кантилену. Он видел страдание на человеческих лицах, он чувствовал мольбу о прекращении этих страданий. Он наблюдал то неосознанное чувство само-сохранения, которое вдруг заставляет человека мгновенно накинуть покрывало на тайну смерти, тайну несчастья, тайну уничтожения и страдания. И Паганини чувствовал себя на огромной высоте, когда ему удавалось касаться этого покрова лишь настолько, чтобы придать ему, этому покрову, этому миру благополучия, спасительное значение реальности, гораздо большей, чем реальность человеческих мук и страданий. Жизнь торжествовала над этим случайно приоткрытым, страшным и близким миром.

Скрипка Гварнери была настолько звучным, настолько послушным инструментом, что она вполне заменяла ему прежнюю. Он помнил эту скрипку по литографии, виденной у графа Козно. Она значилась под номером триста и называлась «Гварнери дель Джезу».

После концерта Паганини, рассыпаясь в похвалах этому инструменту, бережно вручил его Ливрону, пришедшему за кулисы. Ливрон покачал головой.

— Не осмелюсь прикоснуться к инструменту, на котором играл божественный Паганини, — произнес он, очевидно, давно приготовленную фразу.

Мечта Паганини осуществилась — «Дель Джезу» принадлежала ему.

Широкая, с эфами, слегка выщербленными временем, с потеками полустертого лака, с квадратным надрезом на верхней деке над левым эфом, эта скрипка носила следы принадлежности многим владельцам. Но ее звуки поражали Паганини.

— Это звуки самой природы, это живые голоса! — восторгался он.

На третий день после первого концерта Паганини сделал опыт. Он натянул на эту скрипку виолончельные струны и дал заказ мастерской Рокеджани из двух смычков Турта сделать смычок необыкновенной длины.

— Козно, — говорил Паганини, — с ужасом относится к надвигающемуся времени, а я его приветствую. Я с ужасом отношусь к тому прошлому, которое вторгается в нынешний день, но я прав, натягивая новые струны на старинную скрипку и незаконно удлиняя смычок великого мастера Турта. Во Франции новые люди открывают новые законы устройства человеческого общества. Кто запретит человеку открывать новые свойства в мире звуков? Вот виолончельные струны на скрипке открывают бесчисленные возможности и увеличивают диапазон, а удлинение смычка — такая простая вещь — наилучшее средство дать звук необходимой протяженности.

Как-то случилось, что никто не заметил внешних перемен в инструменте синьора Паганини. Четыре концерта прошли блестяще. Это был успех, какого Паганини не мог ожидать, фанатическое ликование огромной массы людей.

И, однако, Паганини ждал беды. Самый успех концертов был преодолением того сопротивления, той враждебной настроенности, которые все чаще ощущались музыкантом. Огромное количество сплетен ходило по городу. Они доползали до слуха Паганини.

«Паганини проиграл скрипку в карты и потому не дает концерта. Паганини заразился дурной болезнью, потому он лежит в госпитале». Толстый каноник соборной церкви говорил кушам, собравшимся на крещение новорожденного в семье ливорнского портового маклера:

— Я знаю этого скрипача. Это дьявольская скрипка, это проклятые богом звуки, это нечистая музыка, которую не должны слушать верные сыны церкви.

На седьмой концерт съехались музыканты со всех концов Северной Италии. Одни слушали Паганини с ненавистью и завистью, другие — с религиозным благоговением и энтузиазмом. Сливаясь, их голоса возглашали ему неслыханную славу.

В это время Паганини впервые пришлось узнать, что такое анонимные письма.

Ему прислали по почте пасквиль, в котором называли его исчадием дьявола, грозили ему вечными муками, издевались над ним, говоря, что он натянул воловьих жилы на скрипку, украденную у купца Ливрона, и что стыдно итальянскому скрипачу в почтенном концертном зале честного города шарлатанить и издеваться над публикой, играя смычком, равным по длине мосту через реку Арно.

В одном анонимном письме автор усердно расхваливал свой рогатый скот как наиболее жилистый и предлагал

Паганини купить целое стадо волов для изготовления струн. Письмо кончалось выражением уверенности, что самая большая, самая рогатая скотина есть сам скрипач Паганини.

Другое письмо, по-видимому, согласованное с первым, предлагало самые высокие деревья ливорнского парка для изготовления смычка. К письму был приложен рисунок, изображавший артель Паганини: Паганини руками и ногами давит на струны, в то время как десять здоровенных молодцов на каждом конце смычка тянут этот необычной длины инструмент, как пилу на лесопилке.

Первые шипки и укусы не произвели на Паганини никакого впечатления.

— Я становлюсь знаменит, — говорит он Ливрону, — а если так, то по пятам за мной будут бегать собаки и кусать за пятки.

Ливрон, которому Паганини показал эти письма, качал головой с выражением досады и недоумения.

Венеция была отдана Австрии, а в 1798 году римский папа внезапно оказался лишенным светской власти. Из старой Романы была выкроена Римская республика. 15 декабря 1798 года Рим был занят французами. Не выходя против Франции открыто, римская церковь, в лице сотен тысяч попов, начала свою деятельность тайно и придала ей характер широкого народного движения. Как только попы увидели, что французская армия намеревается посягнуть на благосостояние церкви, так по всем церквям статуи и изображения святых, богородицы и Христа стали источать слезы. В Риме Христос, полагаемый в плащаницу, за ночь раскрыл глаза и смотрел широкими зрачками на бесчинства французской армии. По городу двигались процессии босых людей, намеренно одетых в рубища. Как искры, пробегали в толпе слухи о том, что какая-то статуя дважды открывала глаза и гневно исказила свой лик. На площади Поларола икона мадонны делье Сапонаро стала «источать молоко». Этим молоком налили двести лампад, которые «зажглись сами собой». Священники в облачениях, орарях и ризах за недорогую плату окунали четки, приносимые простонародьем, в эту маслянистую беловатую жидкость.

Однако находилась молодежь, которая шла во французскую национальную гвардию, и в день празднования федерации было немало людей, нарядившихся в античные

костюмы и с венками на головах прошедших в республиканской процессии, чтобы потом на площади святого Петра принять участие в большом торжественном обеде, где римское население браталось с французской гвардией. Были пущены слухи о том, что этот «праздник привлек тысячи демонов, которые отомстят нечестивому Риму за участие в празднике федерации».

И вот, когда римской курии казалось, что новое столетие принесет для римской церкви неисчислимые беды, все изменилось.

Бонапарт чувствовал необходимость замирения с римским папой. Но в это время умер Пий VI. Рим был занят, но заключать какое бы то ни было соглашение было не с кем. Тайком, в чужих одеждах, пробравшись по северным дорогам, кардиналы римской апостольской курии собрались в Санто-Джорджо близ Венеции, под крылом австрийских жандармов, и тринадцатого числа третьего месяца нового столетия собрали тайный конклав и приступили к избранию нового папы. Так возник Пий VII, первоначально в роли активного врага Франции.

Однако Пий VII решил на все для того, чтобы удержать могущество римской церкви. Потеря Франции очень чувствительно пошатнула доходы римской церкви. Он признал отчуждение духовных имений. Это стоило ему четырехсот миллионов франков. Он согласился на новую организацию французского духовенства, с тем, чтобы правительство имело право назначать на должности и платить жалованье; он выговорил себе только одну уступку — римскому папе по-прежнему предоставлялось право канонического утверждения.

Расчет был верен: личный состав католической армии папы решал огромное большинство вопросов. Римская церковь могла торжествовать победу в том отношении, что во Франции она считалась церковью государственной. И в 1802 году, без всякого торжества, ночью, выехал в Париж римский кардинал, который вез с собой подписанный папой Пием VII конкордат, соглашение между французским республиканским генералом и римским первосвященником, в силу которого воспитание огромной массы французского населения снова отдавалось в руки католической церкви, а католическая церковь из врага, изрыгающего проклятия на голову французского командования, превращалась в друга и союзника.

Так, начав с прокламаций, объявляющих отмену религии, равенство и братство во всей Италии, Наполеон

кончил отдачей Франции в руки католической церкви. Оба невольных друга, Пий VII и генерал Бонапарт, чувствовали себя несколько неловко.

Слушая унылый звон *Nôtre-Dame de Paris*¹, соратники Бонапарта спрашивали, стоило ли вешать столько попов на парижских фонарях для того, чтобы снова пустить этого козла в огород. Бывший революционный генерал, мечтавший теперь о том дне, когда глава католической церкви возложит корону на его голову, ответил насмешливо, что водворение католических попов в Париже и по французским селам и деревням не делает обязательным культ католической церкви для него, Бонапарта, и для его генералов.

Следующим шагом Бонапарта было предложение папе избрать столицей католического мира Париж или Авиньон.

На это папа Пий VII ответил, что в городе Палермо уже заготовлена грамота с отречением от папства, и эта грамота аннулирует все договоры с Францией, если папа Пий VII будет задержан французами по дороге в Рим. В тот же вечер римский папа принял адмирала английской эскадры, который обещал ему всяческое содействие в случае необходимости побега.

Католическая церковь становилась орудием в руках недавних врагов. Англичане хотели использовать вражду римского папы и Франции, ненавидя Бонапарта и стремясь всяческими средствами парализовать все его начинания на территории Апеннинского полуострова. Католическая церковь снова чувствовала себя господствующей властью в Италии.

Ливрон, у которого жил Паганини, был французом, и французские симпатии Паганини сближали гостя с хозяином. Но Паганини сделал неосторожный шаг. Не посоветовавшись с другом, он ответил на приглашение английского консула в Ливорно и провел у него целый вечер. Он играл у английского консула на скрипке, подаренной Ливроном, он воспользовался предложением английского консула и командования английской эскадры и согласился на организацию огромного концерта в Ливорно, написав для него обширную программу. После этого неизбежной была ссора с Ливроном. Ливрон дал понять, что его тяготит присутствие Паганини. Скрипач в тот же день переехал в гостиницу «Черный конь».

¹ Собор Парижской богородицы (франц.).

Наступил день концерта. Огромное количество публики наполнило зал и коридоры ливорнского театра. Почетный караул английских моряков стоял у входа, сдерживая натиск толпы.

Однако, несмотря на огромное скопление публики, нетерпеливо ожидавшей начала, синьор Паганини отсутствовал.

Незадолго до начала концерта Паганини обнаружил, что ботфорты, выставленные за дверь номера, исчезли. На звонок сонетки, на крики никто не отозвался. Пьяные лакей и привратники спали на лавке при входе в гостиницу. В комнатных туфлях пошел Паганини через улицу в магазин обуви и вдруг заметил, что за ним следят. Два человека не спускали с него глаз.

Мальчишки, бегавшие по улице, громко выкрикивали его фамилию. Вокруг Паганини быстро выросла толпа. Его узнали, его разглядывали с удивлением. Смотрели на его мягкие туфли, на штрипки, на чулки. Раздались свистки, в него швырнули камнем. К счастью, Паганини уже добрался до магазина.

Приказчик предложил Паганини примерить ботфорты. Они очень жали. Десять минут осталось до начала концерта. Паганини попросил дать другую пару. Приказчик отрицательно покачал головой. Единственная пара предлагалась синьору Паганини. Это имя приказчик произнес не то с насмешкой, не то с неуклюжим выражением низкопоклонства.

Бросив деньги на прилавок, Паганини, с ботфортами в руках, вышел из магазина. Опять начались пытки преследования. У входа в магазин дожидалась толпа. Зевачи, заглядывающие прямо в глаза, мальчишки, обгоняющие его и дергающие за ботфорты,— все это провожало его до гостиницы.

В концертном зале публика громко выражала свое нетерпение. Никогда Паганини так не опаздывал.

Свист и рукоплескания раздались одновременно, когда Паганини, отпустив веттурино, соскочил с подножки и быстро побежал по лестнице. Вот Паганини ступил на верхнюю площадку и вдруг почувствовал, что в левом сапоге — острый гвоздь. Неужели улыбка приказчика говорила о том, что обувь заготовлена с умыслом?

Чувствуя, как кровь смачивает чулок, Паганини вышел на ярко освещенную эстраду. Подходя к авансцене, Паганини вздрогнул: осколки стекла и гвозди впились ему в ногу.

Он начал концерт.

Первым номером шли вариации на тему «Кармань-олы».

После этого он должен был играть с оркестром. Сидя в актерской комнате, он слушал, как шумит зал. Оркестрантов почему-то не было видно. Но вот мимо прошел высокий человек с барабаном, за ним бледный юноша с фаготом. Оба растерянно озирались по сторонам и, увидя Паганини, подошли к нему:

— Маэстро инсуперато, неужели только мы из всего оркестра?

Кровь ударила в голову Паганини: действительно, коридор и актерская комната и место обычного сбора оркестрантов были пусты. Да, действительно, только фагот и барабан были на месте. А публика волновалась и ждала. Насмешливая лисья мордочка какой-то женщины появилась из-за портьера и исчезла; в коридоре послышалось хихиканье. Паганини громко позвал:

— Импрессарио!

Молчание было ответом. Второй раз, более почтительно окликнул:

— Синьор импрессарио!

Никакого ответа.

Паганини бегал по коридору, из комнаты в комнату. Он слышал, как убегают на цыпочках какие-то люди, кто-то скрывался при его появлении, и всюду встречали его тишина и пустота.

Паганини коснулся ладонями лба. Нет, это не во сне.

За кулисами появился синьор английский консул с супругой и адмиралом Кейсом. Поздоровались. Обменялись короткими замечаниями. Консул вышел из комнаты. Его жена, ударяя веером по ладони, с волнением убеждала Паганини, что необходимо, невзирая на отсутствие оркестра, выступить, лишь изменив программу. Быстро вооружившись карандашом, она попросила Паганини назвать пьесы, которые он мог бы сыграть без оркестра. Поднимая указательный палец, она говорила:

— Я вполне понимаю, в чем тут дело, я вполне понимаю, кто это сделал. Это местные аматеры.

Она произнесла это слово с выраженным легким презрением, не уничтожавшего улыбки, обращенной к Паганини.

И вдруг, отодвинув портьера, вошел человек. Приблизившись смиренной и тяжеловесной походкой, улыбаясь исподлобья, он кивнул скрипачу и протянул ему обе руки.

Это был каноник Нови. Он обнял Паганини, и посыпался целый поток ласковых и милостивых слов.

— Да, у тебя сегодня неудача, но бог милостив. Да как же ты оставил семью! Да, ты знаешь, твой отец болен! Да, ты знаешь, бог наказывает дурных сыновей! Да, ты знаешь, семья в нищете! Да, ты прославленный скрипач, да, мой брат говорил...

— Ну вот, программа готова,— сказала англичанка.— Я буду все время здесь, я буду вам помогать.

— А что... не пришел оркестр? — заговорил Нови.— Да, да, ты обидел, ты обидел многих. Нельзя же! У них свой музыкальный круг в Ливорно. Хорошие скрипачи, ты никого из них не пригласил, вот теперь кайся. Нельзя быть таким бессердечным к своему ближнему. Христос и церковь...

— Подожди! — прервал его Паганини.— Так это — сознательная гадость, так это нарочно подговорили оркестр, чтобы он сорвал концерт?!

Не дослушав Нови, он кивнул головой англичанке и, преодолевая сильную боль в ступнях, выбежал на эстраду.

Зал мгновенно затих. Вслед за этим раздался взрыв рукоплесканий. Это был громкий и грозный ответ публики на демонстрацию оркестрантов. Паганини чувствовал, что он уже победил. Но на первых тактах сонаты Тартини лопнула струна: пока скрипач искал импрессарио, кто-то успел надрезать струны. Тогда Паганини внезапно перешел к вариациям на темы Тартини. Он рискнул на отчаянный прыжок. Лопнула вторая струна! Не дрогнув, не потеряв темпа, Паганини на двух струнах закончил неслыханно трудную, недавно написанную им вещь.

Карета английского консула остановилась около гостиницы «Черный конь» поздно ночью. А на следующее утро явился Гаррис, клерк английского консульства. Патрон предоставил его в полное распоряжение синьора Паганини. Гаррис должен был оказывать всяческое содействие синьору при организации концертов не только в Ливорно, но и повсюду в Италии. Это был остробородый человек маленького роста, изящно одетый, с морщинистым, очень напудренным лицом, с необыкновенной пестротой шевелюры: черные и белые пряди чередовались в странной последовательности, как на боках зебры. Усмешка, относящаяся скорей к внутренним размышлениям самого Гарриса, чем к словам собеседника, понравилась Паганини. Он просил передать благодарность английскому консулу и услуги принял.

Синьор Паганини был приглашен отобедать у консула. В тот же день Паганини посетили восемь ливорнских скрипачей. Они начали со сбивчивых объяснений, уверяли, что они были введены в заблуждение целым рядом писем, в которых «участники ливорнского театрального оркестра обращались к ним за советом». Они говорили быстро и перебивая друг друга, но так и не дали скольконибудь осязательного доказательства своей невинности. Только один из них очень мрачно заявил, что они привыкли уважать традиции старого скрипичного искусства и боялись, как бы такой молодой скрипач, как Паганини, не скомпрометировал игры на скрипке и не испортил вкуса здешней публики.

Паганини почувствовал, что он никогда не будет в состоянии преодолеть глухое и тайное враждебное сопротивление этих своих «ливорнских друзей».

Наконец его вниманию было предложено коллективное заявление оркестра, говорящее о том, что только на условиях вполне определенного — и, как увидел Паганини, совершенно непосильного для него — гонорара ливорнский оркестр соглашается брать на себя устройство следующих концертов. Ему было заявлено, что оркестр в Ливорно обычно насчитывает в своем составе сто двадцать человек, а к следующему выступлению должен быть увеличен на сорок семь единиц. На этом Паганини перебил их и сказал, что он подумает, прежде чем дать согласие, но, во всяком случае, ему самому лучше известно, какой состав оркестра нужен для следующих концертов.

С любезными фразами и приятными улыбками скрипачи откланялись.

Ответного визита Паганини не сделал. Он не вступил с жизнью в сделку. Ньекко, Паер, Гиретти всегда внушали ему преклонение перед высоким авторитетом искусства, свободного от расчетов. Этому помогала молодость.

И вот люди, никогда особенно не интересовавшиеся делами церкви, сделались чрезвычайно благочестивыми.

Паганини ничего об этом не знал. Он не замечал шуршания двуногих крыс в соседних номерах гостиницы «Черный конь», он не чувствовал, что воздух отравлен клеветой и завистью, он не видел, что десятки глаз следят за каждым его шагом из-под портьер, из-за занавесок, сквозь стекла окон.

Гаррис сделал доклад своему патрону о судьбе Паганини. Афиши возвестили о трех концертах подряд.

Но первый концерт не смог состояться из-за того, что

в этот день были объявлены похороны супруги ливорнского префекта.

На следующий день, когда Паганини вместе с Гаррисом подъехал к театру, он застал дверь запертой. Огромная афиша уведомляла публику, что концерты, назначенные на последующие дни, отменяются.

— Кто это сделал? — воскликнул Паганини.

Гаррис пожимал плечами.

Не добившись нигде толку, Паганини вернулся в гостиницу. Через час приехал Гаррис. Его удивлению не было границ. Разводя руками, он вбежал по лестнице и молча вручил Паганини письмо. Письмо было от имени самого Паганини, он заявлял, что по болезни не будет давать концертов и собирается уехать из Ливорно. Письмо было адресовано на имя капелмейстера ливорнского театра, синьора Бальди, и подписано со всей изысканностью обращения самим синьором Никколо Паганини.

— Я теряюсь в догадках, — сказал, наконец, Гаррис, — с кем вы поссорились.

— Не может ли господин консул... — начал было Паганини, но остановился, видя, что Гаррис качает головой.

— Господин консул решил не вмешиваться больше в это, у него сейчас в руках дело о последствиях римской резни.

— Что такое? — спросил Паганини.

— Видите ли, — начал Гаррис издали, — во время пребывания генерала Массена в Риме в прошлом году, когда французы вели себя, как разбойники, были нанесены оскорбления не только папе, у которого французский адъютант сорвал перстень, не только области, с которой были собраны пятнадцать миллионов золотом контрибуции, но французские солдаты и офицеры целыми улицами выселяли жителей, выгоняли женщин в одном белье из квартир, грабили и убивали. Вам известна причина смерти папы Пия Шестого?

Паганини наклонил голову.

— Вы знаете также, что наш славный адмирал Нельсон разбил французский флот, вы знаете также, что кардинал Фабрицио Руффо со своей армией веры сумел заставить население позабыть о жестокости французских солдат, вы знаете, что сейчас действует римская инквизиция. Так вот, вчера в Ливорно прибыли английские граждане, принятые инквизицией за французов, и господину консулу по горло дел. Нам придется подождать несколько дней.

Вскоре Гarris получил возможность вновь обратить внимание консула на дела Паганини. Было рассказано все, вплоть до последней истории с письмом. Гarris подробно описывал состояние Паганини. В комнате беспорядок. Скрипки, и даже драгоценная скрипка Гварнери, остаются в незапертом номере, когда Паганини уходит. Часы, кольца, золотые цепочки — все это остается без всякого надзора. Юноша живет в каком-то лихорадочном возбуждении, исписывает огромные листы нотной бумаги и, по-видимому, не чувствует той обстановки, которая его окружает: он, по-видимому, не видит тех туч, которые собираются над его головой.

Эсквайр Сидней зевнул, выслушав этот рассказ, поднялся, захватил перчатки со стола и, уходя, молча вручил Гarrisу краткое донесение одного из агентов.

Секретный кабинет английского короля интересовался решительно всем, что происходило в итальянских городах, и консулы, помимо прямой обязанности защищать великобританских граждан, выполняли тысячу весьма сложных поручений, результаты которых обсуждались потом за большим столом сен-джемского кабинета. Из отдельных отрывков составлялась полная политическая карта Италии, в которой были особо отмечены «Очаги, зараженные французским якобинством и ядом бонапартовского влияния».

Гarris прочел короткое сообщение о том, что в течение ближайшей недели свечи не будут отпущены ни для одного большого зала в городе Ливорно, если в этих залах будет выступать скрипач Паганини.

Гarris вздрогнул. Видимо, Паганини растревожил какого-то очень серьезного врага.

Проходил день за днем. В гостинице «Черный конь» были исписаны новые тетради нотной бумаги. Возникли три новые пьесы. Это были его первые капричио. За это время пришлось продать часы, цепочки и кольца. Хозяин гостиницы получил по счетам. Некоторая сумма была отправлена через ливорнский банк в город Геную, синьоре Терезе Паганини. Паганини беззаботно рассчитывал на то, что следующие концерты поправят его денежные дела. Но время шло, а синьору Гarrisу все не удавалось добиться чего-нибудь определенного. У Паганини осталось всего тридцать франков.

НА ТРИ ФРАНКА

В тот день, когда обнаружилось, что затронут основной капитал в тридцать франков, Паганини впервые почувствовал, что попал в затруднительное положение. Без концерта в Ливорно он не мог выехать никуда. Мальпост до ближайшего города стоил двадцать семь лир. Не идти же ему с инструментами и нотами, со всем багажом, пешком по горным дорогам. Денег оставалось самое большое на два дня. А дальше — счета в гостинице, счета в ресторане, счета прачки. Чувство страшной неловкости при мысли о разговоре с Гarrisом на эту тему отнимало у него какую бы то ни было возможность обратиться за помощью к консулу. Да к тому же Гarris исчез. Идти к консулу или к Ливрону, самому заговорить о двухстах франках было просто невозможно. Разложив стопками чентезими и сольди, Паганини точно рассчитал, сколько нужно тратить на обед, на кофе, на ужин.

Наконец осталось три франка.

На вершине славы Паганини чувствовал себя глубоко несчастным и завидовал убогим нищим, которые могут просить милостыню. Он, победитель ливорнских музыкантов, не мог попросить пятифранковой монеты без того, чтобы не вызвать улыбки презрения у человека, рукоплескавшего ему в лихорадочном восторге на концерте.

И, как нарочно, в один из тех часов, когда Паганини, раздумывая о своем невеселом положении, шагал из угла в угол по неубранной комнате, явился к нему человек, посланный князем Боргезе. Племянник кардинала желал купить знаменитую скрипку «Дель Джезу».

Юноша горько усмехнулся:

— Скажите князю, что я не торговец скрипками.

— О, что вы, синьор Паганини! — подняв руки, взмолился секретарь. Но потом, хитро улыбаясь, снова повел настойчивую атаку: — Но, синьор, вам будет обеспечена возможность прожить многие годы, не заботясь о заработке.

— Итак, вы думаете, — грубо оборвал его Паганини, — что ваш князь даст мне полмиллиона франков?

— Полмиллиона? — удивленно переспросил тихим голосом секретарь. — Эччеленца дает вам две тысячи франков.

На следующее утро консул, недовольно поморщившись, протянул Гаррису ливорнскую газету. На первой странице траурной каймой была выделена заметка о том, что синьор Паганини продает свою скрипку, но пришедший по объявлению покупатель был поражен его жадностью: очевидно, дела синьора Паганини чрезвычайно плохи.

Не теряя времени, на следующий же день Гаррис, веселый и смеющийся, улыбаясь всеми морщинами своего не по возрасту старческого лица, пригласил Паганини быть его спутником до города Лукки. Паганини, комически разведя руками, возразил:

— Дорогой Гаррис, у меня в Ливорно долги.

— О, не беспокойтесь! — сказал Гаррис. — Только не откажите мне в дружеской просьбе, поедемте в Лукку. А через два дня вернемся обратно.

— Нет, только не обратно! — закричал Паганини. — Что я буду делать в Ливорно?

— Победить, — ответил Гаррис с такой спокойной уверенностью в голосе, что Паганини дружески протянул ему обе руки.

Лукка сразу поправила дела.

Концерты Паганини следовали один за другим через каждые три дня.

Во время одного из этих концертов за кулисы пришли Ньекко и его молодая жена, в которой Паганини сразу узнал девушку, встреченную когда-то у синьора Ньекко. Был праздник «святого креста», и, воспользовавшись праздником, Ньекко и его друг Пазини вместе с оркестром и луккской капеллой устроили Паганини торжественную встречу. Паганини сам говорил, что это было одновременно и экзаменом, и триумфом. Синьор Ньекко выступил перед публикой с небольшой речью, сказав, что Паганини обладает музыкальным секретом, который они, музыканты, вполне одобряют (действительно, музыканты города Лукки вынесли одобрение тем изменениям в скрипке, которые допустил с такой дерзостью синьор Паганини: новые виолончельные струны и длинный смычок — все было одобрено), и пользуется этим своим секретом с виртуозным мастерством подлинного артиста.

Началась как будто спокойная и счастливая жизнь в Лукке. Ежедневные свидания с Ньекко и его подругой обеспечили Паганини то счастливое наполнение времени, которое необходимо артисту в часы, свободные от творческого напряжения.

Ньекко рассказывал Паганини о событиях в Венеции, о встрече с Паером, о том огромном потрясении, которое произошло по всей стране. День за днем вводил его в круг интересов карбонаризма.

Паганини охотно пошел навстречу предложению вступить в североитальянское объединение и сделаться рядовым участником подпольной работы луккской венты.

От Ньекко Паганини узнал, в числе прочих новостей, что Паер написал оперу «Камилла», что он собирается ехать на север с женой, певицей Риккарди, что Ролла пересел в Милан и не нынче-завтра будет дирижером миланского театра «Ла Скала».

Гаррис вернулся в Лукку. Трудно было понять Паганини, что делает его друг, но Гаррис великолепно понимал, что делает Паганини. Ньекко узнал от Гарриса о жизни Паганини в Ливорно, Гаррис сообщил ему о попытках вырвать из рук Паганини драгоценную скрипку Гварнери. Он сообщил и о другом, весьма таинственном предложении, которое не дошло до Паганини и было вовремя перехвачено его другом. В последние дни пребывания Паганини в Ливорно мистер Гаррис имел возможность убедиться, что человек, достаточно могущественный, был заинтересован в том, чтобы синьор Паганини, как можно скорей уехал из Ливорно, и даже из Италии, и даже, как казалось Гаррису, исчез бы из жизни.

— Князь Боргезе, — говорил Гаррис, — первоначально соблазнял синьора Паганини предложением купить скрипку, а следующим планом его было предложить Паганини выгодный ангажемент в Петербург. Там, при дворе русского царя, некий граф Жозеф де Местр устроил бы это дело.

Ньекко хорошо знал, о каком Боргезе идет речь. Этот добродушный князь был страшным врагом французов и французской политики. Ньекко много слышал об этом человеке. Осколки огромного сосуда всевозможных ядов, презнуемого обществом Иисуса, были разбросаны по Италии, и вот одним из очень крупных осколков иезуитского ересиана, упраздненного папой Климентом XIV, был князь Боргезе, полный, кривоногий, веселый и добродушный человек. Ньекко знал этого старика с его обаятельным добродушием, всепрощением, чрезвычайной снисходительностью к человеческим грехам, с пристрастием к употреблению зеленых, лиловых и красных ликеров в немалых количествах, с его проповедью большого снисхождения к человеческим слабостям. Князь Боргезе любил

говорить, обращаясь главным образом к семинаристам, что человек, допускающий культ Вакха и Венеры, всегда доступен раскаянию и божье милосердие всегда может вернуться к нему. Но человек, погрязший в гордыне трезвости, шепетильности и порядочности, является очень опасным для церкви, так как имеет склонность к свободе ума, к вольномыслию и ко всем опасным соблазнам разума. От них все несчастья нынешнего века.

Ньекко знал, что под маской добродушия и смирения князь Боргезе, никогда не носивший никакой культовой одежды, таит в себе опасного иезуита, очень жестокого инквизитора, будучи одной из тех ищек святой апостольской курии, которые везде проникают и все вынюхивают. По внешности спокойный, приветливый толстяк, снисходительный старый греховодник, а по внутренней сущности — достойный представитель того страшного ордена, члены которого назывались доминиканцами, по имени святого Доминика, а писали свое наименование двумя латинскими словами: *Domini canes* — собаки господа. Эти псы господни вынюхивали следы новых сынов итальянской свободы, карбонариев, и те кончали жизнь в подземных колодцах Мантуи, под свинцовой крышей венецианского Дворца дождей, под капелью сырых подвалов венецианских тюрем, расположенных уже гораздо ниже уровня дна лагун и каналов, в круглых котлах, где едва помещался сидя человек, в глухих страшных каменных ямах, которые теперь еще показывают в Замке святого ангела. Вот этот князь Боргезе чрезвычайно интересовался синьором Паганини.

Однажды Паганини, встревоженный, прибежал к синьору Ньекко и сообщил ему, что местный комиссар полиции только что был в гостинице и справлялся о том, когда синьор Паганини намерен выехать в город Геную по требованию своего отца.

— Я только что послал деньги старику, — месяца не прошло с тех пор, как моя семья получила деньги. И вот на эти деньги организованы поиски меня с полицией. Что мне делать?

Ньекко задумался.

— Ты не хочешь возвращаться в Геную?

— Ни за что в жизни!

Паганини показал Ньекко письмо, полученное в луккской полиции в оставленное для него в гостинице.

Синьор Антонио Паганини категорически приказывает сыну выехать немедленно в Геную, вернуться в отчий дом

под угрозой отцовского проклятья и привлечения к суду святой инквизиции.

Надо бежать, — сказал Паганини. — Но куда?

Синьор Ньекко с видом опытного человека сказал:

От полиции надо скрываться туда, где она не станет тебя искать.

К вечеру синьор Паганини был в небольшом горном монастыре. При нем были документы, удостоверяющие, что он является семинаристом, преподавателем латинского языка в городе Турине, и зовут его Джузеппе Пазизелло. Паганини вскоре заметил свою оплошность: ни слова не говоря по-латыни, он каждую минуту рисковал быть раскрытым. Но монашеская братия была сама настолько невежественна, что не обратила ровно никакого внимания на нечесаного семинариста, которому приказано было пожить некоторое время в монастыре для приведения в порядок своей совести, отягченной незначительным прегрешением, связанным с забавами Вакха и Венеры. Плохо было то, что Паганини почти забыл правила покаяния. Но самое худшее случилось с ним утром следующего дня, когда, выйдя в сад и присев на скамейку среди маслин, он заметил, как приоткрылась калитка и показалась косматая голова человека с красными веками и сизым носом. У Паганини застучали зубы и кровь застыла в жилах при воспоминании о тех минутах, когда он видел этого человека впервые. Это был бродяга, игравший на его скрипке где-то в овраге за стенами Ливорно. Этот человек отворил калитку и вошел в монастырский сад. Монастырский привратник махнул ему рукой, и оба скрылись в погребе.

Паганини всю ночь не сомкнул глаз в своей маленькой комнатке, выходящей единственным окошком — вровень с землею — на дорожку монастырского сада. Он ворочался с боку на бок и не спал. К утру молодость взяла, однако, свое. Тяжелый сон внезапно сковал веки Паганини. Проснулся внезапно, обливаясь холодным потом. Зубы у него стучали: по коридору ясно раздались тихие, неуверенные шаги, и вот за дверью стал кто-то.

Задыхаясь, Паганини схватился за ворот рубахи, ему хотелось крикнуть, и в то же время он чувствовал, что его сковывает полное оцепенение. В этом состоянии он проснулся. Это был сон во сне. Яркое солнце заглядывало в келью. Первое, что пришло в голову, — взять скрипку и передать смычком, в звуках, ужас этого сна, но он вспомнил, что нет скрипки, что все имущество осталось у Ньекко, в маленьком домике при выезде из Лукки на юг.

Очевидно, было очень рано, роса еще не сошла с деревьев, и на мягкой траве в саду остались большие ярко-зеленые полосы от шагов Паганини, когда он подошел к садовому колодцу умыться. Между фруктовыми деревьями в конце сада виднелась маленькая низкая калитка, в которую вчера вошел испугавший Паганини человек. Калитка была снова открыта. Неудержимое желание бежать из монастыря внезапно охватило Паганини, и он, рискуя встретиться со сторожем или — еще хуже — с тем страшным человеком, осторожно подошел к калитке. Колебания длились секунду. Ньекко, очевидно, предупредил своих людей за монастырской оградой, и пребывание Паганини в монастыре было вполне безопасным, но все ли знал Ньекко о монастырском привратнике?

Переступив порог, тревожно оглядевшись по сторонам, Паганини с радостью увидел себя на одинокой тропинке, ведущей в горы. Он решил пойти по этой тропинке и потом без дороги свернуть на восток и выйти на большой просторный путь в Лукку. С горы он вскоре увидел белесоватую каменную дорогу. Нагруженные ослики медленно двигались по ней. Почтовая карета, поднимая пыль, скрылась за поворотом, оглашая воздух звуками рога.

Изголодавшийся и усталый, едва волоча ноги, пришел Паганини в Лукку. Никто не обратил на него внимания, так как пыльная одежда, запыленные волосы, покрасневшие веки — все это сделало его до такой степени похожим на бродячего монаха, нищего, ничем не выделяющегося из двухсот тысяч таких же бродяг Северной Италии, что Паганини искренне подивился мастерству синьора Ньекко в маскировке тех, кому нужно было укрыться от полиции.

Паганини постучал в дверь. Отперла старуха. Ворча и ругаясь, она прогнала Паганини от двери. Паганини настойчиво снова попросил вызвать синьора Ньекко и успокоил ее, заявив, что не нуждается в милостыне. Послышались знакомые шаги. Ньекко, улыбаясь каким-то своим мыслям, с удивлением смотрел на нищего. Лицо его сделалось озабоченным, он взял Паганини за руку, провел в коридор. Когда они очутились в маленькой комнате, ответившей, очевидно, для прислуги, он сказал:

— Ну, говори, в чем дело.

Паганини устало опустил на скамейку. Кружка с козьим молоком привлекла его внимание, и, не ответив Ньекко, он с жадностью стал пить.

— Боже мой, случилось что-нибудь?

— Ровно ничего. Где моя скрипка? — спросил Пага-

нини.

— Что-нибудь одно, — ответил Ньекко, — или скрываться серьезно, или ехать в Геную. А впрочем... — тут Ньекко погладил себе ладонью лоб. — У меня есть еще один план. Оставайся у меня. Но только ты должен немедленно переодеться.

Глава пятнадцатая

ТЮЛЬПАНЫ И ГИТАРА

В день, когда полиция предложила Паганини вернуться к отцу, Ньекко не решился передать своему молодому другу письмо, присланное на имя Паганини, с приглашением провести вечер за пределами Лукки. Веселый проницательный ум синьора Франческо подсказал ему, что здесь готовится какая-то не совсем простая любовная интрига. Почерк был известен синьору Франческо. Ньекко счел необходимым ознакомиться с содержанием письма. Вот об этом письме и вспомнил он, как только увидел, что Паганини не выдержал даже одного дня в монастыре.

Ньекко нашел посланного в условленном месте и сообщил, что лошади за его молодым другом могут быть присланы в любой час. Перед наступлением вечерней зари следующего дня пара красивых вороных лошадей подъехала к дому синьора Ньекко. Паганини, расфранченный и смеющийся, махая рукою, прощался со своим другом.

Прекрасные лошади, черный лакированный экипаж. Красивая дорога, вьющаяся по горному склону, потом лес, потом опять склоны гор, и на следующем подъеме — старый, прекрасно расположенный дом. Двое слуг, любезных и предупредительных, канделябры, на столе три прибора. Каково было удивление Паганини, когда вместо почтенного седого владельца замка, которого он ожидал увидеть, появилась черноглазая девушка лет восемнадцати и направилась прямо к тому месту, где сидел он. Через секунду к ней присоединилась женщина лет сорока пяти, отнюдь не похожая на мать или родственницу девушки. Молодая хозяйка приветствовала Паганини с той большой смелостью существа, привыкшего распоряжаться собой, которая отличала в эти годы представительниц знатных итальянских семей, рано предоставленных самим себе и в эти бурные годы оценивших всю прелесть ранней самостоятельности.

Эта черноглазая молодая женщина легкой походкой подошла к Паганини, смело посмотрела на него, не дерзко, но почти насмешливо протянула ему руку для поцелуя.

— Я слышала вас три раза,— сказала она.— Я хотела вас поблагодарить.

Потом, не представив гостю своей спутницы, она предложила им занять места. Был легкий ужин, было веселое, легкое пенящееся вино, была та счастливая легкость в беседе, которую старые итальянцы называли *desinvoltura* — непринужденность, не переходящая границ. Но Паганини чувствовал себя неловко, прятал руки, смущенно улыбался и был взволнован.

Молодая, рано осиротевшая хозяйка, очевидно, вела свободный и открытый образ жизни. Когда убрали со стола, она села на большой, широкий диван, взяла гитару. Она хорошо пела. Голос был мягкий, но небольшой. Она хорошо играла на гитаре, но Паганини почувствовал, что она не обладает ни большим вкусом, ни пониманием музыки.

Самое странное для Паганини во всем этом вечере было то, что эта девушка — или молодая женщина — ни разу не спросила его о нем самом. Она очень много говорила о себе, о своем обширном поместье. Когда она смотрела на Паганини, глаза ее загорались, и яркий, неожиданный вспыхивающий румянец выдавал бесповоротную решимость отдаться охватившему ее чувству. Та легкость, с которой она овладела вниманием взволнованного Паганини, та простота, с которой она, даже не думая об этом, как будто это было вполне естественно, завладела его временем, то обращение, которое возможно было, по мнению Паганини, только после длительного знакомства, — все это вначале вызывало в Паганини большое удивление, но удивление не неприятное, — наоборот, он сам охотно, не без порывистости, шел навстречу желаниям хозяйки. Он делал вид, что ничуть не смущен этой непривычной для него непринужденностью обращения.

Паганини привык к приглашениям на концерты в кругу небольшого количества друзей какой-либо знатной и богатой семьи. Здесь этого не было, здесь не было и намек на приглашение с оплатой, это не было похоже на «наем» знаменитого скрипача богатым человеком на целый вечер. Какова была природа увлечения этой женщины, Паганини не мог разгадать, в то же время эта луккская аристократ-

ка не производила впечатления женщины, ищущей легкой связи.

Спутница молодой красавицы тихо и незаметно исчезла из комнаты. Хозяйка встала, взяла с этажерки коробочку из красного сафьяна и, достав оттуда записку, внимательно прочитала ее и положила обратно. Потом вдруг, обращаясь к Паганини и прерывая начатую беседу, произнесла как бы в забытие:

— Уже поздно. Синьор Ньекко пишет, что вам опасно оставаться в Лукке. Я не спрашивала вас ни о чем, потому что я не любопытна. А потом — к чему вас спрашивать, когда судьба ваша уже решена.

Брови ее сдвинулись, на лице появилось выражение гнева, как будто, произнося эти фразы, женщина хотела побороть свою беспомощность. Паганини смотрел и слушал с удивлением, все больше и больше возраставшим. И выражение лица, и построение фраз — все свидетельствовало о том, что его собеседница не теряет рассудка ни на мгновение, а *спокойствие*, с которым она произносила самые *беспокойные* фразы, и та уверенность, с которой она обращалась к Паганини, были полны для молодого музыканта загадочности, словно они говорили о какой-то странной обреченности этой женщины. На мгновение ему показалось, что все действительно давным-давно решено и что эта женщина — исполнительница какой-то чужой воли, которой она сама не знает. Ему казалось, что это состояние зачарованности, это сомнамбулическое внушение себе какого-то чувства должно прерваться, и он уже боялся этой минуты.

С каждой улыбкой, каждой новой фразой обаяние этой женщины становилось все неотразимее.

— Я думала, что вы поживете у меня три дня, но так как вам нельзя возвращаться в Лукку... — женщина остановилась, причем не было и намек на то, что она ищет продолжение фразы и не находит подходящих слов. Она так и не кончила фразы. Смотря куда-то в сторону, она сказала: — Я больше всего люблю свои сады, свои гряды с тюльпанами. Я считаю, что вы поступите очень благо-разумно, если, полюбив меня, вы полюбите все эти вещи вместе со мною.

Потом, звонким смехом прерывая самое себя и словно пробуждая Паганини от сна, проговорила:

— Как хорошо, что вы забыли вашу скрипку! Вы найдете здесь отдых, вы найдете покой. Но я не хочу вас видеть с вашей скрипкой.

Никто не спрашивал в течение целого года синьору графиню о длинноволосом, загорелом и черноглазом садоводом в коричневом камзоле, черных чулках и черных туфлях, поливающим тюльпаны в замке. По утрам, после кофе с бисквитами, синьор Паганини, огородник и садовник, вооруженный ножницами, пилой или садовым ножом, боролся с засохшими сучьями, с древесными наплывами, с болезнями фруктовых деревьев, с гусеницами, нападающими на тюльпановые листья.

Давно была забыта скрипка, и никто не узнал бы в этом высоком поздоровевшем человеке знаменитого скрипача, в таком раннем возрасте сумевшего свести с ума требовательную толпу североитальянских городов. Паганини засыпал в объятиях своей подруги, играл на гитаре, сочинял небольшие музыкальные пьесы в честь возлюбленной. Он старался забыть свое прошлое, не прикасаться к нему. Первые ли удары жизни были тому виной, или искалеченное детство давало себя знать, но сон, овладевший его душой, становился все крепче. По мере того как укреплялось здоровье Паганини, движения становились медленней и размеренней, дни стали похожими друг на друга.

Четыре раза в год срезал он цветы, дважды в год, осенью и весной, собирал урожай ранних фруктов.

Тем временем поиски Паганини продолжались по всей Ломбардии. После того как Лукка была занята французами, прошел слух, что Паганини уехал в Америку, говорили, что он сделался контрабандистом и возглавляет шайку разбойников в Калабрии. И вот однажды в маленькой итальянской газетке появилось долгожданное сообщение, причем газета заявляла, что убитый горем отец признает справедливость этих сведений. Генуэзские парикмахеры, приказчики, бухгалтеры, счетоводы, клерки и переписчики, продавцы духов, содержатели маленьких притонов, хозяева гостиниц для постояльцев, приходящих с девушками на два часа, обсуждали шумно и весело последнюю новость за столами кофеен, перебивая друг друга, стуча ложками о тарелки.

Заметка сводилась к тому, что на почтовой станции в Ферраре был арестован синьор Никколо Паганини по обвинению в убийстве своей любовницы, что при аресте он оказал сопротивление и разбил свою скрипку, ударив жандарма по каске, после чего посажен благополучно в тюрьму, где ныне и находится. Сострадательный тюремщик дал ему скрипку, Паганини играет целыми дня-

ми. Но так как Паганини играет на скрипке, натянутой струнами из воловьих жил, то он нашел новое применение этим струнам: скрутив их однажды, он захотел поносить, ибо господь бог покинул эту несчастную душу на произвол сатанинской злобы. После этого случая сострадательный тюремщик не дает больше Паганини четырех струн. Он играет на одной дискантовой струне и, оказывается, играет не хуже, чем обычный скрипач на всех четырех.

Газетку привез с собой французский офицер. Он оставил ее тому садоводу, который встретил его при въезде в имение. Хозяйка разрешила господам французским офицерам провести день в замке. Паганини нарезал цветов, молодая женщина принимала гостей как хорошая хозяйка. Паганини чувствовал на себе ее благородный и спокойный взгляд. Она смеялась в ответ на остроумные шутки французского генерала, а молодые офицеры с удивлением следили за выражением лица этой женщины, у которой каждая улыбка была полна безотчетного счастья.

В этот день Паганини читал «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо и, видя этих «крестоносцев свободы», представителей французской гвардии, говоривших так серьезно и не похоже на тех, кого он слышал прежде, думал о самом себе как о крестоносце, заснувшим в павильоне чародейки Армиды, на пути к осажденному Иерусалиму. Но странно, в этот вечер, чокаясь с французскими офицерами и встречаясь глазами со своей подругой, он не чувствовал ни малейшего раскаяния при мысли о своей измене искусству. Так бывает во сне — напряженное и в то же время приятное чувство от сознания, что это сон, очень крепкий сон. И само это сознание говорит о пробуждении.

Паганини в первый раз после побега приехал со своей Армидой в Лукку, празднично разукрашенную в честь французов. Шумный, веселый разговор за столом, насмешки над религией и философская беседа со старым, утомленным французским генералом вдруг показали Паганини, что существует какой-то другой, не итальянский мир, мир свободных умов, веселых характеров, не скованных ни церковью, ни австрийскими жандармами. Простота отношений между офицерами, их веселость, так не похожая на сдержанность старых ханжей, занимающих большие должности в итальянских городах, пленили Паганини. Едкие замечания по поводу истории догматов, насмешки над римским папой, над суровостью итальянских женщин, расска-

зы о поливке огородов святой водой и устройстве водопоев в святых колодцах — все это восхищало Паганини. Рассказы о революционном Париже еще больше разожгли его чувства.

На следующий день Паганини получил в подарок кожаный томик антирелигиозных памфлетов Гольбаха. После отъезда французов он прочитал несколько страниц своей подруге. Разговор об атеизме ночью на общем ложе раздосадовал синьору.

— Наказанье и грехи должны существовать в мире, — сказала она ему, слегка сдвинув брови. — Религия необходима, — шепнула она ему на ухо уже более легким тоном. А потом сверкнула глазами и, пряча лицо у него на плече, добавила: — Ибо если то, что мы с вами делаем, не является грехом, то вся прелесть моей жизни исчезнет.

Паганини рассмеялся, приняв эти слова за шутку. Но тут же увидел, что в словах его подруги не было и тени шутки. Молодая женщина открыто призналась ему, что любит его за ненасытность его жажды и что если бы товарищ ее ночных забав был бы хотя немного красивей, она не чувствовала бы всей упоительной сладости любви.

— Вы уродливы, синьор Никколо, — говорила она, — и это делает вас таким же для меня желанным, какой представляется большая чашка мороженого в жаркий вечер или горячее вино в декабре, после охоты в горах.

Паганини в луккском замке делал открытие за открытием. Церковная музыка стала для него привлекательной. Образы ада, рая и чистилища держали в плену мысли и чувства Паганини. Фриделло, играющий на скрипке, с головой, склоненной набок, с полузакрытыми глазами, образ ангела со скрипкой, такого, каким его изображала фреска тринадцатого столетия в Кремоне, неотступным видением стали преследовать Паганини во сне. Но к этому видению постоянно примешивалась дерзкая мысль, настойчиво толкавшая Паганини к осуществлению властного желания влить магические демонские звуки в разрушающуюся праведность и нетерпимость церковных мелодий, усладив душу двойкого рода соблазнами: соблазнами самого счастья, как недоступного и недозволенного, и саркастической усмешкой освобожденного человека, ниспровергающего власть религии.

Меланхолическая и нежная скрипка Корейли, демонические пассажи Тартини — все это после борьбы примирилось странным примирением в душе Паганини. Это было примирение где-то на высотах искусства. Это было запол-

нение всей духовной организации скрипача: совершенно так же две враждующие армии овладевают одним и тем же селением и одной и той же долиной для того, чтобы дать там решительную битву, сопровождающуюся потоками крови, криками, взаимным уничтожением, оглушительным грохотом орудий и свистом пуль. Все меньше и меньше оставалось места в душе Паганини спокойным лучам той вечерней зори, которой встретила его первая неделя счастливой любви в луккском замке.

Биография Тартини особенно привлекла его внимание. О Тартини — скрипаче, фехтовальщике, монахе, юристе, человеке, говорившем о себе, что он — искушаемый Иосиф, и уподоблявшем музыку соблазнительной супруге Пентефрия, — ходило много легенд. Паганини с огромным любопытством и прежде разглядывал скрипки, принадлежавшие этому скрипачу. Инструменты, на которых играл Тартини, были сплошь исписаны стихами Петрарки и вульгарными народными речениями. Ругань черни чередовалась в этих надписях с божественными строчками дантовой «Новой жизни».

Тартини похитил племянницу кардинала Корнаро. Уголовная полиция Рима настигла их в дороге. Ради спасения жены Тартини пришлось ее покинуть. Злосчастный супруг под страхом смерти пробирался к ней на свидания. Они виделись тайком, раз или два в год. Он жил в Ассизи, в монастыре, под чужим именем, проводя время в игре на скрипке под руководством наивного и простодушного монаха. Тартини исполнилось двадцать четыре года, когда отважный фехтовальщик, удачливый любовник и супруг сделался первым скрипачом Италии XVIII столетия. Под чужим именем явился он в свой родной город и завоевал себе славу. Славой вернул себе жену. Открыл свое имя, получил прощение, и началась долгая славная жизнь скрипача, окруженного почитателями и учениками из беднейших семей. Скитальческая жизнь среди итальянского простонародья странно подействовала на Тартини, он сделался проповедником великого скрипичного мастерства среди ливорнских простолудинов. Он целые недели проводил в кварталах портовых грузчиков, он играл на кораблестроительных верфях, охотно посещал тюрьмы и давал там концерты, он ходил всюду, вода с собой любимого ученика Нардини. На руках Нардини он и умер в глубокой старости.

Вот рукопись самого Тартини, она перед глазами нового скрипача нового столетия. Тартини писал:

«Сны исправляют действительность. Однажды ночью, это было в 1713 году, мне снилось, что я совершал торговую сделку и продавал свою душу черному ангелу с улыбкой, пленительностью похожей на улыбку египтянки. Я спросил его: «Как ты вошел в монастырь святого Франциска?» На что ответил мне египтянин: «Успокойся, друг мой, ведь я злой дух! Пей чашу со мной, как пьют вино, ты насладишься обманчивым видом вещей и все вещи, цвета и краски видимого мира научишься превращать в звуки». — «Хорошо, — согласился я, — но ты должен стать моим слугой». Сделки нашей мы не записывали, но я твердо помню, что она состоялась.

Он дал мне познание вещей и пробудил меня, а я за всю эту силу и гибель любил его все больше и больше и знал, что уже все это непоправимо: я не мог и не желал жить, ибо в этой гибели было больше жизни, чем в жизни без гибели. И вот наступил час самого сладкого сна, когда я приказал моему слуге-египтянину взять скрипку и играть. И играл он так хорошо, с такой незабываемой прелестью, с таким мудрым очарованием, что навсегда я стал прикован к счастью земного мира и его прелестям, и его соблазнам, забывая о поисках небесного рая и спасении души. Так я увлекся, и так был я восхищен, воображение мое заиграло, как тысячи алмазов на солнце, отражая своими гранями всю красоту и прелесть прошлого, все очарование настоящего и всю манящую игру будущего. Дух мой возликовал от этого чувства, и я пробудился. Тотчас же схватил я скрипку и смычок, разбудил спавшего в келье монаха, и он восхитился вместе со мной, и он вместе со мной устремился запечатлеть чудные звуки, слышанные мною во сне. И вот лучшее, что я написал в жизни, — это соната той ночи, хотя я знаю, что это — лунное отражение истинного солнца, осветившего мою душу; и вот теперь я разбил бы скрипку, если бы мог отказаться от сладости этих звуков. Но всегда останется у меня ощущение разницы между тем, что слышал я у демона, и тем, что сумел записать».

Глава шестнадцатая

В СТРАНЕ ОТЦОВ

Как это случилось, как тонкая, тоньше волоса грань отделила сон от пробуждения? Как только скрипка Гварнери была вынута из чехла, как только смычок коснулся

струн, и Паганини, и его подруга поняли, что дни плена окончились. Каждый новый день приносил новые признаки пробуждения, и казалось, что это — пробуждение не одного только Паганини. Армида, пленительница Танкреда, сама пробуждалась с новыми звуками скрипки Паганини. Он становился ей чужим, он становился только интересным скрипачом, только гением. Уродливого любовника с необыкновенной горячностью крови она теряла и даже не стремилась удержать. Как-то раз случилось, что Паганини целый день провел в Лукке, а потом и заночевал в городе, в маленьком домике, где Ньекко оставил свои книги.

После месяца блестящих концертных выступлений в Лукке Паганини выехал из Лукки на север. У него снова появился вкус к скитальческой жизни, и так как не было никаких оснований задерживаться в Лукке, то, взяв направление на Пистойю, Болонью, Модену, Парму, Пьяченцу, Павию, он отправился дальше. Всюду с огромным успехом проходили его концерты. Наконец он прибыл в Милан.

Из газет Паганини узнал, что человек, арестованный в Ферраре и умерший в тюрьме, назывался его именем. Это был польский скрипач Дурановский. Но молва о гибели Паганини уже облетела Северную Италию. Паганини знал, что семья давным-давно считает его умершим. И при воспоминании о времени, когда он был выключен из общей жизни, у него возникло странное чувство, рождавшееся из соединения нового, необычного для него, мужественного восприятия жизни с горячим чувством благодарности к волшебнице, державшей его в Лукке.

Паганини чувствовал себя независимым и свободным. Теперь уж не могла повториться история с ливорскими оркестрантами. Теперь не нужно было покровительство английского консула.

Случайная встреча в Милане с певицей из Ливорно неожиданно вызвала в нем жажду легкого и веселого сближения с этой девушкой. Вот он узнает охотно сообщенный адрес, вот с наступлением вечера идет к ней, но путает фамилию владельца дома. На полутемной широкой лестнице он ощупью находит ручку двери и толкает ее. Большой вестибюль, громадное зеркало, круглый стол. Никого нет. Открывает следующую дверь. На огромной постели молодая женщина под розовым одеялом с испугом смотрит на открывающуюся дверь. Потом, протягивая руки, с улыбкой говорит:

— А, это вы, доктор! Я думала, что вы придете позже.

Что толкнуло Паганини, он сам не знал, но он с важностью врача сел около постели больной. Она положительно ему нравилась. Сумасбродные мысли завертелись в голове Паганини с невероятной быстротой. Дремавшие в нем веселость и живость характера пробудились с неожиданной для него самого силой. Он взял руку больной, внимательно посмотрел в глаза и заявил:

— Вам, вероятно, сегодня лучше, чем вчера.

— Да,— ответила молодая женщина.

Он внимательно нащупал пульс, но при этом с неосторожной нежностью пожал руку.

Тут неудержимый смех одолел Паганини. Никогда не был он в таком забавном положении. Все попытки сделать серьезное лицо ни к чему не привели. Женщина с удивлением смотрела на него, словно вспоминая что-то. И вдруг, вырвав руку, с негодованием сказала:

— Послушайте, да вы ведь — синьор Паганини, скрипач, вы вовсе не доктор.

Тогда Паганини дал волю своему смеху. Чем больше он смеялся и чем больше стремился подавить этот смех, тем больше негодовала больная. В это время за дверью послышались шаги. Вошел старик. Выражение лица больной мгновенно переменилось. С живостью обращаясь к старику, она произнесла:

— Вот, отец, доктор находит, что мое состояние...

— Да, да,— с важностью подтвердил Паганини,— еще несколько дней, и больная может встать.

Старик с благодарностью посмотрел на Паганини и начал с ним длинный ученый разговор на медицинские темы. Он говорил о невежественности нынешних врачей, о том, что наступает новая эпоха, что синьор Вольта делает опыты с применением новой силы природы, что синьор Гальвани нашел ту силу, которая, вероятно, способна будет через несколько лет оживлять мертвых, так как достаточно провести металлическую проволоку от серной кислоты и цинка к ноге лягушки, отрезанной от туловища, чтобы эта нога задвигалась, как живая.

Паганини кивал головой с видом ученого человека. Разговор затянулся. Паганини не знал, как ему быть. Наконец его выручила молодая женщина, прервав беседу в опасный момент.

— Вы мне напишете рецепт, доктор? — спросила она.

Гусиное перо, бронзовая чернильница и листки бумаги с золотым обрезом были предоставлены в его распоряже-

ние. С важным видом обмакнув перо, Паганини задумался.

— Знаете ли что,— сказал он,— болезнь не такова, чтобы следовало применять латинскую кухню. Обойдемся без лекарства. Природа настолько щедра и богата, что синьора, ваша дочь, может положиться на нее. Посмотрим, что будет дальше.

— Да, да, доктор,— вдруг вмешалась молодая женщина, стараясь любезностью замаскировать веселую улыбку.— Я надеюсь, что вы завтра придете и увидите, что мне стало гораздо лучше.

— Как, вы хотите, чтобы я завтра пришел? — спросил Паганини, чуть не выдав себя этим неуместным удивлением.

— Да, непременно, доктор: иначе мне станет хуже.

— Вот как! — сказал старый отец.

В голубом конверте с гербом миланского дворянина Романьези Паганини получил билет в десять лир. Это был первый медицинский гонорар.

Вдыхая полной грудью воздух улицы, Паганини размышлял о происшедшем. Его напугало это неожиданное приключение. Он удивился, что в Милане его лицо знают по портретам, это подтверждало его славу и давало возможность надеяться на успех концертов, но, с другой стороны, он боялся, что на концерт может прийти синьор Романьези.

Ближайший концерт был отменен.

На следующий день Паганини опять надел на себя личину эскулапа. Два часа сидел он, разговаривая с любезным стариком и бросая пламенные взгляды на девушку. Больная с трудом выдержала роль, но играла хорошо. Когда Паганини встал, чтобы проститься, она настойчиво потребовала визита на завтра. Отец развел руками и сказал:

— Тереза откроет доктору, так как я завтра должен присутствовать в магистрате.

Ничто так не устраивало Паганини, как это присутствие старика в магистрате.

Визиты продолжались довольно долго и всегда совпадали с отсутствием почтенного Романьези. Кончилось тем, что в день возобновления концертов в большом зале миланской консерватории Паганини должен был заехать за синьорой Романьези, опять в отсутствие отца.

Увлечение не зашло слишком далеко. В один прекрасный день Паганини почувствовал необходимость вернуться в отчий дом. Он сам не понимал причины этого стремле-

ния, но оно было настолько неодолимо, что он в тот же вечер южным мальпостом выехал из Милана.

В кармане камзола лежала чековая книжка генуэзского банка: на имя отца было вложено двадцать тысяч франков. Мысль о том, что он не разучился играть только благодаря тому, что жестокая настойчивость отца превратила для него скрипку в инструмент, самой природой связанный с ним, с молодым Паганини, приводила его теперь в восхищение. Он прощал отца, он прощал матери ее католическую набожность и неумение владеть собой под натиском любопытства какого-нибудь аббата. Все резкие черты и контуры детства смягчились, приобрели мягкий розовый оттенок. «Это признак наступления преждевременной зрелости характера», — думал Паганини.

Какие-то внезапно возникшие мысли заставили его рассмеяться. Молодой человек, незнакомый Паганини, черно-волосый и голубоглазый, пристально посмотрел на него. Паганини ответил не менее пристальным взглядом.

— Чему вы смеетесь? — спросил молодой человек.

— Вы любопытны. Я смеюсь собственным мыслям, которые затрудняюсь вам передать.

— Если бы вы знали, что произошло час тому назад, вы не стали бы смеяться так легко!

Тон был зловещий.

— Ну, что же произошло? — спросил Паганини довольно невежливо.

— Генерал Бонапарт стал императором французов.

— Как, и уже в течение часа эта весть донеслась до вас? Кто же вы такой?

— Я граф Федерико Конфалоньери, миланец. А вы можете не называть своей фамилии, так как я сразу узнал почитаемого скрипача. Признаться, я думал, что перемена французской политики пугает вас и заставляет уехать из Милана.

— О нет, — сказал Паганини. — Политика и скрипка далеко стоят друг от друга.

Конфалоньери сострадательно улыбнулся.

— Вы думаете? — спросил он с сомнением в голосе.

Паганини вдруг оживился, прежние мысли зашевелились у него в голове.

— Да, в самом деле, я иногда думаю иначе. Но в наши дни... Где говорят пушки, там должны молчать искусства.

Конфалоньери покачал головой.

— Вы сами знаете, какое громадное значение имеет музыка в формировании духа.

— Верно, — сказал Паганини, — но я ни разу не слышал, чтобы люди на голодный желудок ходили на концерты.

Беседа вскоре исчерпалась.

На маленькой отвратительной станции веттурино будил его криком: «*Si cambia!*» — пересадка. Паганини проснулся и вдруг вспомнил страшный сон. Ему снилась огромная белая лестница над черным прогалом. Какой-то голос говорил ему, что необходимо подняться по этой лестнице, но что по пути будут три ступеньки, сделанные из полотняных полос, выкрашенных под камень, и, конечно, ступив на одну из этих полотняных полос, он провалится в пропасть и, ударившись об острые камни на дне, превратится в куски разорванного мяса и раздробленных костей. И снилось ему, что уже нельзя отступить, и дух захватывало от ужаса. Кругом — безлюдное и страшное молчание. Горы давят сознание. Но вот, как стальная пружина, воля заставила взбежать, и пока весь во власти стремительного порыва, он летел, перескакивая через три ступени, вверх, вдруг простая мысль готова его остановить. А что, если, стремясь перескочить через три ступени, он устанет и от усталости свалится с лестницы без перил? А что, если, вынуждая себя перескакивать через три ступени сразу, он просчитался и, не зная, где ловушка, поставит ногу на полотняную ступень? Гибель тогда неизбежна. И так, не зная, в конце или начале пути эти предательские три полоски ткани вместо камня, он достиг двухсотой, трехсотой ступени и почувствовал себя безнадежно обреченным на страшную смерть и нестерпимые муки. И вдруг, вот уже совсем близко от вершины, он почувствовал, что нога его провалилась и он висит в пустом пространстве, вцепившись в каменную ступень, эту твердую, надежную и верную ступеньку. Он спасся. Одно колено на каменной ступени, плечи и голова на другой, вот еще минута над пропастью, и он снова твердой и уверенной поступью взбирается по ступеням, зная, что опасность позади. А над головой разгорается яркий день, солнце поднимается на синем-синем, почти черном небе, дышать становится легко и жить становится радостно. Горячие струи теплого синего воздуха заливают щеки, и раздается словно крик петуха: «*Si cambia!*» Это кричит веттурино над ухом.

Пока пассажиры завтракали и отдыхали от толчков и ударов почтовой кареты, пока французский гвардеец проверял паспорта, а трактирщик разливал красное кислое

вино, Паганини высчитывал часы и минуты, которые оставались до Генуи.

Но вот, наконец, Генуя.

Паганини ловил себя на чувстве большого волнения, он думал, что сейчас, наконец, наступит минута полного примирения с семьей. Он был уверен в том, что мать тоскует без него. Он знал, что отец перестанет сердиться на него за бесплодные поиски, что, быть может, даже применение полицейских мер воздействия вызовет в старике некоторое угрызение, когда шуршащая бумажка, просто и легко доказывающая, что старый Антонио Паганини является обладателем двадцати тысяч франков, появится перед глазами старика.

Он готовил слова, которые надо было сказать. Надо было сказать только, что ради семьи, ради успеха дальнейшей музыкальной карьеры он должен был вырваться на широкую дорогу, быть может, несколько nepозво­лительным способом осуществляя отрыв от родной семьи. И то, что не приходило в голову дорогой, то, что казалось естественным, простым, вдруг теперь, у дверей родного дома, приобрело какое-то пугающее значение, и Паганини, прославленный скрипач, имя которого было уже известно во всех городах Северной Италии, вдруг почувствовал себя жалким, провинившимся школьником, вдруг почувствовал себя просто сыном Терезы Паганини, мальчишкой из «Убежища», с замазанными рукавами, с запла­тами на панталонах. Он готовил слова, которые должны были сразу расположить к нему сердца родителей.

На стук никто не отпирал. Все слова, которые хотел сказать Паганини, вдруг вылетели из головы. Необъяснимая тревога закралась в сердце, и, не сдерживая своего волнения, Паганини стал стучать кулаками в дверь с бешенством взволнованного до отчаяния человека.

В ответ на этот стук раздался сердитый и резкий окрик. Он узнал голос матери. Но до какой степени он не похож на прежний голос! Почему она пришла в такое негодование? Она не знает, что стучит родной сын, ее маленький Ник, как она называла его в детстве.

— Какой негодяй ломает двери? — повторил голос со­ всем над ухом Паганини.

В полутемном коридоре он увидел лицо старшей сестры: это она говорила голосом, до такой степени похожим на голос матери. А в глубине комнаты, при входе в столовую, он увидел старую женщину, перебирающую четки и держащую молитвенник в руках.

Сестра мгновенно узнала Паганини, мать выронила книгу, увидав вошедшего, и, привстав, слегка отступила, роняя кресло. Сестра молчала. Паганини бросился к матери, она отступила от него, как от призрака. На шум вышли остальные члены семьи. Вышел брат с незнакомой женщиной. Поздоровался, шумно и бурно приветствуя Никколо, нарушая странное молчание. Вошедшая с ним женщина острыми и злыми глазами смотрела на Паганини. Мать все еще молчала, устремив на него печальные голубые глаза. Паганини едва успевал отвечать на быстрые вопросы брата, которые сыпались, как горох из прорванного мешка: Наконец Паганини перебил его и сказал, как бы для того, чтобы прервать молчание матери:

— Матушка, быть может, я могу остановиться у вас на некоторое время?

Первые слова матери поразили его, как громом:

— Продукты очень вздорожали. Где ты у нас остановишься? Каэтана поселилась у нас в доме с ребенком, у Целестины тоже родился ребенок, у Фабричо не нынче-завтра будет новая жена. Куда же мы тебя денем? Может быть, ты остановишься в гостинице? Продукты очень вздорожали, приходится высчитывать каждый байокко, а кроме того...

Тут она остановилась, и крупные слезы потекли у нее по щекам.

В это время вошел старик Антонио, сплевывая мокроту в зеленый платок, прихрамывая и чихая. Он увидел сына, казалось, без всякого удивления. Он смотрел на Никколо, не скрывая презрительного выражения лица.

— Молва о тебе самая плохая. Если не хочешь принести несчастья дому, то лучше было бы тебе жить на отдельной квартире. Семья для человека — это лучший друг, а что ты сделал для семьи?

Паганини подумал мгновенно: «В евангелии, которое они так любят, говорится: «Враг человека — домашние его». Я к этому добавлю, что нет большего счастья на свете, нежели потеря лучшего друга».

Поддав в себе чувство негодования, он встал с покорным видом, подошел к отцу и, распахнув камзол, поспешным и торопливым движением вынул бумажник, наклонился над столом и выложил перед стариком чек на двадцать тысяч франков. Лицо старого Паганини внезапно просветлело.

— Так, — сказал он. — Ну, давай отпразднуем твое возвращение. Тереза, что же ты сидишь? Целестина, Фабричо,

что же вы стали? Он вернулся, Никколо вернулся. Живи с нами.

Казалось, какая-то ледяная стенка растаяла внезапно. Все бросились обнимать Паганини, и вдруг не выдержало его сердце. Выросший до неузнаваемости, окрепший и возмужавший, этот человек, бросившись на шею к матери, зарыдал горьким рыданием, как после перенесенных в детстве побоев. Он плакал долго, и казалось, что он никогда не сможет утешиться. Он сам не понимал значения этого порыва. Но каждый член семьи по-своему истолковал это проявление необычайной слабости.

В то время как он оплакивал горестную картину полного распада материнского чувства в этой одряхлевшей, но еще не старой женщине, по-видимому, потерявшей ясность ума, — она, глядя на сына, испытывала совсем другое. Она думала, что вот он раскаивается, что он много согрешил в жизни, что из всех ее детей это самый неудачный ребенок. В то время, когда Паганини, плача на ее плече, оплакивал свое детство и свое теперешнее сиротство, так как перед ним стояли люди, не имевшие, по существу, никакого к нему отношения, старик думал, что если сын вернулся в отчий дом, как блудный сын Ветхого завета, что он напрасно думает отделаться выкупом того теленка, которого приказал подать к столу папаша. «Не беспокойся, сынок, — думал старый маклер, глядя на плачущего Паганини, — мой теленок стоит больше двадцати тысяч франков. И уж ежели я принял под отчий кров блудного сына, я заставлю его раскошелиться».

Но блудный сын никак не мог успокоиться. Тогда у Паганини-старшего закралось в душу тяжелое сомнение: «А в самом деле, черт его подери, должно быть, уж очень большая жизненная неудача: или он вывихнул руку и не может больше играть на скрипке, или у него случилось что-то нехорошее с полицией, он возвращается к нам, плача и рыдая, как будто некуда ему деться».

Старший брат радовался совершенно искренне возможности поправить свои денежные дела, если он сразу станет на дружескую ногу с Никколо. Лукреция обдумывала, как ей устроить, чтобы из этих денег получить кое-что для покрытия картонного долга мужа.

Паганини оплакивал себя со своими ребячьими представлениями о жизни, и постепенно чувства и мысли, свойственные большим душам, вытеснили у него эгоистическую жалость к самому себе.

Он перестал думать о своем сиротстве, ему были бес-

конечно жалки эти люди с искривленными душами и искаженными чувствами.

Годы потрясений, перенесенных Северной Италией, все эти постоянные изменения биржевой погоды, от которой зависели благосостояние семьи и настроение отца, — все это, очевидно, надломило стариков. В их жизни тоже произошло много изменений одновременно с теми колоссальными переменами, которые совершились в самом Никколо. Он чувствовал себя очень твердо стоящим на ногах, он прекрасно знал, что то высокое совершенство скрипичной техники, которым он овладел, является теперь его свойством, что он, даже если бы захотел забыть что-либо, не смог бы: потерять талант скрипача он мог, только потеряв руку. Он был воплощением гения скрипки. Но перед ним стояли его отец и мать, его брат и сестры — люди более чем обыкновенные, и Паганини чувствовал, что из ощущения контраста между его внутренним миром и миром этой зауряднейшей североитальянской семьи сейчас же возникнут такие настроения и чувства, которые отравят окружающих его людей чувством зависти, переходящим в ненависть. И все же, в силу какого-то инстинкта, он не мог избавиться и от чувства острой боли, и от чувства жалости, и от чувства бескорыстной любви.

Банкир, у которого был реализован чек на имя Антонио Паганини, был удивлен расспросами старика, который, бледнея и краснея, допытывался, сколько денег у его сына, где они вложены. Старые секреты итальянских банков впервые казались опытному биржевому маклеру досадным и ненужным затруднением.

В разговорах с сыном старик твердил о бессонных ночах матери, о том, что он, старый человек, нищенствовал, чтобы дать музыкальное образование сыну. Он стремился раскрыть перед сыном все величие своего отцовского замысла, дать ему почувствовать всю тяжесть своих забот, направленных на то, чтобы побоями выколотить из непокорного мальчишки прилежание и крупный скрипичный талант превратить в настоящий и полный талант скрипача. По странной игре случая Паганини не видел всех этих ухищрений старика. Он во всем с ним соглашался, охотно шел навстречу матери и первые накопленные им деньги, переведенные на генуэзский банк, охотно отдавал в распоряжение семьи. Но эта податливость лишь еще более подзадоривала старика.

Отношения в семье превратились в игру двух враждебных станом. Мать, отец, брат и сестры в отсутствие Паганини вели непрерывные совещания. Были дни, когда Никколо чувствовал себя любимцем и покровителем семьи, и были дни, когда отец набрасывался на него с криками и проклятиями, а мать со слезами глубокого горя выпрашивала сто или двести франков на покрытие неожиданного расхода, возникшего против воли старика Паганини.

Хотя Паганини не предполагал давать концертов в Генуе, он вдруг оказался вынужденным выступить. Он думал побывать в семье месяц и потом выехать для концертов на север. Его тянуло в Милан, в Турин и Венецию. Он представлял себе, как он снова появится в Ливорно и Лукке. В Генуе ему хотелось быть только сыном своей матери, быть только братом своих сестер, быть только обыкновенным Никколо Паганини.

Но, отдав в конце концов все деньги, которые были, скрипач попал в прежнюю зависимость от старика. Отец согласился выдавать ему не более двадцати франков на суточные расходы, и Паганини вдруг почувствовал, что скупость старика граничит с помешательством.

Первые попытки заговорить с властями о концерте не увенчались успехом. Католическая церковь города Генуи воспротивилась тому, чтобы непокорный сын церкви, изблещенный собственным отцом, выступал на концертной эстраде. Это не было прямым запрещением, но это было то неодобрение, которого было достаточно для гражданских властей Генуи.

После больших хлопот Паганини получил странное извещение: епископ разрешил Никколо Паганини, в виде исключения и в награду за участие в благотворительном церковном концерте, выступить в храме с концертом светской музыки. Но когда пришло время использовать это разрешение, обнаружилось новое, неожиданное препятствие.

В Генуе, в отличие от ряда других итальянских городов, был создан Высший музыкальный совет, председателем которого состоял синьор Нови, тот самый Нови, который учился с Паганини у Паера. Теперь он носил титул первого скрипача города Генуи. Надо было идти к нему, ибо все концерты, осуществляемые в городе, ради «чистоты нравов и красоты искусства» должны были иметь санкцию этого совета. Вначале все пошло как нельзя лучше. Нови принял Паганини, как родного. Поддерживая его за локти, он радушно усадил Паганини в кресло. Расспросив подробно обо всех горестях и радостях жизни, Нови с

улыбкой сообщил о смерти одного из товарищей по консерватории. Их бывший соученик утонул в венецианской лагуне, и святая церковь не считает возможным возносить о нем молитвы, ибо этот человек умер без покаяния, а при жизни поддерживал связи с безбожным корсиканцем.

Паганини с некоторой досадой остановил этот поток красноречия и заговорил о своем предстоящем концерте. Лицо Нови вдруг сделалось сухим и холодным.

— Знаешь ли ты, друг мой, — сказал он в ответ, — что наши правила требуют предварительно подвергнуть тебя испытанию в нашем совете? Я знаю твоё мастерство, но ведь не станешь же ты, гражданин города Генуи, нарушать ее старинные правила и законы, ее порядки. Ты отвык от нас. Поживи с нами, пока не устроявая концерта, сделайся нашим вполне, а потом обсудим твоё предложение.

Паганини привстал:

— Меня экзаменовать, как мальчишку? Сколько же времени я должен ждать?

Нови ласково погладил его по руке.

— Ну, зачем же так волноваться! Ждать придется совсем немного. Что касается экзамена, то это только пустая формальность... Ну, поживи с нами... год или два.

— Что?! — закричал Паганини. — Ты смеешься надо мной!

— Успокойся, — ответил Нови. — Святая церковь не запрещает музыки. Наоборот, нигде музыка не достигает такого высокого совершенства, как в религиозных произведениях Палестрины, которыми гордится вселенская церковь. Ты должен знать, что все лучшие музыканты всех времен писали свои композиции для церкви. Скрипач, не пишущий для церкви ничего, тем самым отвергает себя от воздействия ее благодати. Ты будешь, конечно, играть собственные сочинения, написанные в стиле церковной музыки?

Тут Нови сделал суровое лицо и подошел к этажерке из красного дерева. Он взял оттуда красный сафьяновый портфель и, порывшись в нем, достал австрийскую газетку, издававшуюся в Ломбардии. Маленькая листовка сообщала о том, что Паганини проиграл все свое состояние в карты и продал скрипку для того, чтобы заплатить карточный долг.

Прочитав это, Нови с горечью и состраданием продолжал:

— Я вполне понимаю, что после этих потрясений ты долго не можешь оправиться и поэтому живешь в Генуе. Твоя бабка умерла с голоду, так как ты не высылал денег семье. Старик отец голодал, старая мать проливала по тебе слезы и молила бога о возвращении тебя в лоно святой церкви. Ты хочешь создать себе славу знаменитого скрипача и прибегаешь для этого к нечестным приемам, но помни,— внезапно повысив голос, грозно предупредил Нови,— я вижу тебя насквозь. Истина все равно восторжествует. Я помню твою неудачу, когда ты после ночных лутежей не мог удержать скрипку в руках, когда у тебя лопались струны. Помнишь, тогда Паер сказал, что ты не выдержал экзамена. Допустим, что это была случайность, я тебя люблю, рассчитывай на мою дружбу, я никому не скажу об этом...

Паганини чувствовал, как его кулаки сжимаются сами собой... Этот негодяй предлагал ему свое покровительство, очевидно, подводя его к какой-то сделке. Но от Нови в Генуе зависела судьба Паганини. Нови обещал ему свою грязную дружбу, осмелился вмешиваться в его семейные дела, быть его судьей,— однако выхода не было. Надо было испить чашу до дна.

— Так вот,— сказал Нови,— я не одобряю суровости моих товарищей по отношению к тебе. Они советовали твоему старику обратиться в трибунал святейшей инквизиции. Я сделаю все, чтобы преодолеть нежелание моих товарищей видеть тебя на эстраде. Но против тебя, не хочу тебя обижать, но против тебя выдвигают обвинение, и ты должен оправдаться прежде, нежели я подниму вопрос.

Паганини чувствовал, что Нови готовит крепкий удар и только тешится, оттягивая решительную минуту. Но он ошибался. Нови был действительно смущен и в самом деле боялся произнести то, что выпалил почти залпом:

— Ты должен оправдаться, ты должен представить инструмент, на котором ты играешь, для предварительного просмотра в музыкальный совет.

Сказав это и сразу ощутив облегчение, Нови вдруг залиvisto засмеялся.

Тут Паганини почувствовал, как трудно ему сдержаться. С каждым словом Нови бешенство Паганини росло. А тот решил, что Паганини безопасен, если после первых же слов не перешел к действию.

— Про тебя говорят ужасные вещи,— продолжал он

и снова остановился.— Но я, конечно, не верю, ты мой старый друг.

Паганини почувствовал себя раздавленным и спокойно направился к выходу. Нови увидел, что Паганини признал свое поражение и хочет уйти от последних оскорблений.

— Про тебя говорят,— заторопился он,— что ты сделал смычок Турта в полтора раза длиннее и натянул на прекрасный старинный инструмент синьора Гварнери виолончельные струны. Конечно, ты их уберешь, конечно, ты дашь смычок нормальной длины. Но так как про тебя говорят, что твоя скрипка исписана магическими формулами и заклипаниями, то мы должны, прежде чем ты выйдешь на эстраду, сами осмотреть твою скрипку.

— Почему? — с негодованием закричал Паганини.— Я могу натянуть какие угодно струны. Французы превратили клавесин в рояль, они сделали из старого инструмента новый, в тысячу раз более звучный и красивый!

— Французы?! — внезапно побледнев, переспросил Нови.— Ты говоришь — французы?! Ты говоришь о людях, которые отрубили голову своему королю? Ты здесь, в этой комнате, осмеливаешься произносить это слово? Ты знаешь, что делают французы?.. Ты знаешь, что дети мрут от оспы, что эти негодяи привили чешуйку оспы телянку и после этого телячьей оспой заражают десятки тысяч детей?! Знаешь ли ты, что, прививая телячью оспу детям, они прививают телячьи мысли божьему созданию, человеку?!

— Ты прикидываешься! — кричал Паганини.— Ты говоришь дикие, невежественные вещи, ты знаешь, что этим они спасают детей от черной оспы. Дети, которым привита телячья оспа, не умирают и навсегда остаются обеззараженными...

— Это против правил церкви! — Нови в негодовании затопал ногами. Взгляд его был полон уже открытой ненависти.— Знай, что мы и римская католическая церковь запретили повсеместно в Италии прививку оспы.

Паганини повернулся и, не сказав больше ни слова, вышел.

Генуэзская газета сообщила об исчезновении скрипача Паганини.

Первые три месяца синьор Антонио делал все для розысков сына, но поиски оказались тщетными. Нигде никаких следов его не было. Австрийские жандармы и шпионы папской полиции принялись обшаривать игорные дома Ливорно.

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Сестра Бонапарта, княгиня Элиза Баччокки, сделала Паганини дирижером своего оркестра в Лукке. Уступая новым настояниям жизни, Паганини впервые согласился несколько ограничить свою независимость. Это давало ему какое-то положение, избавляло от ненужных вопросов и на некоторое время упорядочивало его жизнь, слишком насыщенную беспокойством.

В Генуе была начата большая работа, в Лукке Паганини ее закончил. Как это ни странно, все эти новые его произведения были написаны для скрипки с аккомпанементом гитары. Он порывисто и напряженно писал, один за другим, шесть квартетов для скрипки, альты, гитары и виолончели.

Маленькие луккские музыканты, уличные мальчишки, устраивавшие празднества и исполнявшие на гитаре заказные пьесы, прибегали к нему с просьбой дать им какие-нибудь ноты, и Паганини откликался на эти просьбы, быстро набрасывая небольшие гитарные пьески, не отказывая никому в исполнении заказов.

Так из Лукки в разные города Италии попали бесчисленные мелкие вещи, написанные для гитары. Их продавали, печатали, распространяли, вульгаризировали, изменяли и толковали по-своему, и в конце концов из этих композиторских забав возникла большая и сложная нотная литература, наполовину не принадлежащая Паганини. В основной своей массе эти произведения портили репутацию Паганини, но он так мало внимания обращал на перемены о его композиционном искусстве, что никогда не опровергал слухов, связанных с той или иной пьесой. Беднейшие музыканты Лукки рассказывали, что в трудные дни они получали от Паганини в порядке вспомоществования листки нотной бумаги, испещренные набросками пьес для гитары, и эти листки спасали иногда целую семью. Работая в Лукке и продолжая усердно заниматься разучиванием выполняемых с виртуозным мастерством «modulazione» Локателли, Паганини не оставлял гитары. И даже достигнув совершенства в игре на скрипке, когда он перестал готовиться к концертам, перестал играть дома и брал смычок только перед выходом на эстраду, он продолжал по-прежнему развлекать самого себя игрой на гитаре, ни разу, впрочем, не выступив с публичным исполнением.

Итак, клятва, данная самому себе в молодости, была нарушена. Паганини стал придворным скрипачом, если можно назвать двором небольшую свиту сестры французского императора, довольствовавшейся пока скромным титулом италийнской княгини. Сам князь Баччокки учился у него игре на скрипке. Таким образом, Паганини сделался постоянным посетителем княжеского дворца и вместе с другим учителем, профессором Галли, пользовался неизменной благосклонностью семьи, занимавшей в Лукке первенствующее место.

Луккская музыкальная молодежь очень охотно пошла на формирование большого оркестра в этом городе. К ней присоединились французы, оставшиеся после ухода из города кавалерийского оркестра генерала Массена. Они с восторгом приняли известие о том, что Паганини будет дирижировать их оркестром.

Когда Паганини вошел в высокий зал, примыкавший к сцене луккского театра, вся огромная толпа молодежи, в рваных мундирах, серых и черных камзолах, громко и весело разговаривала, и он с наслаждением прислушивался к смешанному шуму человеческих голосов и беспорядочному гулу настраиваемых инструментов. Его заметили не сразу. Его ждали, его знали в лицо, и тем не менее он должен был дойти до пульта, для того чтобы голоса внезапно умолкли и все взоры обратились к нему.

Паганини сел на огромный барабан, и это простое движение, показавшее, что он прежде всего желает говорить с оркестром как друг, запросто, сразу расположило к нему весь зал. Стены, увешанные декорациями, проходы между стульями, заполненные экранами, балками, бревнами, предметами бутафории, люди, стоящие у своих инструментов и просто остановившиеся в случайных позах во время разговора с соседом — все это мгновенно obeжал быстрый взгляд нового дирижера.

Паганини никогда не был оратором, он говорил тихо, неотчетливо отделяя слова. Оркестранты толпой подвинулись к нему ближе. После кратких приветственных слов Паганини раздалась бурные аплодисменты его оркестра.

Паганини поднял руку:

— Вы должны обещать мне полную искренность и полное согласие со мной в понимании музыкальных задач. Вы должны понимать, что музыка не терпит снисхождения, что не может быть посредственной игры.

Кто-то крикнул:

— Мы не можем все быть такими, как Паганини!

Паганини быстро повернулся к говорящему и остановился. Подумал мгновение и сказал:

— Ошибка: нет имен и нет второстепенных вещей в музыке. Вы все — артисты. Пусть наш оркестр будет оркестром высокого мастерства.

Летописцы тогдашней музыкальной жизни в Италии говорят, что не было в мире оркестра более согласного, более сыгравшегося, нежели луккский оркестр этих лет. Лукка зажила напряженной музыкальной жизнью. Паганини выступал в качестве дирижера в луккском театре во всех оперных постановках, играл во дворце и через каждые пятнадцать дней давал большие концерты.

Два события ознаменовали собой первые полгода пребывания Паганини в Лукке.

Паганини хорошо знал, что вниманием, которое оказывала ему княгиня, он обязан какому-то неизвестному другу. Однажды он увидел этого друга. Это была прежняя Армида. Он сразу узнал ее, хотя красота ее необычайно расцвела. Она села в первом ряду. Видя, как она шепотом разговаривает с княгиней, Паганини понял, что это близкие подруги, не связанные придворным этикетом. Он хотел в антракте непременно увидеть женщину, которая способствовала его спасению. Паганини не испытывал никакого волнения, он сам с удивлением взглянул на себя в зеркало, когда в антракте вошел в актерскую уборную и, сняв перчатки, стоял около маленького стола. Поправил жабо, откинул волосы, упавшие на лоб, взял свежую пару перчаток и вышел. Он пошел в зрительный зал, прошел между рядами, но в первом ряду не было ни княгини, ни ее подруги. Княгиня сослалась на головную боль и уехала, не дождавшись окончания оперы.

Волшебница, так долго отсутствовавшая, снова появилась. Паганини поймал себя на мысли, что он слишком редко вспоминал то счастливое время, которое провел с ней. Лукка в этот приезд была для него другим городом.

Вторым важным событием в жизни Паганини в этот период было появление австрийской газеты, вызвавшей целый ряд сплетен и пересудов. Газета появилась в Лукке первоначально у духовенства, а потом попала и к музыкантам. Паганини стал замечать на себе любопытные пристальные взгляды. Часто, оборачиваясь к тому или иному из своих друзей, он вдруг замечал, что человек, внимательно смотревший на него, старается погасить в глазах беспокойный огонек любопытства. Прошло немало времени, прежде чем Паганини понял, в чем тут дело.

Все североитальянские газеты были полны сообщениями одного венского корреспондента, писавшего о том, что в Италии появился замечательный скрипач, способный удивить весь мир, скрипач, какого не знала земля. Этот скрипач — Паганини, опасный преступник, бежавший с каторги и до сих пор не схваченный властями, несмотря на то, что на нем тяготеет проступок против совести, религии и даже человеческого закона, так как этот скрипач является же-ноубийцей.

Никто не обращался за разъяснениями к самому скрипачу. Паганини не тревожили докучными расспросами. Только княгиня стала несколько суше и строже в своем отношении к нему. Князь, по-прежнему плохо игравший на скрипке, продолжал усердно посещать уроки.

По знакомой горной дороге коляска луккского веттурино везла Паганини в то место, где проходили часы счастливого плена у Армиды. На стук в ворота ему ответил грубый голос. Паганини увидел нового садовода, борода того, сгорбленного старика с сердитым, пронизывающим взглядом. Старик заявил, что синьора давно не живет здесь. Он указал рукою на заколоченную дверь, на зеленые ставни и жалюзи. Дом, в котором протекали такие счастливые дни, теперь действительно был необитаем.

Значит, Армида жила в городе. Но почему он ни разу за все это время, после того дня, когда она появилась в луккском театре, не встретил ее?

Вернувшись в Лукку, Паганини нашел у себя письмо, написанное знакомым почерком. «Не ищите встречи со мной. Я по-прежнему вас люблю, но мы не должны видеться вовсе». Был ли это ответ на его попытку посетить ее в замке?

Вечером, в концерте, опять в первом ряду он увидел свою подругу. Она осталась после первого скрипичного концерта, несмотря на то, что княгиня встала и вышла. Княгиня Баччокки отличалась чрезвычайной нервностью в восприятии музыки. Она хорошо переносила музыку Чимарозы и Моцарта, она слушала оркестр, которым управлял Паганини, но, без всякого желанья обидеть великого скрипача, заявляла, что только очень немногие вещи она может слушать в его непосредственном исполнении. Она говорила искренне, и Паганини был настолько уверен в ее правдивости, что между ними постепенно установились теплые отношения дружбы, хотя придворная публика

склонна была шептаться о том, что княгиня охладела к таланту первого скрипача луккского оркестра.

Паганини исполнил желание своей подруги. Он не искал с нею встречи.

Прошло две недели. Мысль об этой женщине не покидала его и возвращалась все чаще и чаще, все с большим и большим напряжением. Чтобы избавиться от мучительного чувства, Паганини сделал то, что делал всегда в критические минуты жизни. Он дал музыкальное воплощение своему чувству. Он быстро набросал музыкальный диалог и разыграл его в следующем концерте на двух струнах. Он назвал эту пьесу «Венера и Адонис». С огромным музыкальным тактом было осуществлено музыкальное выражение счастья и горя любви в форме разговора двух струн.

Пораженные слушатели требовали повторения. Паганини отказался. Он близко подошел к авансцене, он кланялся, опуская скрипку почти на самый ковер, и всматривался в лицо женщины, сидящей перед ним в десяти шагах: он еще во время игры с наслаждением видел, как постепенно улыбка сходила с ее губ, как глаза становились огромными, он видел все движения этого лица.

Княгиня была далека от ревности, она испытывала некоторую дрожь негодования при виде такого фантастического, изощренного уродства, каким природа наградила великого скрипача. Но она была оскорблена бестактным жестом Паганини, который осмелился в ее присутствии выказать непреодолимое влечение к какой-то даме в зрительном зале, хотя бы эта дама была ее лучшей подругой. Когда на следующий день Паганини приехал во дворец заниматься с князем, княгиня не сдержалась. Ответив небрежным кивком на придворный поклон скрипача, она сказала ему:

— Вы превзошли самого себя, играя на двух струнах. Говорят, тюрьма научила вас этому искусству?

— Ваша светлость, я никогда не был в тюрьме,— ответил Паганини.

— Но я полагаю, что одной струны будет вполне достаточно для такого гениального музыканта, как Паганини.

Кровь ударила ему в голову. Легенда об одной струне, очевидно, долетела до дворца Баччокки. Скрипач принял вызов.

— Желание вашей светлости будет исполнено в следующий вечер.

— Вы можете не спешить,— сказала княгиня.— Я уезжаю. Но когда я приеду, я желаю слышать игру Паганини на одной струне.

15 августа праздновался день рождения императора Франции.

Утром княгиня получила пакет из императорской почты. Это было официальное утверждение ее герцогиней Тосканской и приказание родного брата, Наполеона Первого, покинуть Лукку и переехать во Флоренцию. В это же утро Паганини получил пакет с герцогской короной на конверте.

Это был патент на звание капитана гвардии герцогини Тосканской.

К вечеру луккский военный портной уже облачил его в мундир, шитый золотом, и вот в одиннадцать часов ночи, после официального праздника в честь того, что император французов вступил в свою тридцать четвертую осень, на эстраде появился худой человек в мундире с золотыми пчелами на обшлагах и воротнике, с огромной шапкой черных волос и костлявыми, длинными руками, узловатыми в суставах, словно сучья деревьев. Он держал в руках скрипку, на которой была натянута только одна струна.

Героическая соната «Наполеон», широкая, огромная и победная, захватила дыхание слушателей. Им слышались голоса многих скрипок, в то время как скрипач водил смычком всего лишь по одной басовой виолончельной струне.

И в этот вечер не было ни одного приверженца старой власти, ни одной набожной католички в городе Лукке, которые не говорили бы в один голос, с испугом, негодованием или яростью, о дьявольском искушении жителей Лукки, о том, что этот черный гвардейский капитан, игравший на одной струне,— сам дьявол, воплотившийся в адъютанта княгини, чтобы искушить человечество неслыханным соблазном, так же, как и тот, кто ведет победные войска, шумит знаменами и маршами миллионных армий затаптывает европейские поля.

Княгиня аплодировала. Она разорвала перчатку и бросила на пол, продолжая аплодировать обнаженной рукой. Ее супруг наклонился, чтобы поднять перчатку, и услышал негодующий шепот:

— Сейчас же выгоните вон этого лакея. Я послала ему патент на чин капитана гвардии только для того, чтобы показать свою милость, а он уже успел надеть этот мундир, он не знает этикета, этот выскочка.

И как бы в ответ на эту мысль, вместе с новым появлением Паганини на сцене раздался крик:

— Маэстро, снимите лакейскую ливрею!

Паганини слегка пошатнулся. Неосторожно зацепив смычком за пульт, он уронил ноты, и они полетели в зал, упав перед креслами первого ряда. Вторую пьесу Паганини играл без нот, но — опять неосторожное движение во время игры, падает пюпитр и с треском гаснут свечи, но — что за чудо! — скрипка мгновенно воспроизводит и эти звуки с таким волшебством, что все движения Паганини кажутся преднамеренными и исполненными по программе. Публика, испуганная и завороженная, подавила свое негодование. Зал был покорен искусством скрипача и примирился с его выходкой.

После окончания программы княгиня продолжала аплодировать. Ее адъютант взбежал на эстраду, подошел к Паганини и произнес:

— Ее светлость приказывает вам немедленно покинуть зал, переодеться в черный гражданский фрак и вернуться.

Паганини, откинув голову назад, с гордостью сказал:

— У меня есть патент, мне присвоена эта форма.

Гвардейский полковник, обращаясь к нему, не назвал его капитаном, это тоже бесило Паганини. Он смеялся над самим собой, но, бросая какой-то вызов судьбе, дерзко глядя в глаза полковнику, говорил:

— Как вы смеете не называть меня капитаном?

Паганини поручил охрану своей скрипки молодому музыканту из оркестра; спустившись с эстрады, большими шагами прошел в зал и, беря то одного, то другого из своих друзей под руку, кивками головы отвечал на поклонны и рукоплескания. Худой, с выдающимися лопатками, острыми плечами, он ходил, плавно покачиваясь, словно бросая вызов княгине, которая старалась замаскировать свое волнение разговором с окружающими ее дамами.

Фрейлина подняла руку. Французский офицер, стоявший рядом с княгиней, торжественно возгласил:

— Его величество император Наполеон в день своего рождения провозглашает княгиню Баччокки великой герцогиней великого герцогства Тосканского. Ее высочество будет иметь пребывание в городе Флоренции.

Оркестр покрыл последние слова. Громкие крики приветствий раздалась в зале. Паганини ощутил около своего уха легкое движение и оглянулся. Фрейлина насмешливо и лукаво шепнула ему:

— Синьор Паганини, ее высочество приказала вам немедленно удалиться.

Паганини низко поклонился и протянул руку фрейлине. Взяв ее левую руку, он одновременно взял и правую, поднес обе ее руки к губам и долго не отпускал.

Начался бал. Герцогиня Тосканская с негодованием смотрела на Паганини, танцевавшего в третьей паре с фрейлиной, но ни одним резким движением не выдала себя, боясь уронить свое достоинство.

Весь вечер Паганини был чрезвычайно весел. К герцогине он не подошел ни разу.

За несколько минут до того, как по придворному этикету герцогиня должна была сделать последний поклон гостям и удалиться, Паганини исчез из зала.

Прошло три часа, по северной дороге катилась карета.

«Жаль, что нет Гарриса, — думал Паганини, — не с кем посмеяться в дороге». Гаррис не отвечал на письмо. Какой политический ветер и в какую сторону уносил Гарриса?

Как ни старался Паганини закутаться в дорожный плащ и сесть поглубже в угол кареты, старания остаться неузнанным оказались напрасными: на станции Брешиа к путешествующим присоединился Луиджи Таризио, который сразу узнал Паганини и выдал его инкогнито всей восьмерке пассажиров мальпоста.

Синьор Таризио производил впечатление опытного путешественника, человека, родившегося и живущего в мальпосте. Плоские полированные ящики, исцарапанные, поношенные, с тяжелыми замками, заполняли весь империал кареты. Дорожный костюм синьора дополняли пистолет за поясом, фляга с вином на ремне, большой клетчатый шарф и широкая шляпа. Трудно было понять, кто это — Жан Барт или флибустьер времен «Короля-Солнца», или итальянский скрипичный барышник, каким на самом деле был синьор Луиджи Таризио. Таризио совершал свою шестидесять пятую поездку из Италии во Францию. Его целью был Париж. Этот приветливый человек с тихим голосом оказался очень милым попутчиком. Он знал по имени всех веттурино, он знал клички всех лошадей, знал, когда в какой кузнице производилась починка кареты, — не говоря уж о том, что ему были наизусть известны города, станции, деревни, имена святых — покровителей той или другой местности. Ему достаточно было услышать звон колоколов какой-либо церкви, чтобы тотчас же сказать, как эта церковь называется.

Таризио объезжал итальянские монастыри, заводил знакомства с дирижерами оркестров в городах, с регентами, руководителями церковных хоров в деревнях, селах, местечках, осматривал и скупал оставшееся от упраздненных монастырей имущество, и так как всюду у него были агенты и друзья, то ему в назначенный срок уже выносили на остановку мальпоста интересовавшие его вещи. Он тут же, в ожидании, пока перепрягут лошадей, торговался с продавцом. Сразу чувствовалась в нем острый глаз, ловкие руки, здоровье человека, всегда находящегося на воздухе. Ясные голубые глаза, ловкие заученные обороты речи человека, которому необходимо со всеми быть в дружбе, помогали ему покупать скрипки за бесценок.

Ночь ли, днем ли, синьор Таризио во время перепряжек и пересадок всегда сам переносил все свое имущество, сам покрывал промасленной тканью верх кареты, завязывал узлы джутовых бечевок. В тех местах, где нарочито придирчивые доганьеры осматривали багаж путешественников, он выходил из мальпоста. «В Италии таможенные границы почти на каждом шагу», — говорили французские офицеры. Во всяком случае, каждое мелкое владение этой страны, превращенное в имущество безработных принцев Европы, непременно имело свою таможеню. И синьор Таризио прекрасно знал имя, фамилию, родственные связи каждого доганьера.

Если большие фьяски красного или белого дженцано попадали на пограничную таможеню транспаданской жандармерии, то владельцу лучше было просто разбить бутылку или выпить ее со случайными попутчиками в дилижансе. Недаром тысячи бочек наилучшего кианти были вылиты тосканскими виноделами в силу того, что торговать вином с соседями было невозможно, а выпить такое громадное количество вина было не под силу тосканскому населению. Враждующие между собой мелкие государства, княжества, герцогства, графства отгораживались друг от друга щетиной жандармских штыков, над всем тяготела австрийская паспортная система, и, однако, все оказывалось бессильным, когда дилижанс синьора Таризио переходил через границу.

Честный коммерсант ухитрился не только проезжать сам со своими скрипками, но и провозить добрых друзей, которые иногда переправляли совсем предосудительные вещи за границу Тосканского герцогства. Самым страшным грузом были мешочки с частной корреспонденцией, попавшей в руки конспираторов почтовых контор. Тысяча или две

запечатанных писем могли обеспечить такому путешественнику конец жизни в глубоком мантуанском колоде или в секретной камере далекого моравского замка Шпильберг.

Опытные путешественники знали, что в дилижансе, который занял синьор Таризио, можно ехать спокойно. Как это ни странно, торговец скрипками не был занесен в таможенные списки австрийскими властями: быть может, потому, что единственный на всю Италию комиссионер европейских оркестров, опер, придворных капелл, синьор Таризио еще не попал в поле зрения австрийской жандармерии. А может быть, какая-нибудь другая бабушка тогдашней истории ворожила своему почтительному внуку. Но так или иначе, синьор Таризио беспрепятственно проезжал все доганы. Доганьеры были довольны уже тем, что скрипки, не являвшиеся запрещенным товаром, оплачивались синьором Таризио при переезде границы гораздо лучше, чем оплачивали свое дрянное кислое вино итальянские купцы, переезжающие через мостик на свадебную пирушку к своему соседу за рекой.

Синьор Таризио покупал в Тироле скрипки старинных немецких мастеров, и сейчас Тироль был главным этапным пунктом его пути на Париж. Синьор Таризио с величайшей болтливостью рассказывал своим спутникам о жизни Парижа. Он рассказывал о Крейцере, о замечательном человеке, господине Байо:

— Это — властитель современного скрипичного мастерства. Это человек, обладающий всеми тайнами скрипичного искусства.

— Байо? — переспросил Паганини. — Мне говорили, что в Париже находится лучшая коллекция скрипок в мире и что Байо начал свою музыкальную жизнь придворным скрипачом Людовика Шестнадцатого, казенного французского короля, а теперь — первый придворный скрипач императора Наполеона.

Таризио кивал головой.

— Коллекция скрипок исчезла, — сказал он. — И если бы не воля нынешнего императора Франции, который прикинулся революционером, в то время как был послушным орудием божественного провидения, то, конечно, погибли бы великие искусства Франции.

Таризио говорил гладко, закругленными, красивыми фразами. Паганини с любопытством и интересом наблюдал за речью и движениями этого человека.

В промежутке между Пизой и Флоренцией, когда утомление после качки на горных дорогах дало себя чувство-

вать, пассажиров стало клонить ко сну. Синьор Таризио закрыл было глаза, но потом, по-видимому, привычка воздерживаться днём от сна взяла свое. Паганини заметил, как внимательно он выглянул в верхнее окошечко дилижанса, посмотрел в лицо заднему форейтору и потом, слово успокоившись, достал книгу в кожаном переплете, с золотым обрезом и медными застежками. Паганини прочел заглавие, украшенное кинovarью и золотом. Это была «Книга Сивиллы о переменах земли, пополненная Цигеновыми известиями о предстоящих великих переменах на земном круге».

«Этот синьор,— подумал Паганини,— не так прост, как он это хочет показать!»

И действительно, сумев поддержать беседу с синьором Таризио, Паганини убедился, что это далеко не простой комиссионер. Синьор Таризио ставил все события европейской истории в связь с переменами, происходящими под корою земного шара, и с движением планет и созвездий. Заметив интерес Паганини к тому, что он читает, он отметил ногтем страницу и передал ему книгу.

— Обратите внимание, синьор,— говорил он,— что за последние три столетия великие наводнения посетили Рим, Тибр вылился из берегов и уничтожил домовладения на всем своем пути. Обратите внимание на то, что в тысяча семьсот семьдесят втором году дождь шел без перерыва хотя бы на минуту в течение целых пяти месяцев. А особенно обратите внимание на то, что в наших апеннинских странах великие землетрясения предшествуют потрясениям политическим. Ежели вчера вы были на вершине, то завтра вы можете оказаться в пропасти. Ведь самые поверхности гор и морей меняются. Одни становятся выше, другие ниже. Морское дно внезапно поднимается на высоту величайших вершин, и морские чудовища, внезапно обнаруженные волею божественного произволения, делаются видимыми. Правда, они умирают, но души их вселяются во владителей. Вот почему на таких местах, осужденных и происшедших из dna морского, бывают наиболее тиранические и преступные правители. Они как будто являются на смену высокогорному населению, которое в душе своей взрастило дьявольскую гордыню и забыло о смирении перед божественным милосердием. Припомните, что двадцать лет тому назад по всей Италии, от Сицилии до Истрии и даже до Триеста, гибли целые города, сотни жителей были убиты разрушением домов при землетрясении. Погибла Мессина, от этого великого и прекрасного города ничего не оста-

лось,— все погибло в течение шести минут. Из трехсот семидесяти пяти городов и деревень, составляющих Калабрию, погибло триста двадцать, причем сто тридцать селений просто исчезли под землей. Что же говорить нам, простым людям, которые бывают уносимы вихрями истории и исчезают безвозвратно, когда целые царства и города ниспровергаются, гибнут короли, возносятся ничтожества! Недаром в писании сказано: «Низвергнутся сильные с престолов, и смиренные будут превознесены».

«Не похоже на то, чтобы синьор Бонапарт был смиренным»,— подумал Паганини.

Подъезжали к воротам Флоренции. Наступал вечер, нежные голоса колоколов разливались по долине. Скрипя и переваливаясь, двигались по пыльной дороге повозки на огромных колесах.

Внезапно внимание Паганини привлек громкий звук рожка настигающей их кареты.

Маленький элегантный экипаж английского образца, запряженный четверкой, обогнал неуклюжий мальпост и, словно нарочно, перед самой заставой, расположенной внизу, на склоне горы, остановился поперек дороги, загородив путь. Этот маневр мгновенно вызвал у Паганини мысль о погоне. Действительно; мальпосту пришлось остановиться. Паганини закутался в плащ, надвинул шляпу на самые брови и попросил синьора Таризио сказать, если будут спрашивать синьора Паганини, что такого здесь нет. Но все предосторожности оказались тщетными.

Синьора Бельджозо сумела так повести атаку, что не было никакой возможности сопротивляться. Чтобы не попасть в смешное положение, надо было скинуть плащ и снять шляпу.

Синьора заявила, что ее высочество герцогиня Тосканская согласна простить синьора Паганини и никогда не напоминать ему о совершенном им дерзком поступке, но...

Паганини при виде дамы, которая сделала nepозволи- тельный с точки зрения этикета жест, сама выйдя из кареты и подойдя к мальпосту, должен был выйти к ней и объяснить. Он чувствовал себя очень неловко. Синьора была умной женщиной, она понимала всю трудность положения, в которое поставлен Паганини, и смеялась над ним звонким и беспощадным смехом. Паганини отвечал ей в тон, сам шутил над собой. Однако он убедился, что с этой женщиной нельзя быть откровенным, и поэтому заявил, что он, конечно, вернется, но ему нужно опрaвиться от испуга, вызванного внезапным гневом герцогини.

Паганини остановился на минуту, чтобы посмотреть на эффект своих слов. Видя недоверчивый взгляд синьоры, он заговорил мягко и вкрадливо.

— Служить *е высочеству для меня, конечно, высшее счастье из всех возможных на земле,— сказал Паганини.— Но я дам во Флоренции десять концертов и после этого вернусь. Согласитесь сами, что нужен некоторый промежуток времени, чтобы мне загладить свой проступок перед ее высочеством.

Слова синьора Таризио о переменах на земном шаре, о возвышениях и понижениях морского дна и горных вершин не выходили из головы Паганини. Возвращение в Лукку его отнюдь не привлекало. Но, с другой стороны, великая герцогиня несомненно в ближайшее время прибудет во Флоренцию. И внезапно голову Паганини озарила блестящая мысль. Он сказал посланнице герцогини:

— Передайте ее высочеству, что я покорным слугою жду ее прибытия во Флоренцию.

Паганини вынул записную книжку, конверт.

Вырвав листок, он написал несколько строчек и, не запечатывая конверта, вручил письмо синьоре. Мир был заключен.

Мальпост вновь двинулся вперед. Синьор Таризио сладко зевнул, предчувствуя возможность тихого и спокойного отдыха в гостинице.

Решив из осторожности прочесть письмо, синьора Бельджойозо пришла в ярость. Паганини писал: «Я счастлив служить вашему высочеству до гробовой доски, но происшедшее настолько меня потрясло, что самый меньший срок, необходимый для забвения, я определяю в восемьдесят или девяносто лет. В течение этого времени я не буду иметь великого счастья видеть ваше высочество». Синьора Бельджойозо немедленно уничтожила эту записку. Она знала, что Паганини сдержит свое обещание, что Флоренция будет для него случайным местом перепряжки лошадей и что новоиспеченная герцогиня никогда больше не увидит своего дирижера. «Соловья не нужно держать в клетке,— подумала синьора Бельджойозо.— Жаль, это было настоящим украшением нашего города. Что делается с бедной...» Она вспомнила тайную подругу Паганини, о связи которой со знаменитым скрипачом внезапно заговорила вся Лукка.

Паганини не знал, куда направить свой путь из Флоренции. После долгих колебаний он решил двинуться на

север. Он еле боролся с подавившей его усталостью, просыпаясь и вновь задремывая в карете.

Проснувшись поздно ночью перед подъездом маленькой прибрежной гостиницы, он услышал шум моря и свист морского ветра, залетевшего в открытое окно.

Звезды и луна освещали седые гребни волн.

Следующее ясное воспоминание: перед ним совершенно незнакомые люди, один держит мокрое полотенце, пропитанное уксусом, другой, очевидно, считает удары пульса.

— Ну как, вам лучше? — слышит Паганини голос склонившегося над ним человека.— Вы вне всякой опасности, но вам нужен полный покой, у вас нервическая лихорадка.

— Кто вы? — спросил Паганини.— Где мы находимся?

— Я — доктор и такой же путешественник, как вы. Гостиница эта носит название «Гостиница четырех ветров», мальпост идет через десять часов. Постарайтесь к этому времени собраться с силами.

Стакан крепкого виноградного вина помог Паганини осуществить предписание врача. Через час он был вполне здоров.

Вглядываясь в лицо рыжеволосого спутника врача, Паганини все более убеждался, что он где-то уже видел этого человека. Но, по-видимому, произошли какие-то большие перемены во внешности этого незнакомца. Попутчики были нелюбопытны, это не располагало и Паганини к расспросам. В разговоре они по имени друг друга не называли. Говорили же они о вещах, которые, по-видимому, чрезвычайно интересовали обоих,— о Лионском съезде нотаблей, который они называли то съездом нотаблей, то Лионской консультой; о том, что Италия вновь почувствовала на себе всю тяжесть лжи Бонапарта, этого похитителя французской свободы, который стремится теперь установить рабство в Италии; о провозглашении Евгения Богарне, пасынка Наполеона, вице-королем Италии.

Они говорили так, как будто Паганини вовсе не было в комнате. Было похоже, словно эти два человека съехались из разных мест и торопятся сообщить друг другу все сведения, которые им удалось собрать.

С утренней зарей раздался звук почтового рожка, и миланский мальпост, запыленный и грязный, вкатился во двор.

Когда незнакомцы узнали, что Паганини решил ехать в Милан, они выразили свое удовольствие по поводу того, что «величайший скрипач мира», как они называли Паганини, будет их попутчиком.

Паганини объявил в Милане о концерте. Вторично ему пришлось пожалеть об отсутствии Гарриса, так умело помогавшего ему в этих делах.

За два дня до концерта он снова встретился с случайными попутчиками. Они пригласили его отправиться с ними в деревню Бинасио. Выехав из Милана верхом, в Бинасио они отдали лошадей огромному чернобородому крестьянину с физиономией разбойника и отправились пешком по маленькой тропинке, ведущей в близлежащую деревню.

Паганини, наконец, узнал имя рыжего гиганта. Это был старый приятель его учителя Фердинанда Паера, Уго Фосколо. Доктор оказался знаменитым миланским врачом Джузеппе Паскарелли.

На зов колокола в лесу собралось несколько человек. Отвалили большой камень, нашли яму. Разрыли на дне ее свежую, очевидно, недавно заваленную листву. Подняли железную дверь. Зажгли восковую свечу, закрученную спиралью на металлической трости (Паганини впервые видел это старинное осветительное приспособление). В подземелье десятки таких жезлов лежали на полке вместе с небольшими сетчатыми колпачками, которые предохраняли пламя от случайных порывов воздуха и от соприкосновения с легко загорающимися предметами — занавесками, портьерами, украшавшими, как это ни странно, своеобразное подземное жилище этих людей.

Значок, подаренный когда-то Паганини синьором Франческо Ньекко, вдруг приобрел новую цену. По правилам секретного братства, этот значок, преподнесенный братом старшей степени, через известный промежуток времени давал обладателю его право перешагнуть одну ступень посвящения.

Так вот они, лесные братья, так вот эта удивительная организация. Вот куда ведут рассказы о подземном Риме, о колодцах и кровлях, о тайных ходах, о лесных жилищах на мысе Моргана, об ушельях Калабрии, о сицилийских пещерах, заливаемых морским приливом и совершенно недоступных, об исчезновении у берегов подозрительных лодок, за которыми гнались быстроходные боты англичан, австрийские полицейские лодки и кораблики папских жандармов!

Ветка белой акации, лежавшая на столе в полутемном коридоре, между двумя разветвлениями подземного хода, была вручена одному из присутствующих. Паганини узнал тут же, что вручение ветки белой акации у карбонариев имело значение особого доверия. Брат карбонарий, полу-

чивший такой знак отличия, был связан тайным поручением, находился под особым надзором братства. Знак белой акации поручал ему осуществление в условленное время казни коронованного тирана. С того момента, как он прикасался рукой к ветке белой акации, человек не принадлежал себе и терял возможность выйти из карбонарского братства. Да и вообще, войдя в узкие двери лачуги угольщиков, выйти оттуда было уже невозможно. Жизнь человека, вступившего в это братство, становилась необычайно яркой, если он находил здесь свое призвание. Но, как говорил старший венераль, «легко поднять, но тяжело нести». Гибель поклажи была гибелью носильщика.

Кардинал Руффо вырезал тринадцать тысяч карбонариев, тысячи республиканцев южных городов были брошены в тюрьмы, где священнослужители заботливо приближали смертный час заключенных.

— ...Наполеоновский кодекс с первого января переведен на итальянский язык и применяется теперь в качестве основных законов нашей Италии. Делегация миланских ослов, отобранных лакеем Бонапарта, Саличетти, выехала в Париж на коронацию корсиканского проходимца короной Италии. В состав этой делегации входит человек, служивший первоначально Австрии, шпион и тайный иезуит, некий Нови. Этот человек повез с собой протокол со списками новых организаций масонских лож Италии. Нови требует, чтобы правительство взяло под контроль тайные общества, но не разрушало бы организации карбонариев, а возглавило ее, чтобы в каждой секретной организации, в каждом тайном итальянском обществе главная роль принадлежала лицам, состоящим на службе у его величества. Этим лицам должна быть предоставлена широкая возможность организовывать новые масонские ложи и возмечивать широкое развитие тайных организаций для уловления колеблющейся итальянской молодежи и для выяснения настоящего настроения ее, чтобы вовремя пресекать могущие возникнуть заговоры.

Говоривший сделал перерыв. Все переглянулись: весть была тревожная. Нови — каноник генуэзского собора, он переехал в Милан, говорили, что он тайный иезуит, но он выказал себя приверженцем французских властей...

— Как же это может быть, — заговорил кто-то, — чтобы человек, принадлежащий к иезуитскому ордену, предста-

вил такую записку императору французов? Да и примет ли Наполеон какого-то каноника из Генуи?

— Примет! — сказал докладчик. — К этому сейчас я и перехожу. Прежде всего обратите внимание на то, что наши главные враги, иезуиты, давно уже применяют гораздо более тонкие способы тайного соединения людей.

— Нет, Паскарелли, нет, — резко ответил молодой голос. — Наша организация гораздо более древняя, ее родоначальники ведут свое происхождение...

— Знаю, — перебил доктор Паскарелли. — Меня интересуют не ребяческие рассказы, а серьезное дело. Я хочу сказать, что в ту пору, когда французские купцы начали торговлю с Китаем через Левант, французские миссионеры взяли за обращение в католичество наиболее знатного китайского населения, и для этой цели до сотни старинных китайских обрядов было допущено в качестве законных и разрешенных католической церковью. Как вам известно, духовник Людовика Четырнадцатого, отец Мишель Телье, был автором знаменитой книги о культуре Конфуция. Он причислил этого китайского философа к лику святых католической церкви и тем спас положение в городах, где иезуиты крепко запустили свои когти. Припомните, как эти люди печатали в наших типографиях портреты Игнатия Лойолы и изображения римского первосвященника. Оба портрета сделаны так, как будто их рисовали китайцы. У папы и у основателя ордена иезуитов — раскосые глаза и длинные свисающие усы. Теперь, после конкордата, может оказаться, что Наполеон будет причислен к лику святых и изображен в виде прямого ученика и даже родного брата Игнатия Лойолы. Я считаю положение серьезным.

К этому времени Италия насчитывала уже около трехсот тысяч карбонариев во всех слоях населения. Известие о готовящемся плане иезуитов крайне обеспокоило слушавших доклад доктора Паскарелли. Восемь человек, собравшихся здесь, уже прикидывали с тревогой, кто же явится к ним под видом добрых друзей и приверженцев масонского карбонаризма. Правда, еще не настало время, когда собравшиеся ради дела революции настороженно будут глядеть друг другу в глаза, каждый подозревая соседа в предательстве. Но огромного успеха иезуиты достигли уже и тем, что пущен слух о возможности предательства в организации. Это создает тревогу, и как бы ни была выкована железная воля подпольщика, эта тревога является лишним добавлением к тяжести его революционного долга.

Одним из этих восьми человек был скрипач Никколо

Паганини. Что делать ему в этом странном обществе? Какое отношение его искусство имеет к искусству подпольной революционной борьбы? Но вот синьоры Буратти и Конфалоньери выступили с предложением, которое показало, что все было в достаточной степени обдуманно и взвешено. Они обратились к венераблю, синьору Паскарелли, с указанием на то, что синьор Фосколо недолго еще пробудет в Италии, что после этого года ему предстоит ряд лет прожить в Швейцарии, а быть может, судьба перекинет его еще дальше, ему придется жить на Британских островах, где он поможет итальянскому банкиру, являющемуся членом общества, сноситься с братьями на территории Апеннинского полуострова. Выбывает тот, кто отличался наибольшей подвижностью и чьи путешествия всегда оказывались так полезны. Кто из оставшихся может теперь путешествовать из города в город, не возбуждая подозрений, кому открыты двери дворцов и богатых домов, кому обеспечена возможность открыто выступать перед массой людей, выбрать трех-четыре собеседников, которые под видом делегации от города смогут легко установить связь с любой городской группой любого города Италии? Конечно, скрипач с знаменитым именем, профессия которого требует переездов из города в город, открытых выступлений и общения со множеством людей всякого сословия. Так как он сам захотел соединить два искусства в одном, так как он свое великое служение музыке посвятил итальянскому народу, то мы должны дать ему наше братское поручение в ответ на его братскую клятву. Когда понадобится, синьор Паганини может выступить под чужой фамилией. Там, где его не знают как скрипача, он будет иметь полную возможность и не быть синьором Паганини.

Глава восемнадцатая

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Прошел год со времени миланской встречи. По всей Италии гремело имя знаменитого скрипача. В Риме каждый концерт увеличивал число страстных почитателей его таланта.

И к чести карбонарской организации надо сказать, что никто из тысяч людей, отдававших дань восхищения ему как скрипачу и не посвященных в тайну его двойной жизни, не подозревал, что этого человека часто можно видеть пробирающимся вечерами к холму Пинчьо, месту, где проходили конспиративные встречи новых друзей Паганини.

Однажды он возвращался с очередного сбора. Речи товарищей еще звучали у него в ушах, их мысли еще возбуждали и волновали его мозг.

Тихо угасал день, и разгоралась над городом заря; был тот особый римский вечер, розовато-пурпурный и сизый, когда поднимающаяся над городом вечерняя тончайшая пыль золотится под косыми лучами солнца. Паганини смотрел туда, где в сизой дымке возвышается Капитолий. Он увидел на дальней площадке красных драгун на белых лошадях, голубых гусар с золотыми киверами. Красные, голубые, зеленые, желтые пятна проходили в дымке римского вечера, словно нарисованные тончайшими водяными красками. Прозрачные, легкие, призрачные, как водоросли, эти цветные расплывчатые пятна двигались и проходили. Паганини любил, поднявшись на гребень крутой горы, смотреть на обломки древнего Рима. Три колонны на Форуме, развалины палатинских домов, дальше — огромная триумфальная арка, сосна рядом с нею и позолоченные вечерним солнцем тяжелые очертания Колизея. Где-то совсем вдаль, за грудами камней, к которым прилепились домишки римской бедноты, синели Сабинские горы. Рим — это слово всегда вызывало трепетное волнение в душе Паганини, а сейчас разговор с друзьями, проникновенные слова молодого карбонария Россетти наполнили его душу новым вдохновением.

Он шел, глядя на крыши домов, следя за полетом голубей в высоком и чистом небе. Слова Россетти о том, что они, карбонарии, образовали союз новых аргонавтов, что им предстоит большой и опасный путь, прежде чем они добудут золотое руно человеческого счастья и свободы Италии, рождали в нем целый рой образов.

Конфалоньери и свирепый прямолинейный Конобьянко казались ему гениями новой эпохи, себя он видел Орфеем на борту таинственного корабля «Арго». Видение солнечной золотой Колхиды, новой свободной Италии, вдохновляло их на борьбу. Конфалоньери был Язоном. Италия в победах должна была вырвать у Наполеона драконовы зубы. Новый Язон рассеет их по всей Италии, и как в далекой Колхиде аргонавтов из этих посеянных в землю зубов дракона рождались воины, так и здесь возникнут новые и новые сонмы вооруженных борцов за счастье Италии.

Вечерняя роса блестела на траве, и внезапно Паганини охватило неприятное ощущение сырости воздуха. Заблестевшая роса показалась ему всходами стальных копий.

Стальная щетина быстро покрыла поле, потом появились каски и шлемы, за ними поднялись из-под земли головы в плечи — и вот люди, вооруженные с головы до ног, с мечами, щитами и копьями, задвигались, загремели оружием так, что от грома их поступи застонала и закричала земля.

«Новый век родился в крови и железе», — писал Уго Фосколо. Наступала эпоха больших боев.

Около гробницы Цецилии Метеллы Паганини свернул с дороги и направился к кустарникам. Наклонившись к земле, он топнул ногой и медленно стал отваливать каменную плиту. Заспанный черноволосый человек встретил его, спросил условный девиз и снова завалил ход.

Паганини, усталый от дневных тревог, лег на соломенный матрац, зажег старинный масляный ночник. Из ниши, украшенной изображением доброго пастыря с овцой на шее, он достал листки нотной бумаги. В эту ночь он кончил карбонарскую сюиту «Посев Язона».

В Риме, на карнавале, был единственный раз сыгран этот шедевр. В Риме, на карнавале, Паганини впервые понял, что он достиг совершенства. Каждое выступление до сих пор было ступенью исполинской лестницы. И вот, наконец, он стоит на вершине, — неслыханно трудный путь, наконец, позади.

Вся последующая жизнь рисовалась теперь Паганини как жизнь человека, высоко поднявшегося над обычным уровнем. Выступления становились для него жертвоприношениями жреца, постигшего отсутствие тайны в своей религии. Не было трудностей во всей мировой музыке, с которыми он не справился бы. Игра для него приобрела тот двойной смысл, который имеет это слово на языке детей и на языке взрослых, с той только разницей, что, помимо наслаждения от игры как высокого применения скрипичного мастерства перед публикой и помимо игры как легкого и счастливого овладения игрушкой, у него появилась забота, которой он раньше не знал. Он стал учитывать затрату жизненных сил. Выступления не отягощали его, но просто он стал как бы отсчитывать количество энергии, потраченной на каждый концерт. Он уходил с эстрады, не ощущая усталости, но и без того радостного возбуждения, которое всегда сопровождало его концерты в Лукке.

Последний концерт в Риме сопровождался новым триумфом. Он был дан в пятницу, в день, когда католическая церковь запрещает концертные выступления. Паганини пользовался такой благосклонностью людей, имеющих силу

при дворе папы, что, как это ни странно, разрешение было дано, и концерт состоялся. Достаточно оказалось простой просьбы Паганини, заявившего о том, что на следующий день он должен уехать.

Перед концертом у него собрались друзья, которые обыкновенно сопровождали его от гостиницы до зала. Один из его римских друзей говорил ему, что пора приняться за создание большой оперы, такой оперы, в которой скрипка имела бы такое же значение, как человеческий голос, и что первую оперу Паганини должен написать, несомненно, в Риме. Паганини удивился: почему в Риме?

— Опера, которая пишется по заказу какого-нибудь города, должна быть написана в этом городе,— заявил собеседник.— Вспомните великого Чимарозу: он всегда писал оперу в том городе, который эту оперу ставил.

— Да, но я собираюсь уезжать,— сказал Паганини,— и вряд ли когда-нибудь возьмусь за писание опер.

— Во всяком случае,— сказал собеседник,— вот вам наши пожелания: здесь и тема, и заказ.

Он вручил Паганини несколько нотных листов. Паганини смотрел с удивлением на этого человека. Около канделябра стояли двое других собеседников и маленькими глотками пили кофе. Паганини взглянул на врученную ему бумагу и быстро закрыл листы. Его знакомый шепнул ему:

— За этим заказом придут на первом вашем концерте во Флоренции, не потеряйте.

Потом, как ни в чем не бывало, он продолжал разговор о Чимарозе. Он говорил, что целиком подтвердились сведения об отравлении великого музыканта.

Создатель оперы «Тайный брак» принадлежал к карбонариям и в 1798 году поднял восстание против неаполитанского короля во имя свободы Италии. Ему было почти пятьдесят лет, когда он вступил на попрание неиспытанного королей. Он был схвачен и посажен в тюрьму. Его казнь была бы неизбежна, если бы не пошатнулось в это время положение короля Фердинанда. Боясь огласки и молвы, король решил освободить Чимарозу. В ожидании пересмотра своего дела Чимароза бежал в Россию. Жизнь там, в этой дикой стране, где нельзя появиться на улице без шубы, была для него очень тяжела. Чимароза вернулся в Италию. Королева Каролина решила во что бы то ни стало не допускать Чимарозу в венецианские владения и прибегла к предательскому средству. Четыре капли венецианского яда покончили жизнь великого музыканта в Венеции в 1801 году.

— Так это правда? — воскликнул Паганини.

— Правда. Все лучшие люди Италии приняли участие в нашем движении. Сейчас нет ни одного полка, ни одной роты, ни одного эскадрона, в которых у нас не было бы своих людей.

В это время подошел молодой скрипач Паиззелло. Собеседник Паганини умолк. Паганини приготовил ноты, взял скрипку и вместе с провожатым пошел в концертный зал. Успех был полный. Раскланиваясь, Паганини с ужасом увидел, что двое папских жандармов вошли в зрительный зал и схватили человека, провожавшего его на концерт. Паганини раскланивался, не выпуская из рук нотных тетрадей, свернутых в трубку.

Когда он вернулся домой, он увидел привратника, стоявшего у входа в гостиницу. Привратник стучал большим ключом по ладони и быстро поворачивал ее. Ключ ударял по костяшкам, но, казалось, человек не чувствовал боли. Пронизывающим взглядом он не отрываясь смотрел на Паганини.

В комнате все было в беспорядке. Кто-то рылся, кто-то перерыл все сверху донизу и напрасно пытался скрыть следы своего пребывания, стараясь расставить вещи по местам. Была поздняя ночь. Паганини вдруг почувствовал страх. Он зажег свечу, тщательно запер двери, раскрыл грязную нотную тетрадь и прочитал на листке нотной бумаги, которую вручили ему под видом заказа, список папских шпионов, посланных на работу в карбонарские венты. Документ, вполне достаточный для того, чтобы Паганини очутился в Замке святого ангела.

Надо было бежать, но исчезновение ночью могло вызвать большие подозрения у полиции, и Паганини, взяв себя в руки, решил спокойно дожидаться утра. Однако лег он не раздеваясь. Под утро раздался стук. Паганини привскочил. Скрипнула кровать, и было уже слишком поздно притворяться спящим. Он бросил быстрый взгляд на окно. Оно было закрыто ставнями снаружи. Стук в дверь возобновился. Паганини поднялся, тихо подошел к двери и с бьющимся сердцем стал около нее. «Так кончилась моя музыкальная судьба»,— думал он. Он взял трость, с которой никогда не расставался, повернул головку ее в левую сторону и вынул тонкий длинный четырехгранный стилет. «Жаль, что придется оставить скрипку Гварнери!» Он решил отпереть дверь и быстрым ударом стилета положить себе дорогу, потом бежать. Он не знал еще, куда бежать, но решил, что если он успеет добежать до Испан-

ской лестницы, то звонарь Тринита деи Монти, несомненно, окажет ему приют и укроет его сначала в саду, потом где-нибудь еще. Все эти мысли промелькнули в одну секунду. Вдруг раздался звонкий и сильный голос:

— Синьор, лошади готовы.

Неведомый друг позаботился о скорейшем отъезде Паганини. Громко зевнув, Паганини сказал:

— Я еще не выспался.

Быстрым движением убрав стилет, он открыл дверь. Незнакомый человек предложил ему помочь вынести вещи. «Вот уже арест,— подумал Паганини.— Это, несомненно, шпион».

Скрипка и нотные тетради остались в руках у Паганини. Все остальные вещи были взяты этим непрошеным провожатым. Выйдя, Паганини увидел маленькую коляску, запряженную парой крепких и сильных лошадок.

— Как, мы едем вдвоем? — спросил Паганини.

— Да, синьор, так мне приказано.

Заспанный хозяин гостиницы получил деньги, пожелал Паганини доброго пути и, не тратя лишних слов, ушел к себе.

Во Флоренцию прибыли благополучно. При расставании спутник Паганини оставил ему свой адрес и сказал, что может сопровождать его дальше на север, так как, по видимому, синьор надолго не задержится во Флоренции.

Великая герцогиня Тосканская была на вершине власти, но Паганини сделал новую бестактность: он не появился при дворе, а, как обычно, просто заявил властям о намерении дать в городе концерт. К большому его удивлению, предложение было встречено без энтузиазма, несмотря на то, что во Флоренции Паганини всегда пользовался таким огромным успехом. Ему было указано, что он может рассчитывать на разрешение при условии, что останется на службе у ее высочества. Паганини ответил категорическим отказом. Тогда ему дали понять, что во владениях ее высочества устраивать его концерт неудобно.

Встретившись с друзьями, узнав все флорентинские новости, Паганини был поражен движением наполеоновской армии. До Рима не доходило никаких слухов, там запрещалось печатание газет, там так трепетали перед римским папой и перед французским императором, что трудно было разобрать, где кончается одна власть и где начинается другая.

— Мое положение было тем хуже, что я не признавал ни той, ни другой,— говорил друзьям Паганини.

— ...Однако мне трудно обойтись без концерта во Флоренции,— произнес он под конец, отвечая скорее на собственные мысли. Но эти мысли были поняты старым флорентинским художником Мишателли, который, подойдя к Паганини в упор, сказал ему:

— Я могу помочь вам и без концерта. Приходите ко мне спокойно.

— Как это сделать?

— Приходите ко мне вечером и дайте маленький концерт.

Паганини успел сыграть только сонату «Наполеон». Этого было достаточно, чтобы собрать огромную толпу народа под окнами Мишателли. Потом пришел капитан гвардии,— как нарочно, одетый точно так, как в свое время неосторожно оделся Паганини в тот злополучный вечер, когда он вызвал гнев княгини Баччокки. Капитан приказал синьору Паганини прекратить игру во владениях ее высочества.

Прощаясь с Мишателли, Паганини был остановлен у выхода. Сын Мишателли, офицер наполеоновской армии, лечившийся во Флоренции после ранения, подошел к скрипачу и тихо сказал ему:

— Известно ли вам, что месяц тому назад синьор Франческо Ньекко отравлен в Венеции?

— Как отравлен?! — У Паганини закружилась голова, он должен был схватиться за притолоку, чтобы не упасть.

— Да, есть подозрение в том, что смерть произошла от яда.

— Да расскажите же, как все это было! — воскликнул Паганини.

Но в эту минуту он в слуге синьора Мишателли узнал своего спутника, увезшего его из Рима. С навязчивостью, которая начала пугать Паганини, этот молодец подошел к нему и сказал:

— Синьор, ваши вещи погружены, вот ваш плащ, оденьтесь, иначе будет холодно.

— Я не собирался ехать...

— Надо, синьор,— резко возразил молодой человек. Паганини быстро простился с молодым офицером.

Они выехали на север, по дороге на Парму. Но в Болонье пришлось изменить направление. Какая-то неудачная встреча расстроила до чрезвычайности его провожатого.

Молодой человек, которого звали Лодовико, упорно делал вид, что чинит колесо экипажа. Только с наступлением сумерек выехали на Феррару, пропуская все назначенные для отъезда часы.

Около Поджо Ренатино, едва забрезжил рассвет, Лодовико остановил лошадей. Он сошел с козел, погасил свечи в фонарях, снял нагар, протер стекла, и в полутьме, спугивая дремлющих птиц, путники двинулись дальше. Всю ночь Паганини не спал. Чувство невыносимой тоски охватило его при известии о смерти Ньекко. Так встретил он 1810 год.

В Ферраре Лодовико нашел прекрасное место для остановки. Но при переноске вещей оказалось, что, пока Паганини уходил от экипажа, а Лодовико готовил комнату, воры украли баул и кошелек; осталась только скрипка.

Из этого Паганини заключил, что воры мало понимают в музыке.

— О, быть может, слишком много,— возразил на это Лодовико: — По вашей скрипке легко было бы найти всю шайку.

После этого происшествия решено было дать в Ферраре концерт.

Концертный зал города Феррары был очень охотно предоставлен синьору Паганини. Его имя неоднократно повторялось феррарскими музыкантами и уполномоченными австрийского правительства. Начальник города Феррары, который предполагал, что Паганини — фамилия знаменитого врача, лечившего римского папу, быстро поправился и сказал, что имя синьора Паганини-скрипача ему известно как имя выдающегося музыканта.

Зал был поистине великолепен для музыканта. Паганини радовался возможности играть здесь. Пока он разглядывал устройство зала, внезапно явился импрессарио и заявил, что по распоряжению правителя города в концерте будет участвовать синьора Марколини.

За час до концерта Паганини заехал к певице, чтобы прорепетировать концерт. С первых тактов он почувствовал, что она фальшивит, хотя голос у нее хороший. Четыре раза принимается он играть, и четыре раза на одном и том же такте происходит заминка. Синьора Марколини с жестами торговли из бакалейной лавочки просит Паганини начать снова. Паганини терпеливо начинает сначала.

На пятый раз препятствие преодолено. Наконец репетиция закончена.

Усталый, но успокоенный, Паганини уезжает.

Перед самым началом концерта ему передают, однако, записку от синьоры Марколини. Синьора пишет, что она «ни за что не будет выступать сегодня», причем Паганини узнает, что синьора Марколини — любовница правителя города и сопротивляться ее капризу бесполезно.

Публика уже наполнила зал. Нетерпеливый топот поднимает пыль, застилающую свет огромной люстры.

По совету Лодовико, Паганини садится в экипаж, и они мчатся к синьоре Паллерини. Паганини просит великую мастерицу балета и обладательницу прекрасного голоса выступать в сегодняшнем концерте. Паллерини соглашается. Пока Паганини ждет в экипаже под ее окном, она переодевается, изредка поглядывая сквозь занавески на его сгорбленную птичью фигуру, на голову в большой шляпе, вращающуюся, словно голова хищной птицы. Она снимает с себя будничное платье и, раздевшись, потягивается перед зеркалом, любит себя своим нагим телом, с озорной усмешкой думает о Паганини, одетом, закутанном, ожидающем ее у подъезда. Одевшись, она выходит к нему.

По дороге Паганини опьяняет внезапный прилив веселости при мысли о том, как синьора Марколини будет наказана за свой каприз. Он пожимает руку синьоре Паллерини, она отвечает рукопожатием, за которым следует поцелуй. Синьора Паллерини, артистка балета, глубоко взволнована. Знаменитый скрипач с такой необыкновенно яркой, живой речью, с такими дьявольскими глазами, нравится ей. Она думает о том, как легко он воспламеняется, и с радостью ощущает пульсацию горячей неаполитанской крови в своих жилах. Только остановка экипажа у концертного зала спасает Паганини.

Синьора с ужасом чувствует, что концерт для нее уже не интересен. Она поет беззвучным, вялым голосом, — она не фальшивит, но поет, как бы превращаясь в слушателя, восхищенного неповторимыми звуками скрипки великого артиста. Она смотрит на Паганини, видит этот чужой взгляд музыканта, взгляд сфинкса и колдуна, и внезапно падает без сознания. Раздаются свистки, хохот, шиканье, и весь зал бурно выражает свое негодование.

Распорядитель концерта подходит к Паганини, поддерживающему на руках бесчувственную девушку, и шепчет ему на ухо, что правитель и городские власти чрезвычайно недовольны тем, что синьор Паганини так неучтиво обо-

шелся с певицей Марколини; что необходимо было бы отменить концерт, если первая певица города отказалась в нем участвовать.

— Скажите, какая выручка? — грубо прерывает его Паганини.

Узнав цифру, прикинув, что денег вполне хватит до Венеции, кивает головой.

— Принесите мне деньги сейчас же, или я завтра подам на вас в суд.

Эти слова оказывают магическое действие. Распорядитель поднимает руки и громко объявляет:

— Концерт продолжается.

Паганини отводит синьору Паллерини в комнату, дает ей нюхательную соль, принесенную сердобольным врачом из зала, и, глядя ей волосы, отдавая ее жарким дыханием, говорит ей на ухо:

— Успокойтесь, еще много времени впереди, а пока не наступила ночь, послушайте, что сейчас произойдет.

Схватив лежащий на столе дирижерский жезл, Паганини с бешенством стучит о спинку кресла, пока испуганный антрепренер не прибегает на этот стук.

— Где же деньги?

— Вот они, синьор. Потрудитесь расписаться.

Паганини быстро комкает кучу ассигнаций, сует их в карман, берет скрипку и со спокойным видом выходит на эстраду. Он поднимает смычок, но вдруг поворачивается к публике спиной и, обращаясь к синьоре Паллерини, говорит:

— Подойдите и будьте свидетельницей.

Потом заявляет публике:

— Не всегда же печалиться, надо позволить себе и шутку.

Полилась чудовищная река звуков, в которых сначала ничего нельзя было разобрать. Потом публика услышала скрип колес тележки водовоза и плеск воды из бочки, потом крики погонщика мула и рев осла, потом петушинный крик, громко сзывающий кур, дикий визг собаки, которой лошадь наступила на ногу, завывание кошек, сцепившихся на крыше в весенней битве. Ошеломленные феррарцы слушали эту неистовую композицию. Раздалось несколько смехов, передние ряды заливал хохот.

Но вдруг смычок взвился в воздухе, и последние звуки замерли где-то под сводами лепного потолка. Лишь треск горящих свечей нарушал глубокую тишину. Несколько шагов вперед, и, нагнувшись так, что слышно его сви-

стящее дыхание, Паганини почти над головами первого ряда вскидывает смычок кверху, проводит им по шантрели и потом сразу переходит с шантрели на басок. Публика ясно слышит оскорбительный выкрик скрипки: «*Хи-хан!*», со всеми придыханиями человеческого голоса, со всей выразительностью человеческого презрения. Это повторяется два раза, потом еще три раза, — живой, настоящий крик, тот самый оскорбительный возглас, который на всех дорогах Италии преследует феррарцев. «*Хи-хан*» значит болван, петух; это — старинное прозвище тупоумных, низколобых феррарских идиотов, скупых и скаредных кретинов, умеющих только считать деньги, полуживотных, полулюдей, ничего не знающих, кроме наживы, еды, питья и очередной исповеди у жирного священника. Так писали острые наблюдатели из «*Британского обозрения*».

Паганини еще стоял, держа смычок в воздухе, как вдруг налетел шквал, все вскочили со своих мест, негодующие крики, сломанные стулья, трости, афиши, шляпы — все полетело на сцену. Уходя неторопливой походкой, Паганини задержался у портьеры, отделявшей сцену от комнаты артистов, и смычок снова провизжал эту же самую оскорбительную кличку.

Долго бушевал покинутый зал.

Утром Паллерини, усталая и счастливая, последний раз прижала Паганини к своей груди. А в четыре часа он выехал на север.

Глава девятнадцатая СКИТАНИЯ ОРФЕЯ

Паганини с успехом выступал в Милане. Первые шесть концертов привлекли в город путешественников по Италии, скрипачей из Вены. Они привезли известие о том, что Фердинанд Паер последовал за французским императором Наполеоном в Париж и занял там должность директора итальянского театра. В Милане произошла новая встреча. Ролла, поздоровевший и словно вернувший молодость, играл в миланском театре «*Ла Скала*» и дирижировал оркестром. Он занимал придворную должность, являясь солистом вице-короля Евгения. Ролла принял Паганини с видом человека, обрадованного тем, что его доверие оправдано. Старик смотрел на молодого Паганини как на чудо, как на величайшую драгоценность мира.

Миланские горожане в те дни обсуждали известие о прекращении деятельности всех карбонарских венг на неопределенный срок, до нового созыва. Центр движения ушел куда-то на юг, верховная венга исчезла. Провинциальные ложи приказано было распустить.

Пребывание французов в Милане направило жизнь города в иное русло. Не было и намека на религиозный гнет, но чувствовалась сильная, деспотическая власть Бонапарта.

Между Парижем и Миланом ходила французская почта, и Паганини с интересом следил за музыкальной жизнью французской столицы. Итальянцы Виотти и Керубини, вместе с французом Байо, насаждали итальянскую музыку в Париже. То предприятие, которое когда-то парикмахер Марии-Антуанетты Леонар затеял ради коммерческих целей, организуя приглашение итальянских певцов и музыкантов, теперь, благодаря капиталам, внесенным господином Фейдо де Бру, расширилось и развернулось. Театр Фейдо превратился в арену, где состязались лучшие итальянские певцы и музыканты. Паганини ловил себя на мысли о путешествии во французскую столицу, но решил из осторожности ограничиться пока лишь мечтами об этом.

Паганини понравилась миланская жизнь, и он решил надолго остаться в этом городе. Здесь он не чувствовал той зависти судьбы, которая беспокоила его в Ливорно, в Лукке и во Флоренции. Он выступал, не вызывая вражды. Его концерты не приносили ему баснословных сборов, но и не сопровождались неожиданными сюрпризами. Художник Пазини подарил ему скрипку Страдивари. Таризио, снова приезжавший в Милан, продал ему скрипку Амати. Паганини стал счастливым обладателем трех скрипок величайших мастеров Кремоны. Он приобрел еще два альты, маленькую детскую скрипку работы Страдивари и на этом остановился.

Скульптор Бартолини сделал мраморный бюст скрипача. Бюст был выставлен в одной из зал галереи Брера, и здесь публика, смотревшая на него впервые, произнесла те слова, которые часто потом заменяли Паганини имя, — «Южный колдун». Колдун по-своему откликнулся на это прозвище. Он написал танец колдуньи, который исполнил в театре «Ла Скала» при многотысячном стечении слушателей. Фантастический успех концерта был обусловлен в большой мере магическим и колдовским характером музыки: это как нельзя более соответствовало настроению слушателей.

Растерянные души искали необычайного и стремились избежать столкновений с действительностью, запечатлевая ее образы языком старинных заклинаний, языком магии и вновь возрожденной веры в волшебство.

Это было время, когда неаполитанский король Иоахим Мюрот отправил последние тридцать пять тысяч неаполитанских юношей на север. В белых лосинах, в белых мундирах, в темно-малиновых плащах, эти юные кавалеристы армии Мюрота двинулись на Москву вместе с шурином неаполитанского короля — Наполеоном.

Внутри своего королевства Мюрот начал планомерное преследование организаций итальянской молодежи. Тайная организация при дворе римского первосвященника посылала своих шпионов в карбонарские венги, а Мюрот, разного рода посулами восстановив доверие к себе карбонарских организаций, выведал их состав. В 1811 году он знал их списки, ему необходимо было вырвать сердце карбонарского юга, он искал Конобьянко, а с другими должен был расправиться на севере принц Евгений.

Таким образом, почитатели итальянской свободы оказались между двух огней. Все дальше и дальше на юг уходил Конобьянко в леса Апулии и горы Калабрии, пока, наконец, найдя приют у сельского попа, которого рекомендовали ему мнимые друзья, не был застигнут там и убит пистолетным выстрелом в голову. Но Мюрот недолго торжествовал победу, принц Евгений недолго держался на троне. Летиция Бонапарт была права, когда сберегала каждую простыню, наволочку и каждый носовой платок, стремилась всегда поскорее выручить их даже от прачки. «Что я буду делать с моими детьми и внуками, когда всех этих королей погонят с престолов?» — говорила эта прямолинейная и простая корсиканская женщина, оказавшаяся внезапно матерью большинства королей и принцев Европы.

Выехав из Милана в Турин, Паганини удостоился чести посетить княгиню Полину Боргезе. Тут он встретился с тайным иезуитом князем Боргезе и его сыном, молодым красавцем, только что женившимся на Полине Бонапарт, сестре Наполеона, к которой император французов, говорят, питал совсем не братские чувства. У Полины Бонапарт была странная судьба. Страдая от преступной привязанности родного брата, она вышла замуж за французского генерала, оказавшего помощь Бонапарту в тяжелые дни, когда Бонапарт, тогда еще молодой генерал, должен был разогнать силой Совет пятисот и объявить свою собственную железную диктатуру, вернувшись в Париж после еги-

петского похода и превратившись из коменданта города Парижа в директора, потом в первого консула, потом в императора. Леклерк, супруг Полины Бонапарт, был отправлен на далекие Антильские острова для подавления восстания черного консула, вождя гаитийских негров, Туссена Лувертюра. Там он со своим экспедиционным корпусом и погиб. Негритянская столица была сожжена самими неграми. Полина Бонапарт вернулась и, не желая оставаться в Париже, поселилась теперь в Турине, выйдя замуж за красивого молодого князя Боргезе. Она служила теперь для итальянцев живым напоминанием об экспедиционных неудачах Бонапарта.

Под зноем океанских островов погиб экспедиционный корпус Леклерка, теперь приходили темные слухи о том, что в снегах России погибает экспедиционная армия самого императора. И как на островах негры сожгли свою столицу, так и тут русские сожгли свою Москву. Эти слухи были упорны, и хотя не находили подтверждения, но Паганини видел беспокойство и печаль на лице этой второй сестры Бонапарта, встреченной им на жизненном пути. Однако гораздо больше привлекло внимание Паганини другое женское лицо. Вместе с Паганини выступала певица Антониа Бьянки, и Паганини ловил себя на том, что не может оторвать глаз от этой красавицы.

Когда концерт окончился, Паганини пригласил певицу в Милан для совместных концертных выступлений. Антониа, немного подумав, согласилась. Прикинув оставшееся время, она сказала просто:

— Ангажемент кончается через месяц! Через месяц ждите меня в Милане.

Из Милана в Турин почта шла неисправно. Паганини испытывал неведомое раньше нетерпение. Никогда не было случаев, чтобы так долго ждал он писем.

Он развивает в это время кипучую деятельность. Хотя общества и союзы запрещены, возникает, по инициативе Паганини, музыкальный кружок «Миланский Орфей».

Но происходят в мире очень странные вещи. Французская полиция не обращает никакого внимания на музыкальный кружок, она занята совершенно другим делом. Принц Евгений Богарне отдал распоряжение о прекращении доставки каких бы то ни было северных газет.

Совершенно случайно попал раз Паганини на почту: ноги каждый раз заносили его туда, когда он проходил неподалеку. Так уж устроен человек, что иногда он заходит совсем не туда, куда ему нужно. Он спросил опять

почтового чиновника о письмах из Турина. Из Турина не было, но оказалось, его ожидало письмо из Англии. Удивительно! От кого бы? Писал Джордж Гаррис. Он выезжает из Лондона в Ганновер, чтобы вступить там в должность дипломатического атташе; он просит написать подробно, не согласится ли синьор Паганини на поездку по Европе и не может ли Гаррис встретиться с Южным колдуном, о котором трубят все газеты европейских столиц. Была приложена английская газета. Паганини не читал по-английски, но два слова он понял: падение Наполеона.

О, как злорадствовали англичане, с какой ненавистью к Бонапарту они сообщали о гибели, о полном крушении французского могущества! Как они описывали позорный побег Наполеона в Париж, его отвратительные слова, произнесенные им во дворце, у жарко горящего камина, когда, став сапогом на решетку, император французов сказал: «А все-таки это лучше московского мороза». Старая веселая Англия ожила при этих известиях. Не было больше французской опасности; Англия, нанеся удар французскому могуществу на море, теперь могла не беспокоиться и на суше.

Очевидно, не один Паганини получил это известие. Весь Милан был полон слухами. Шептались по углам и быстро старались разойтись, на улицах было заметно оживление. Но самое большое оживление вызвало это известие во дворце епископа, в монастырских канцеляриях и на улице, где помещался упраздненный монастырь святой Маргариты. Не нынче-завтра там ожидали восстановления жандармского управления губернатора его апостолического величества императора Франца. Гаррис делал тысячи намеков каждым словом. «А в самом деле, где теперь римский папа?» — думал Паганини.

В последнее время святой отец был вывезен в Савону. Его оставили одного, без советников, его заставили подписывать энциклики, буллы и послания, предлагавшие полное повиновение французской власти на всем огромном пространстве, где были верные сыны католической церкви. С нетерпеливой поспешностью, которая только увеличила телесные немощи святейшего отца, римского папу перевезли во Францию, в Фонтенебло, и там был заключен конкордат, который фактически превращал римского первосвященника в послушное орудие французского императора. Вот почему все иезуитские организации, все представители упраздненного ордена Иисуса злорадствовали при известии о злоключениях главы римской церкви. Ими пре-

небрегали, они влачили жалкое существование, без власти, без имущества, без конгрегации, без монастырей, и все-таки их тайная организация существовала, и скоро мог наступить час возмездия. Перед лицом испуганного, занятого тихой наживой мирянина они умело поставили призрак террора, перед лицом итальянских граждан они воздвигали призрак гилотины и усердно напоминали итальянцам об отрубленной голове короля. Но это не помогло. Бонапарт обманул их намерения, он сам сделался императором и нигде не думал водворять республиканский образ правления. Теперь час возмездия настал.

Падение Бонапарта знаменовало собой воскрешение ордена Иисуса. Прошло немного времени, и 24 мая 1814 года папа был снова в Риме. На торжественном молебствии 7 августа римский первосвященник возвестил, что он считал бы себя виновным перед господом в важном преступлении, если бы в это опасное для христианской общины время пренебрег помощью, которую дарует провидение; если бы, поставленный в ладью святого Петра, колеблемую и сотрясаемую постоянными бурями, он отказался воспользоваться сильным и опытным гребцом...

Сильные и опытные гребцы в это время были выгнаны из России, числом триста пятьдесят восемь. Это были самые закаленные в боях жизни иезуиты, во главе с генералом ордена Тадеушем Бжозовским. Они прибыли в Рим и сразу приступили к действию. По директивам генерала ордена они принялись за восстановление разрушенных хозяйств, за откапывание зарытых бочек с золотом, за разработку планов овладения школами и воспитанием детей во всех европейских государствах, за открытое проявление своего тайного могущества. С энергией, накопленной в иезуитском подполье, они решили ударить по обломкам наполеоновской власти в Италии и вместе с тем разрушить все очаги, где только могло бы возникнуть карбонарское движение.

Паганини знал только то, о чем сообщали газеты. Время от времени появлялись в газетах короткие, сухие извещения. Одно из них уведомляло гражданское население Милана о прибытии Наполеона в качестве губернатора на остров Эльбу. Второе больше испугало Паганини: оно сообщало о восстановлении иезуитского ордена. Причем Паганини никак не предполагал, что в числе суждений о влиянии науки и искусства на приверженность итальянского населения к римской церкви окажется и суждение о значении его имени.

Каноник Нови самым серьезным образом доказывал, во-первых, что имя Паганини происходит от слова «раганус» — язычник, или человек, приверженный к почитанию ложных богов; во-вторых, он клятвенно заверял, что настоящий Паганини погиб в тюрьме, а выступающий ныне на концертах в Милане человек — беглый каторжник, у которого все движения изобличают долговременное утомление от стальных цепей, сковывавших ноги. Он показывал портрет беглого, он говорил о том, что остров, где нашел первое прибежище этот человек, скрывшись с каторги, служил местопребыванием одного из сильных, наделенных большою властью уполномоченных ада, и клятвенно заверял, что Паганини за полученную свободу продал душу дьяволу.

Отцы-иезуиты закрыли все французские школы в Италии. Все общества, так или иначе соприкасавшиеся с французской молодежью, с французским искусством, были распущены, и в добавление к ранее осуществленному запрещению прививки оспы иезуиты под страхом тюрьмы запретили такие нововведения в городах, как, например, газовое освещение в Риме, которое они медленно уничтожили.

Римским королем был назван маленький сын Бонапарта; его увезли в Австрию и держали, как в тюрьме, при венском дворе. Дочь австрийского императора, Мария-Луиза, теперь соломенная вдова Бонапарта, получила в камергеры генерала Найпперга, которому сам отец безутешной Марии-Луизы приказал исполнить все желания своей овдовевшей дочери, даже такие, о каких ей трудно будет заговорить самой.

Бывший император, живя на Эльбе, перестал очень скоро получать письма от своей супруги. Еще раз была вспышка, окончившаяся битвой при Ватерлоо. Еще раз Иоахимом Мюратом, превратившимся в обыкновенного селянина, была сделана попытка высадиться с разбойничьей Корсики на берег Неаполитанского залива.

Кардинал Боргезе написал Мюрату письмо о том, что зашатался трон восстановленного во Франции Людовика XVIII Бурбона и что его, Мюрата, ждут друзья.

На берегу Мюрата ждали английский военный суд и представители римской церкви. Суд был короткий. Бывший неаполитанский король на неаполитанском берегу сам командовал солдатам стрелять и был застрелен и похоронен без воинских почестей.

Крутой поворот истории сопровождался в Италии хрустом человеческих костей в дни, когда Паганини собрался выехать из Милана на юг, вдогонку Антонии Бьянки, так и не приехавшей в Милан.

Его путь лежал на Болонью, так как добрые друзья из театра, где за год перед этим выступала синьора Антониа, рассказали Паганини, что молодая красавица должна была ехать именно в Болонью. В городах таким крупным артистам встретиться и найти друг друга было легко.

Старик Пунтильо, баритон, старый исполнитель комических ролей в операх, пронзительным оком оглядывал Паганини. Фрукты, бокалы с недопитым вином, разбросанные вещи — все это свидетельствовало о беспокойстве, несколько большем, нежели полагалось при отъезде.

Старик отвел скрипача в сторону и сказал:

— Вы, по-видимому, ранены сильно. Смотрите, друг мой, когда будете в Неаполе, обратите внимание на спящее мраморное божество в одной из южных комнат княжеского музея. Разве голос вашей синьоры... вашей мадонны, — поправился Пунтильо, — не говорит вам о том, что она имеет все признаки этого двуполого божества?

Паганини стоило большого труда рассмеяться. Он посмотрел в глаза старику. Тот не шутил. Всю дорогу до Болоньи Паганини думал об этих словах. Странное чувство сопровождало эти мысли: это было не отвращение, не страх, это было в странной форме любопытство.

В Болонье синьоры Бьянки не оказалось. Второй неудачей, постигшей Паганини, было то, что опять у него пропал почти весь его багаж. Какое счастье, что, кроме скрипки Гварнери, которая и на этот раз уцелела, вся его коллекция скрипок была оставлена в Милане у синьора Роллы. Там же хранились первые наброски устава будущего «Союза Орфеев». Для того, чтобы поправить дела, необходимо было концерттировать в Болонье. Представился прекрасный случай. Очень молодой композитор, юноша красивый, изящный, по манерам слегка напоминающий француза, а быть может, сознательно подражавший французам, Джоаккино Россини, уроженец города Пезаро, выступил с ним в концерте.

Паганини было тридцать два года, Россини — двадцать два, когда они встретились впервые на концертной эстраде этого счастливого итальянского города, всему предпочитавшего веселье. Перед концертом завязался оживленный разговор во время чтения венецианских газет.

— Ах, Карпани! — воскликнул Паганини. — Вы знаете этого осла с титулом императорского поэта в Милане, почитателя австрийцев и римского папы, бездарного стихотворца, сочинителя опер, которых никто нигде никогда ставить не будет?

Оба, и Россини, и Паганини, с наслаждением перечитывали перебранку Карпани с каким-то французом по поводу биографии умершего за шесть лет перед тем композитора Гайдна. Карпани заявлял: «...Это я присутствовал при болезни Гайдна, а вовсе не этот наглый француз».

— Кто же этот наглый француз? — спрашивает Паганини.

— Какой-то Луи Александр Сезар Бомбэ. Вот имя! В нем забавно соединяются имя представителя бурбонского дома, имя римского императора вместе с именем Александра Македонского. Очевидно, у господина Бомбэ крестные отец и мать обладали сильным монархическим чувством.

В маленькой комнате собрались болонские актеры, музыканты и меломаны. Среди них был француз с желтоватым лицом, офицер наполеоновской армии, господин Анри Бейль, или, как его звали в Милане, синьор Арриго Бейль. Он был в дружбе с Россини, был почитателем музыки и, конечно, принял сторону Карпани. Легко и остроумно он доказал, что господин Бомбэ обворовал скромного лакея австрийского губернатора.

— Но вы говорите так, словно вы защищаете вора, — сказал Паганини.

Синьор Бейль пожал плечами. Разговор перешел на другую тему. Только синьор Бейль знал о своем тождестве с синьором Луи Александром Сезаром Бомбэ, только синьор Бейль, отдыхающий в Милане, Болонье и Венеции после ужасов московского похода и березинской переправы, знал о том, что книга об Иосифе Гайдне и венской музыке вышла из-под его пера и являлась его первым литературным произведением и что во всем, что касалось биографических данных, она целиком была списана с книжки Карпани. Вот почему он так предательски великодушно защищал синьора Карпани перед лицом двух музыкантов, которым гораздо больше нравилась редакция биографии Гайдна, сделанная господином Бомбэ.

Пока собирался оркестр, синьор Бейль прошел в партер. Он взял записную книжку из тончайшей барселонской голубой бумаги и записал наряду с мыслями о знании Средиземья, которое считал колыбелью мира, свои

впечатления о Россини. «Какой удивительный музыкант Россини!.. Быть может, Россини будет новым Чимарозой», — писал Бейль-Стендаль.

Концерт прошел с огромным успехом. Болонцы были тонкими ценителями музыки, и этот день остался в их памяти как незабываемый праздник.

Прошло несколько вечеров в дружеских беседах, в прогулках. Артистка Герарди, высказывая суждение о музыке Россини, говорила, что Россини в наиболее красивых лирических местах делает отступления от правил музыкального правописания. Синьор Бейль вставляет замечание, он вспоминает, что, когда графу Риваролю доказывали, что Вольтер делает погрешности против орфографии, Ривароль отвечал: «Тем хуже для орфографии».

— Вы все — якобинцы, — говорила Герарди, обращаясь к Россини, Бейлю и Паганини, — вас испортила революция.

На это не последовало ответа, каждый думал об этом по-своему. Меньше всего считал себя революционером Россини, Паганини вздрогнул и вспомнил о наступившем «силануме» — *о многолетнем молчании конспиративных организаций.*

Прошла неделя. Паганини получил возможность двигаться дальше. В Болонье было трудно наводить справки, необходимые для поисков беглянки.

Внезапно странная усталость охватила Паганини после болонских концертов. Он резко изменил намеченный маршрут и через неделю высадился на набережной Венеции.

Моросил дождь, легкой дымкой были покрыты дома; дворцы из розового, белого, голубого мрамора сливались в белесоватые пятна. Мелководная темная лагуна, плесень на фундаменте, запах водорослей и гнилой воды — все это неприятно поразило Паганини, как только большая черная ладья подплыла к гостинице «Луна». Старый нищий в ломотях крюком придержал борт гондолы и тотчас потребовал денег. Человек в кожаном фартуке внес вещи в нетопленный номер. На стенах были пятна сырости, штукатурка позолоченного потолка обвалилась, окно было разбито, громадный полог над кроватью был покрыт пылью и паутиной.

Плоские берега, на них — пережившие свое время небогаемые дома, скудная растительность, скорей похожая на пятна водорослей, на каменных фундаментах, уходящих

под воду. Лица работниц со стекольных фабрик бледны, как воск, они кажутся лицами мумий.

В первый день — чувство невыносимой тяжести на душе, усталость и стремление к покою. Первоначальная потребность немедленно выехать обратно на юг, чтобы видеть солнце, сменилась желанием, предательским и тайным, просто отдохнуть, не глядя ни на что; закутавшись, уснуть под этим пологом, выпив фьяску красного ломбардского вина. После того как прошел сон, появилось желание увидеть Венецию при солнце. Дождь кончился, сквозь белые облака смотрело серебряное, как старинное зеркало, солнце. Спящие каналы отражали перевернутые в них дворцы, удивительные храмы и толпящиеся у берега здания, балюстрады и лестницы, опускающиеся в зелено-синюю глубину.

Первая бесцельная прогулка затянулась невероятно. Четыре раза миновав мост Фонтего, Паганини вышел на него в пятый раз в поисках дороги назад. Ни одного встречного, ни одного путника, мертвая тишина. И тем не менее уже на следующий день Паганини почувствовал притягательную силу этого города. Он ощутил ее еще больше, когда впервые давал концерт в больших залах синьора Пальфи, слабо освещенных канделябрами и, однако, пылающих светом, отраженным и сотнями зеркал, и белым полированным полом, и серебряными украшениями алебастрового потолка.

Год провел Паганини в Венеции. Медленно и не без боли возвращался он к действительности после этого похожего на сновидение года. У него было странное увлечение: в библиотеке святого Марка он с наслаждением читал мифологические поэмы Паллефата, «Сказание о необыкновенных событиях». Его поразили прочитанные впервые «Метаморфозы» Овидия; переход живых существ в новые формы, омертвление живого и оживление мертвого увлекли его фантазию в область особых восприятий действительности, когда вечерний венецианский туман казался ему принимающим формы и очертания городов, когда сама каменная Венеция над водами таяла, как облака, и становилась словно каким-то видением. Музыка, застывшая в странных ритмах, венецианская архитектура барокко, самая причудливая игра строительных стилей прошлого столетия — все это сопоставлялось фантазией скрипача с дивным творением Овидия.

Постепенно Венеция стала ощущаться как царство тей, и вода стала превращаться в воду забвения.

Миф о превращениях заставлял мысли Паганини скользить по какому-то краю фантастики, там, где она переходит в безумие. Он ловил себя на странной игре воображения, когда пропадала разница между голосом скрипичных струн и голосом синьоры Антонии, когда скрипка превращалась в женщину и женщина превращалась в скрипку. И он сам, основатель союза миланских Орфеев, во что превратился он здесь, в этом царстве теней,— в человека, отдавшего свою душу поискам Эвридики в Аиде.

Глава двадцатая В ПОИСКАХ ЭВРИДИКИ

Исходным пунктом в поисках утраченного счастья Паганини, как опытный стратег и военачальник, назначил Турин. На четвертый день после отъезда из Венеции все тайны и расплывчатые образы исчезли. Он искал совершенно реальную Антонию Бьянки и бранил себя за целый год, потраченный им в Венеции. Здоровье его окрепло, и чувствовал он себя прекрасно. В Турине он дал целый ряд блестящих концертов.

Снова друзья Антонии Бьянки говорили о ее выезде в Болонью.

Снова Болонья, и снова, как тогда, встреча с Россини. Россини написал сладкозвучную оперу «Армида», «Золушка» закончена им, «Матильда ди Шабран» будет ставиться в Риме. Вместе с Россини Паганини собирался ехать в Вечный город.

Вот уже поданы экипажи, вот уже в маленькой болонской кофейне последняя чашка кофе перед дорогой. И вдруг два усатых жандарма кладут руки на плечи Паганини и грубо надевают кандалы ему на руки. Посетители кофейни мгновенно разбегаются, в окна заглядывают любопытные. Паганини, онемевший от ужаса, переходит от ярости к недоумению, от недоумения к бешенству. Улица запружена народом. Жандармы показывают Россини портрет и приметы. С каторги бежал преступник,— вот он.

— Что вы лжете, негодяи! — кричит Россини. — Какой это каторжник! Это великий скрипач Паганини, слава нашего отечества!

— Вы говорите «отечества», — прерывает музыканта жандармский офицер. — Ваше отечество — это монархия его величества императора Франца-Иосифа.

— Наше отечество — Италия! — кричит Россини и ударяет кулаком по столу.

Мгновение, и все успокаивается. Приходит подеста, недоразумение улаживается. Синьор Паганини получает свободу, жандармы извиняются.

— Но как он похож на этого каторжника! — говорят друг другу официанты в кофейне. — Ведь это же совершенно одно лицо.

Качая головами, обменялись взглядами содержатель кофейни со своей супругой.

В Риме Паганини с увлечением принял участие в постановке «Золушки». Необыкновенная сладость, насыщенность и стройность пенистых и искристых звуков Россини настолько подкупали Паганини, что он однажды, крепко обняв молодого друга, со смехом рассказал ему свою историю. Это тоже история «Золушки», история нелюбимого сына в семье, мальчика, пробившего себе дорогу к славе.

Гораздо сложнее пошло дело с постановкой в Риме «Севильского цирюльника». Бомарше был хорош в свое время, но он имел неосторожность осмелеть представителей ордена Иисуса. Если во времена последнего версальского короля автор едва не попал в тюрьму вследствие того, что духовник Людовика XVI выпросил у короля, игравшего в карты, приказ об аресте Бомарше, то теперь в Риме едва не произошла подобная история с человеком, осмелившимся написать музыку на тему «Севильского цирюльника». Казалось, какой-то тайный приказ мобилизовал всех аббатов города Рима.

Началось с того, что маляр вылил на парадный камзол Россини ведро желтой краски. Перед поднятием занавеса Паганини вручил своему другу смешной вигоневый костюм, висевший на композиторе, как на палке. Бежали минуты, оркестр был в сборе. Россини засучивал чрезмерно длинные рукава, а Паганини тем временем с ужасом наблюдал за переполненным партером Арджентинского театра. Казалось, весь театр был наполнен аббатами. Казалось, тесно сплоченная фаланга попов и монахов двигалась в атаку на несчастного композитора, не ожидавшего нападения.

Гарчия, певший Альмавиву, легкомысленно пил вино прямо из горлышка бутылки. Замбони, певший Фигаро, не мог найти свою мандолину. Вот Россини показывается в театре, его первые движения не привлекают внимания публики, но он всходит, как на эшафот, по ступенькам дирижерского пюльта, и дружный хохот всего театра встречает изуродованную костюмом фигуру композитора. Подняв

руку, Россини приглашает оркестр начать, театр замолкает, звуки наполняют театр. Но вот появляется Гарчия под окнами Розины, оркестр замолкает. Альмавива начинает петь, и после первого аккорда с жалобным зудящим звоном лопаются все струны гитары. Минутное молчание сменяется хриплым смехом и криком в партере. Иронические рукоплескания чередуются с бранью. Наконец чья-то милосердная рука из-за кулис протягивает растерянному Гарчия новую гитару. В следующем акте та же история повторяется с мандолиной синьора Замбони. Та же рука подает ему новую мандолину.

В антракте Паганини едва успевает уговорить полумертвого Россини собраться с силами и довести спектакль до конца. Следующий акт начинается хорошо. Россини приходит в себя и весь отдается вдохновенной работе дирижера. Наступает момент, когда уродливый монах дон Базилио должен петь арию «Клевета». Певец отступает в угол сцены, не замечая, что коварные руки протянули тонкую бечеву на уровне его колен. Он спотыкается и падает носом на клавишину. Кровь льется ручьями по его белому воротничку. Несчастный актер вытирает лицо полою длинной ряссы. Партер приходит в неистовство. Римское духовенство, как жрецы в цирке Нерона, поднимает грозный крик. Веселые уличные мальчишки внезапно врываются в театр со свистом и криком. Окровавленный монах, шатаясь, уходит со сцены, и, в ужасе спрыгнув с пульта, не помня себя, бежит домой автор сорванной оперы. Оркестр разбегается. Аббаты, дьяконы, каноники и церковные певчие с довольными лицами выходят из театра. Они отомстили Россини.

Проходит несколько дней. Паганини сидит у своего друга. Россини не хочет верить, что дирекция «Арджентины» упорно продолжает ставить «Севильского цирюльника» ежедневно, что опера дает полные сборы. Он с повязанной головой лежит у себя в комнате.

Однажды в полночь Россини был разбужен шумом на улице. Шум все приближался к окнам его комнаты. Испуганный музыкант поднял голову и окликнул Паганини. Скрипач не отозвался. Россини с ужасом услышал, как шумящая толпа выкликает его имя: «Россини! Россини!» Музыкант поспешно оделся и открыл дверь в комнату друга. Паганини не было. Кровать стояла нераскрытой. Россини бросился к себе в комнату и спрятался под диван. «Это аббаты,— подумал он,— сейчас меня будут бить». В эту минуту раздались шаги по лестнице. Вот уже стучат в дверь. Вот уже грубые, веселые голоса требуют, чтобы

он открыл. Россини молчит. Высунув голову из-под дивана, он с ужасом смотрит на дверь. Слабая дверь подается под ударами могучих кулаков, и внезапно в квадратное отверстие у самого пола, прорубленное для кошки, просовывается свирепая рыжая голова, и громкий голос произносит:

— Россини, проснись! Триумфатор, проснись!

Глаза говорящего внезапно останавливаются на голове Россини, торчащей из-под дивана. Рыжий человек отскакивает от двери. Раздается дружный хохот. Россини быстро вылезает из-под дивана, стряхивает с себя пыль, и приняв вид заспавшегося человека, отпирает дверь. Выходит в коридор. Толпа мгновенно затихает. Четыре человека отделяются от толпы, и один от лица всех произносит приветствие, поздравляя Россини с необыкновенным успехом его «Цирюльника». Россини овладел собой. Он поклонился со спокойным достоинством. Но у толпы неожиданных друзей была своя программа действий. Они пришли из театра прямо после спектакля. Они наполнили всю улицу светом горящих факелов. Они схватили Россини и на руках понесли его в трактир с забавным названием «Est Est Est». Римское пиршество в честь Россини продолжалось три дня.

И когда это чествование кончилось, Паганини мог с легким сердцем оставить своего друга в Риме.

Перед его отъездом Россини молча протянул ему газетный листок.

В Венеции Паганини давал один из лучших своих концертов. Старый, почтенный скрипач Шпор гостил в Венеции. Газетная заметка содержала статью Шпора, посвященную скрипке Паганини.

— Да, я был у Шпора,— ответил Паганини на вопрос Россини,— я провел у него целое утро. Мне казалось естественным завязывать связи с людьми музыкальной профессии. Я был у него после выезда в Триест. Мне хотелось отдохнуть от венецианских впечатлений и от того усыпляющего действия, которое оказывала на меня Венеция все время.

Паганини читал:

«Сегодня рано утром Паганини посетил меня, и таким образом я, наконец, имел случай познакомиться лично с этим легендарным человеком, о котором с тех пор, как я переехал границу Италии, мне рассказывают ежедневно невероятные истории. Им восхищается вся Италия. Несмотря на то, что концерты такого порядка обычно у нас в Европе не привлекают большого количества публики, оказывается, Паганини слушают охотно, и даже дюжина его концертов дает полный сбор. Я осведомлялся подробно,

чем же, собственно, такой скрипач, как Паганини, может очаровывать публику, и обычно получал ответы, изобличающие людей, невежественных в музыке. Начинаются восторги, его иначе не называют, как магом, волшебником, творцом звуков, которых будто бы никогда прежде не рождала скрипка. Вот буквально слова широкой публики об игре Паганини. Специалисты же музыкально образованные, хотя и не отрицают ловкости рук этого скрипача, но свидетельствуют, что именно то, чем он взялся поразить публику, и должно унизить его, низведя синьора Паганини на степень заурядного шарлатана, и никоим образом не вознаграждает за его недостатки, а именно — отсутствие большого, широкого тона и музыкально развитого вкуса при передаче кантилены. Все это не больше, чем прелести старого провинциального фокусника Германии — Шелера.

Паганини своим нелюбезным и грубым обращением превратил многих из здешних любителей музыки в своих личных врагов, и эти последние, после того как я сыграл кое-что у себя на квартире, превозносят меня при каждом удобном случае, чтобы досадить этому самохвалу Паганини. Это несправедливо, нельзя даже сравнивать меня и Паганини. Да кроме того, мне это вредно, потому что все восторженные почитатели Паганини становятся моими врагами. Недоброжелатели Паганини выпустили в газетах заметку о том, что будто бы я воскресил у них в Италии чарующую несравненную классическую игру старой школы, которую культивировали, в отличие от Паганини, подлинныя, настоящие итальянские скрипачи — Пуньяни, Тартини, Корелли и др. Эта статья, помещенная в газете без моего ведома, появившаяся в сегодняшнем номере, скорей послужит мне во вред, а не на пользу, ибо венецианцы и широкая публика, к сожалению, тверды в своем мнении о недосыгаемости Паганини».

Паганини опустил газету.

— Но ведь Шпор меня ни разу не слышал, он ведь не был ни на одном моем концерте!

— А ты был на его концертах? — спросил Россини.

— Нет, — ответил Паганини. — Германская музыкальная знаменитость, приехав в Венецию, не дала ни одного концерта.

— И ты не знаешь, почему? — спросил Россини.

Паганини пожал плечами.

— Да, — сказал Россини, — вид у тебя вполне искренний, но знаешь, что мне досадно: ты загородил дорогу Шпору, который лишь немного старше тебя годами. При

тебе ему нельзя было выступать в Венеции: без тебя его покрыли бы лаврами и рукоплесканиями, при тебе он не мог даже появиться на эстраде. Маэстро, вы не знаете, до какой степени движение вашего таланта по нашей грешной земле сжигает все на своем пути.

— Но какие слова! — сказал Паганини. — Странно, все, что я слышал о Шпоре, говорило о нем как о человеке честном. У него была, правда, германская напыщенность, но это выступление в газете — поступок бесчестный и бессильный. Хорошо, что я не читал венецианских газет, я был погружен в чтение героических историков и мифографов. Я читал латинских поэтов. Ты знаешь, я вдруг сейчас вспомнил, что забыл тебе сказать о появлении одного замечательного поэта. Это — английский лорд, путешествующий по Востоку...

— Байрон, — прервал его Россини. — Слышал. Он сейчас живет в Милане.

Внезапно лицо Паганини сделалось суровым.

— Меня тревожит случай в Болонье, — сказал он. — Ведь это действительно мой портрет.

Россини вздрогнул, пристально посмотрел в глаза своему другу. Он вспомнил все, что сам слышал о тайной жизни Паганини: Паганини называли человеком двойного бытия, о нем говорили как об опасном карбонарии, как о враге церкви. Россини всегда доверял только своим впечатлениям, но ведь жизнь полна сюрпризов.

Вскоре Паганини натолкнулся на новое проявление открытого недоброжелательства. Когда он снова приехал в Милан и был избран председателем «Союза Орфеев», французский скрипач Лафон выразил желание вступить в союз. Они познакомились. Французский скрипач был без ума от Крейцера и в первой же беседе выразил свое восхищение этим музыкантом.

— Какого Крейцера вы любите? — спросил Паганини. — Ведь их два.

— Совершенно верно, оба родные братья. Родольф и Огюст, оба родились в Версале, оба сейчас в Париже. Моим учителем является скрипач Огюст Крейцер, а моим почитаемым композитором — Родольф Крейцер, тот самый, которому Бетховен посвятил свою скрипичную сонату.

Паганини кивнул головой.

...Вскоре в миланских газетах появилась анонимная заметка, говорящая о разительном превосходстве французского скрипача над прославленным председателем «Союза Орфеев». «...Несомненно, первые звуки скрипки господина

Лафона прогонят, как ночного нетопыря, этого лемура со скрипкой, заразившего все наши города очарованием безумия», — писала газета.

— Однако! Что вы на это скажете? — спросил Лафон при встрече. — Я готов принять этот вызов. Но скажите, кто из ваших друзей написал эту заметку?

Паганини нахмурился, лицо его стало грустным. Он остановил Лафона:

— Вы ставите дело так, что я начну подозревать ваших друзей... Итак, что же мы будем играть, если мы выступим вместе на концерте?

— Давайте играть сонату, которую сам Крейцер играл вместе со знаменитым Родэ.

Не откладывая приготовлений, назначили выступление через неделю.

Паганини вел себя легкомысленно. Он выезжал за город слушать в деревне «эхо Симонетты», наблюдал там за черноволосым, слегка прихрамывающим человеком с необыкновенно красивым лицом и черными огромными глазами, который с большим постоянством предавался странному развлечению. Лакей приносил на серебряном подносе пистолет, и его господин стрелял в воздух. Тысячекратное эхо повторяло эти выстрелы.

— Английский лорд забавляется, — сказал однажды какой-то незнакомец и указал в ту сторону, куда смотрел Паганини. — Это лорд Байрон.

Иначе проводил время господин Лафон. Куда исчезла французская легкость характера, обычно отличавшая этого исключительного скрипача и человека большой удачи! Он наводил справки у прислуги, он посылал в гостиницу кельнера-австрийца, который выводывал, сколько часов в день играет синьор Паганини. Нисколько, Паганини вообще не играет. Можно с уверенностью сказать, что местные миланские врачи нашли у синьора Паганини очень странную форму нервической лихорадки. Каждое выступление причиняет ему физическую боль, дома он никогда, никогда не берет в руки скрипки. Лафон начинал чувствовать робость.

Но вот, наконец, наступил день концерта.

Съехались самые крупные хроникеры европейских газет, антрепренеры венских театров, музыкальные комиссионеры, кормящиеся чужим талантом, и кучка любопытных паразитов, которым одинаково дороги и промахи, и удача гения, лишь бы кормиться крохами с его стола, лишь бы состряпать шестьдесят строчек хроники, лишь бы, нагло

развивав галстук, с дерзким видом поговорить о том, что гений оказался не на высоте своего положения, и хоть в воображении, хоть на минуту почувствовать себя высоко стоящими над Паганини.

С тяжелым чувством Паганини вошел в комнату для актеров.

Веселый, чудаковатый скрипач с длинными волосами, одетый в серый полукамышол, серые полосатые чулки и серые туфли, в красных панталонах, и, как это ни странно, с орденом Почетного легиона в петлице, со словами приветствия пошел навстречу своему противнику.

Первым играл Паганини. Он забыл о состязании, играя, как всегда, с колоссальным напряжением сил и с той внешней легкостью, которая поражала и очаровывала слушателей. Но он играл элегическую, простую скрипичную пьесу Корелли. Выбор такой простой вещи для состязания оставил слушателей в недоумении, граничащем с равнодушием. Вышел Лафон. Паганини слушает его с восторгом. Глубина и изящество его исполнения все больше и больше завоевывают симпатии слушателей. Зал оглашается рукоплесканиями, публика, враждебно настроенная к Паганини неистовствует. Весь зал насторожился, целые ряды публики встали. Следующая пьеса Паганини вызывает живую реакцию его итальянских почитателей: к ним присоединяются приехавшие венцы. Острая и едкая музыка Паганини сопровождается бурей аплодисментов одной партии и взрывом негодования другой. Зал превращается в поле сражения. Слышатся голоса: «Паганини сдается!»

Во втором отделении темпераментный француз начинает подавлять итальянского скрипача неожиданным проявлением виртуозности. На третьей пьесе француз почти торжествует, но приходит очередь четвертой, пятой, и вот, наконец, шестая — соната Крейцера. Что случилось с Лафоном? Он играет вяло, публика почти не чувствует его игры, дружный смех раздается в райке. Но вот выходит Паганини и играет ту же сонату.

Наступает такая жуткая тишина, что удары сердца слышит каждый. Сердце мешает слушать скрипача, руки прижимаются к груди, дыхание останавливается; и вдруг после ферматы весь зал понимает этот ловкий маневр гимнаста, боксера, гладиатора, уступившего противнику все позиции перед наступлением решающего момента, и чем сильнее было первоначально кажущееся поражение Паганини, тем ярче выступило его полное превосходство. Паганини стоял молча, широко раскинув руки, держа скрипку

и смычок в левой руке,— с таким видом, как будто отдавал себя на суд всех слушавших его.

Старая римская манера опускать большой палец и кричать «Долой!» внезапно нашла свое новое применение в этом состязании. К чистому наслаждению большим и высоким искусством вдруг примешался итальянский патриотизм. Забывая учтивость, итальянские граждане кричали: «Да здравствует Италия! Да здравствует Паганини! Да здравствует первая скрипка мира! Evviva Maestro insuperato».

Присутствующий на концерте австрийский офицер хмурится. Он машет рукой капельдинеру, он вызывает наряд австрийской полиции и указывает на ложу, где сидят монсеньор Лодовико Брем, синьор Федерико Конфалоньери, с ним рядом его маленький секретарь Сильвио Пеллико и поэт Монти. Это отсюда раздался крик: «Да здравствует Италия!»

Сцена быстро меняется. Оба — и француз, и итальянец — большими шагами направляются друг к другу с протянутыми руками. Француз протягивает руку Паганини. Противники обнимаются и под руку выходят на авансцену. Теперь трудно понять, к кому относятся овации. После десятого выхода на авансцену закрывается занавес.

Импресарио бегаёт около Паганини, направляющегося с эстрады в глубь артистической комнаты, и что-то старается ему шепнуть. Паганини даже не замечает его, потом презрительно бросает: «Нет» — и исчезает.

Француз получает удвоенный гонорар, обеспечивающий ему годичное путешествие по Европе.

Поиски Эвридики были безуспешны. Ее не было ни в Турине, ни в Милане, ни в Болонье. Прошел месяц. Случайно на улице в Милане двое прохожих в разговоре упомянули имя Бьянки и Флоренцию. Быть может, речь шла о синьоре Федерико Бьянки, быть может, речь шла о синьоре Альбертине Бьянки, быть может, речь шла о флорентинском торговце мясом на Via Ricasoli, толстом и краснощекком синьоре Бьянки. Паганини не спрашивал. Утром он отправился во Флоренцию.

Там в это время давал концерты польский скрипач Липинский. Два скрипача после дружеской встречи устроили два общих концерта. Потом Паганини уговорил Липинского поехать вместе в Пьяченцу и в Геную.

¹ Да здравствует непревзойденный маэстро! (итал.)

Разговаривая о музыке, о том, что тогда занимало музыкальный мир, они не раз касались спора, возникшего в Париже и взволновавшего всех европейских музыкантов, спора между двумя музыкальными мэтрами — глубокомысленным Глюком, автором «Орфея», и «легким мелодистом» Пиччини. Паганини не понимал спора. «Чистое служение красивому звуку и чистое служение музыкальной идее» он настолько хорошо сочетал в своем собственном исполнении, что для него одинаково понятна была музыка и Пиччини, и Глюка. Это были «законные» произведения. Но незаконным и смешным казался ему спор глюкистов и пиччинистов. Он считал эти названия комическими терминами, пригодными для оперы-буффа.

В Неаполь африканский корабль завез холеру.

— Сатана приносит этих путешественников, — кричал квартирный хозяин Паганини, и как ни уверял знаменитый скрипач своего хозяина, что его вовсе нельзя считать морским путешественником, — он приехал дилижансом из Рима, — хозяин оставался неумолим. Паганини решил быть твердым. Хозяин, старший сын хозяина, второй сын хозяина, дочь хозяина и хозяйка, вооруженные всем кухонным оружием, стояли у двери Паганини. Они вынесли на улицу его кровать, на нее положили все небольшое имущество скрипача, и поверх всего — знаменитую скрипку Гварнери. Стал накрапывать дождь. Паганини выбежал из комнаты, покрыл свое сокровище и вынужден был остаться на улице, так как командными высотами завладел противник. Дрожь от холодного, внезапно налетевшего осеннего дождя, в состоянии детской беспомощности, он стоял на улице, пока Липинский, пришедший его навестить, не перетащил его к себе на квартиру.

Паганини заболел. Во время болезни он узнал о страшных событиях, происшедших на севере. В Турине вспыхнуло восстание, подобное тому, какое было за год перед этим в Неаполе. Говорили об этом шепотом, точных сведений Паганини не получал.

Когда он приехал в Милан, расставшись со своим польским другом, он с ужасом увидел, что произошло. Неудачи карбонарских восстаний, вспыхивавших в разные сроки и без согласования действий южных и северных организаций, привели к многочисленным арестам. Арестованный карбонариями неаполитанский король, выпущенный после того, как дал клятву верности народу, теперь с помощью соединенных корпусов иностранных войск снова овладел

престолом. Из-за излишней доверчивости карбонарских вождей были легко подавлены восстания в Турине и Милане.

Синьор Федерико Конфалоньери, Сильвио Пеллико, Марончелли и тысячи других были брошены в тюрьмы австрийскими властями.

На движение карбонариев римская церковь ответила созданием кальдерариев — котельщиков. Иезуитские агенты пригласили на службу римской церкви обыкновенных дорожных бандитов, мелких и крупных воров.

Получив благословенье святейшего отца, отряды кальдерариев приступили к работе. Предварительная работа состояла в добывании сведений. На площадях ставились урны, в которые бросали списки. Священник тут же, около урны, давал доносчику отпущение грехов. Списки рассматривались в строжайшей тайне, потом, по прошествии более или менее короткого срока, заподозренные в причастности к карбонаризму исчезали.

Прочертив всю Италию колесами собственной кареты, которую ему в конце концов пришлось приобрести, Паганини снова остановился в Милане. Здесь Ролла передал ему дожидавшееся его письмо, и, торопясь разорвать конверт, Паганини почувствовал, как кровь ударила ему в голову.

Утром он мчался на юг и всю дорогу перечитывал строки потрясшего его письма.

«Неужели это любовь? Неужели она любит?» — с трепетом спрашивал он себя. Он уже не задавал себе вопроса, любит ли он ее.

С бьющимся сердцем подходит он к маленькому дому неподалеку от Испанской лестницы. На верхушке в лунном свете сияет церковь Тринита деи Монти, бродячий оркестр играет на волынках, девушка в белом платье и юноша в голубом сюртуке и голубой шляпе с кокардой штабного офицера крепко целуются, расставаясь на углу переулка. Паганини стучит в дверь. Стучит второй раз. Слышится недовольный шамкающий голос:

— Что надо?

Паганини спрашивает, может ли он видеть синьору Бьянки. Дверь приоткрывается.

— Синьора Бьянки уже три дня как уехала.

— Что? — переспрашивает Паганини.

Старуха захлопывает дверь перед самым его носом. Паганини опускает маленький сверток своего багажа на землю и в изнеможении садится на него, закрыв лицо руками.

Скрывают ворота, старуха выходит и подносит фонарь к самому его лицу.

— Как вас зовут?

Получив ответ, она вручает Паганини надушенный розовый конверт. Паганини дает ей лиру, на лице старухи появляется что-то вроде улыбки. Паганини просит посветить и читает письмо, держа его дрожащей рукой. Синьора Бьянки назначает ему свидание в Неаполе. Короткая записка: «Жду в Неаполе. В гостинице «Солнце».

Утром снова гонка, под вечер второго дня — опять при лунном свете — он у цели. Впускают в дом, просят подождать. В гостинице не оказывается синьора Бьянки, она — в отдельном флигеле, который занимает хозяин. Сказали, что сейчас узнают. Паганини сидит в комнате неопределенного вида и убранства. Сердце бьется, отсчитывая последние секунды разлуки, словно хочет ускорить бег времени. И вдруг в комнату впархивает девушка в белом платье, веселая и смеющаяся, продолжает напевать в такт вальса: «Паганини, Паганини, Паганини!»

— Чудак! — она повернулась перед ним еще раз и хлопнула в ладоши перед самым его носом. — Вы напрасно ждете, птичка упорхнула сегодня утром в Палермо.

...Вот поворот, огромная афиша с портретом Паганини. Надпись: «Новый Орфей, непревзойденный мастер — Maestro insuperato». «Да это прошлогодняя афиша», — думает Паганини. Но нет, это афиша концерта, который состоялся три дня тому назад.

— Что это? — Паганини хочет остановить кучера, кивает головой.

— Да, да! — кричит он. — Хорошо, что вы возвращаетесь.

Паганини переспрашивает:

— Как, значит, тот ехал на север?

— Кто тот?

Беспокойство охватило Паганини. Кто-то играл под его именем. Кто это, что это за странный самозванец?

...Чем ближе к Палермо, тем жарче. Злоба ожесточает сердце, когда смена лошадей отнимает то два, то три часа и, наконец, восемнадцать часов. Вот целая ночь напрасного ожидания, и вот море. Вот юг Италии, вот агавы величиной с человеческий рост.

Пастухи в гигантских шляпах, с ружьями за спиной, объезжают стада. Мрачные бронзовые лица. Перья в волосах. Горбоносые, с орлиными глазами, легкие, стройные люди. Священники, похожие на бандитов, и бандиты, по-

хожие на попов. Вот на козлы садится специальный провожатый с мушкетом. За этого провожатого приходится доплачивать пятнадцать лир, это принудительная охрана. «Если не взять, будет хуже», — сообщил Паганини какой-то человек в гостинице. И вот, наконец, короткая переправа по морю. Полное безветрие и огромные плоские зеленые валы.

Палермо. Дальше бежать некуда, дальше — море и африканский берег. Дальше — Тунис, и Алжир, и пустынные пески. «Если она бежит от себя, — думает Паганини, — то это будет продолжаться всю жизнь. А если от меня?..»

Как острое, пронизавшее мозг, возникает мысль, вернее — воспоминание, вернее — образ. Прямоугольный камень, как надгробие, и на нем лежит в маленькой комнате Неаполитанского музея белый мраморный, вытянувшийся во весь рост, гермафродит.

Сицилийцы — не горячие поклонники музыки. На концерты в палермском театре приходили главным образом моряки английского флота, австрийские офицеры и случайные путешественники. Семейство Абд-ар-Рахмана, отец и четыре сына, постоянно занимало кресла первого ряда.

Афиши, возвещавшие о музыкально-вокальных выступлениях Антонии Бьянки и Никколо Паганини, появлялись все реже. Синьора Антония была ревнива к музыкальной славе. После третьего концерта начались споры. Супруга считала, что скрипач должен только аккомпанировать певице. Паганини смеялся, убеждая ее, что в их отношениях вообще не может быть аккомпанемента; оба ведут самостоятельные партии. Но потом уступал охотно.

Особый блеск глаз и новый румянец на щеках Антонии вскоре были им замечены и правильно поняты. Антония подтвердила. В деревне около Пестума, в горах, жила ее тетка. Женщине в таком состоянии необходима женская помощь.

Старая, ворчливая, горбоносая, с лицом сивиллы, с явными признаками греческой крови в жилах, тетка Антонии подружилась с Паганини. Ей нравился человек, такой острый на язык, ей нравилось то, что он с нетерпением ждет ребенка, ей нравилось то, что он богат и независим, и она очень быстро успела поссориться с племянницей из-за своих постоянных и неумеренных похвал Паганини. Единственная размолвка, по очень незначительному поводу, лишь однажды омрачила отношения ее с новым

родственником. Тетка удивлялась, что синьора Антония не капризничает: беременная женщина должна быть капризна. Паганини просил старуху не внушать Антонии этих опасных мыслей.

Однако внушение подействовало, синьора Антония решила капризничать.

Первый спор возник в связи с известием о гибели на севере Италии многих из друзей Паганини. Ссора длилась два дня, супруги не разговаривали. Синьора Бьянки вдруг с негодованием стала осуждать сочувствие супруга повстанцам. Она твердо заявила, что «своими руками задушила бы каждого карбонария».

В Палермо синьор Паганини привязался к маленькому кругу знакомых. В группе рыбацких жилищ, неподалеку от города, он любил находить себе отдых. Там он получал, как говорил, самую великую награду за игру на скрипке, когда сотни сицилийских рыбаков съезжались и располагались полукругом в маленькой бухточке, слушая его игру. Это были концерты под открытым небом, в тихие, безветренные вечера, когда цветные паруса лодок, возвратившихся с улова, виснут, горя яркими пятнами в лучах заката.

23 июля 1825 года появился на свет Ахиллино Паганини. Из всего, что нам известно о жизни великого скрипача, только эта дата является абсолютно точной. Даже в определении даты рождения самого Никколо Паганини биографы расходятся. Панегирическое житие, написанное почитателем великого скрипача, Шоттки, собственные письма музыканта и позднейшие исследования и документы дают очень мало возможностей для установления точной хронологии трудов и дней Паганини. Но дата рождения ребенка совпадает решительно всюду: это было 23 июля 1825 года.

Глава двадцать первая ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЭВРИДИКА

Появление первой улыбки у ребенка вызвало экстатическое, почти молитвенное состояние у Паганини. Кажется, весь мир отошел куда-то и вся жизнь сосредоточилась в этих голубых глазах. Слепление Паганини было так велико, что он совершенно не замечал некоторого недовольства жены, жаловавшейся на то, что пошатнулся ее голос, не замечал ревности женщины, у которой ребенок украл внимание супруга.

Еще задолго до рождения Ахиллино синьора Антония мечтала о путешествии на север, о концертах в Европе.

А теперь ей приходилось выслушивать слова супруга о том, что ему нравится жить в Палермо, что он с детства простудился в снегах альпийских гор, в холоде Кремоны и долго не может согреться, что ему нужен зной сицилийского солнца.

Паганини наслаждался спокойствием палермской жизни. Ему казалось, что он погружается снова в тот сон, который овладел им когда-то в Лукке.

Но на месте Армиды была Эвридика, постепенно преобразующаяся в Медею, и это быстрое превращение заставляло Паганини замечать, как на огрубевшее от загара лицо его подруги ложатся тени зрелости и как появляются между щеками и верхней губой роковые тонкие складочки, угрожающие превратить гневную голову Медеи в голову Мегеры.

Вечерами Паганини выносил сына к морскому берегу. Дети рыбаков прибегали показывать оранжевых и ярко-зеленых рыбешек, причудливые водоросли и морские звезды. Ахиллино протягивал ручки, но стоило морскому цветку шевельнуть своими лепестками, чтобы ручки отпрядали назад с шутливым испугом, и мальчик закатывался звонким ребяческим смехом.

Ахиллино пошел четвертый год, когда праздная жизнь начала надоедать располневшей синьоре Антоний. Она стала страдать от однообразия впечатлений. Письма, которые получал Паганини от неизвестных ей друзей с севера, приходили все реже. И все мрачнее становился Паганини, когда она поднимала разговор о поездке на север. Отношения настолько обострились к тому времени, что только страх перед разводом и боязнь лишиться ребенка заставили Паганини уступить.

Это была минута перелома. Внезапно ощутив прилив огромного творческого напряжения, Паганини в один день собрался и выехал на север, погрузив на корабль карету, лошадей, захватив тетку, няньку, тетку собаку и четырех зеленых канареек. Эти канарейки были любимыми игрушками маленького Ахиллино.

В Калабрийских горах их встретила неприятность, подстерегавшая Паганини каждый день. При прохождении крестного хода Паганини не вышел из кареты. Он не осенил себя крестным знаменем, не проявил достаточной почтительности к церкви. Деревенский жандарм, по знаку священника, остановил карету. Лошади ринулись в сторону, проснулся ребенок, защибетали птицы в клетках, и затяв-

кала собачонка. Плач разбуженного ребенка вывел Паганини из себя.

— Что нужно этому попу? — спросил он громко.

Жандарм потребовал предъявления документов, записал фамилии путешествующих и в зловещем молчании вернул документы Паганини.

В Неаполь приехали вечером.

При въезде в город, на таможне, старый седоволосый доганьер удивился:

— Синьор, вы за неделю стали моложе! — Паганини посмотрел на него изумленными глазами. Доганьер, кланясь, смущенно попятился, не решаясь повернуться к великому скрипачу спиной.

В гостинице «Солнце» на Константинопольской улице привратник, пропуская карету, воскликнул:

— Маэстро, эчченца, до чего вы помолодели!

«Эти неаполитанцы сошли с ума», — решил Паганини.

Но вот в общей столовой висит огромная афиша, извещающая, что великий скрипач Паганини, только что приехавший из Салерно, собирается дать концерт. Паганини хватается тарелку, бросает ее на пол, срывает скатерть и кричит:

— Да что же это такое с вашим Неаполем?!

Содержатель гостиницы растерянно вбегает в столовую:

— Что угодно синьору? В чем дело, синьор?

Синьор показывает на афишу, висящую на стене.

— Да, да — говорит хозяин с таким видом, как будто он своим сообщением чрезвычайно обрадует Паганини. — Он арестован, три дня тому назад арестован. Он оказался бухгалтером из Салерно, игравшим на городских свадьбах в Амальфи, в Атрани, в Равелло.

Паганини стучит кулаком по столу.

— В Лакава, в Салерно, в Неаполе, в Песто, черт бы вас всех подрал!.. — и добавляет несколько давно забытых выражений из обихода «Убежища»...

Первый концерт принес новую неожиданность. Паганини не узнал старых неаполитанцев, некогда таких безудержных поклонников его искусства. Часть публики аплодировала по-прежнему горячо, но Паганини заметил, что первые четыре ряда и несколько отдельных групп в зале хранили упорное и очень тяжелое молчание.

Высокий человек в черном сюртуке, с ядовитым и пронызывающим взглядом, сидел в первом ряду и все время смотрел куда-то мимо Паганини.

Сбор был полный. На утро следующего дня Паганини и Антониа отправились с визитами ко всем неаполитанским властям и музыкантам. Большинство дверей оказалось перед ними закрытыми. Мало ли какие бывают случайности! Паганини отнесся к этому спокойно. Но когда его карета в шестой раз должна была отъезжать от запертых дверей, Паганини посмотрел на Антонию и сказал, что он не хочет продолжать эти бесплодные попытки.

К обеду Антониа не вышла, у нее сидели две подруги, актрисы неаполитанского балета. Когда они ушли, Антониа сообщила, что в нравах Неаполя произошли огромные перемены и что необходимо как можно скорее уезжать из этого города. Суровые кары, предпринятые Бурбонами после возвращения из изгнания, сломили веселье этого города.

— Помните, синьор,— говорила Антониа,— это был город, где антихристово племя карбонариев свило себе гнездо. Музыканты Неаполя совершенно уверены, что ты находишься в сношениях с нечистой силой и только дьявольская помощь дала тебе твое ужасающее могущество. Кстати, синьор Паганини, скажите мне, вашей подруге жизни, откровенно: какие струны натянуты на вашей скрипке?

— О синьора! Во всяком случае эти струны звучат не так, как ваш отзвучавший голос.

Он испытывал приступ удушья. Ему, человеку твердых убеждений, в котором любовь к искусству вытеснила все остальное, эти отголоски варварского средневековья и пыток инквизиции, мелкая подлость людей и изуверство католической церкви вдруг показались чудовищной нелепостью. Бешенство бессилия перед человеческой глупостью душило его.

Мать его чудесного ребенка, его жена, смотрела на него тихими, спокойными глазами. Казалось, она поняла муку, раздвоившую его сознание и на мгновение ошеломившую его. Она кивнула ему головой, ее изумительные ресницы закрылись, брови Медеи сдвинулись, на лицо легло выражение горя и раздумья. Тихим, ясным, до дна души проникающим взглядом отвечает ему его Эвридика.

— Если так будет идти дальше,— сказала она,— иссякнут наши доходы, концерты не принесут нам ни байокко... Паганини не слушал.

Ранним утром, бросив ребенка и мужа, Антониа поспешила в почтовой карете в Рим. Всюду, где только было можно, куда пропускали ее старые артистические связи

административной и духовной знатью апостольской столицы, она подготавливала почву для приезда мужа.

Приехав в Рим, Паганини в гостинице, в комнате, отведенной для него, вдруг увидел старого друга, Россини. Они бросились друг другу навстречу. Выпустив Паганини из объятий, Россини сказал ему, что заболел дирижер и что он, Россини, пришел просить своего друга дирижировать оркестром. Разве могут быть какие-нибудь сомнения! Конечно, Паганини согласен. Друзья садятся. В это время вбегают мальчуган и подает Россини записку.

— Бедный Белло,— говорит Россини.— Умер. Сама судьба посылает вас на его место.

— Когда репетиция? — спрашивает Паганини.

— После захода солнца,— удивленно отвечает Россини.— Да... Позвольте, какой сегодня день?

— Сегодня пятница.

Лицо Россини становится мрачным:

— Пятница? Значит, я пропускаю еще один день. Уже целая неделя опера пропала из-за болезни Белло. Когда же я поставлю оперу?

Звон шпор и веселые голоса на лестнице. Смеющаяся, оживленная синьора Антониа поднимается по лестнице. Усатый австрийский офицер прощается с нею на площадке. Дверь открыта, все видно. Синьора Антониа улыбается, офицер целует ей руку, потом другую, правую, левую, потом снова правую. «Когда это кончится?» — думает Паганини. Россини молчит. Синьора Антониа входит в комнату, за ней по лестнице, доганяя ее, поднимаются два священника в лиловых сутанах и в коричневых рясах, подпоясанных веревками, потом юноша в военной форме и старик в черной одежде. Все они входят в комнату Паганини вслед за синьорой, а она, подхватывая последние слова, говорит:

— Ну так что же, что пятница, синьор Россини. Репетиция вам разрешена. Не далее как сегодня утром я из Трастевере ездила к монсиньору кардиналу-полицмейстеру, и он разрешил вам репетировать по пятницам. И даже тебе,— она подошла к Паганини и взяла его за подбородок,— он разрешил давать концерты.

Три дня идут репетиции. Россини бесконечно доволен. Оркестр, вначале негодовавший на придиричивость Паганини, превратился в прирученный и покорный зверинец. Однако этот Белло... «Говорят, что особенность итальянцев — прирожденная музыкальность. Откуда же эти варварские звуки?» — спрашивает себя Паганини.

Проходят еще два дня, и он не узнает оркестра. Люди, которые каждое движение его бровей считали личным для себя оскорблением, вдруг стали с напряженным вниманием всматриваться в его лицо, для них стало наслаждением видеть, как разглаживается это лицо, на которое давно усталость наложила морщины. «Экко! — кричал Паганини. — Брависсимо!» И эти чужие друг другу люди, по случайной прихоти судьбы соединенные у дирижерского пульта скрипача, о котором ходили разные темные слухи, вдруг загорались небывалой жаждой искусства как подвига, искусства как огромного дела жизни. Повинуясь жезлу из слоновой кости в руках этого странного человека, они все чувствовали себя большими артистами, виртуозами.

Наступил день публичного исполнения оперы Россини. Автор, синьор Иоахим, как его называли австрийские офицеры, бледный сидел за кулисами в отведенной ему комнатке. На столе перед ним стоял стакан оранжада со льдом и лежала книжка в красном переплете. Паганини заглядывал.

Когда он вошел, Россини схватил его за рукав сюртука и потянул к столу. Он показал книгу, на ней была надпись: *Don de l'auteur* — «От автора». Он нарочно открыл четыреста пятьдесят первую страницу. Это была «Жизнь Россини», написанная господином Стендалем, напечатанная в Париже на улице Бутуар в 1824 году.

— Ты помнишь его? Ты видел его в Болонье, — это самый скандальный офицер шестого драгунского полка. А улица Бутуар — ты знаешь, там живет самый озорной французский поэт — Беранже, вместе с автором «Марсельезы», Руже де Лилем. Руже де Лилия разбил паралич, он очень нуждается сейчас. Я был на этой улице, я там получил эту книгу.

Паганини читал строчки, посвященные ему господином Стендалем. Он читал о том, что он — первая скрипка Италии и, быть может, величайший скрипач за все время существования человечества; но что он достиг своего изумительного таланта не путем терпеливых занятий в стенах какой-нибудь консерватории, а в силу того, что заблуждения любви, как говорят, привели его в тюрьму на многие годы. Изолированный, покинутый людьми, в тюрьме, которая грозила ему эшафотом, он имел под рукой только одно занятие — игру на скрипке, а вот там он научился переводить язык своей души в звуки скрипки. Долгие вечера заключения обеспечили ему возможность в совершенстве изучить этот новый, нечеловеческий язык. Недостаточно

слышать Паганини в концертах, где он, как Геркулес, повергает в прах состязающихся с ним скрипачей северных стран. Надо слушать его, когда он играет свои каприччио в состоянии вдохновения, достигающем силы какой-то одержимости. Характеризуя эти каприччио, автор добавлял, что по трудности они совершенно невыполнимы и все труднейшие концерты перед ними — ничто.

Паганини хотел положить книгу на стол, но она упала на пол, листы смялись, и хуже всего было то, что, натягивая белую перчатку, Паганини наступил на чистенький переплет ногой.

Молодыми и быстрыми шагами он вышел в оркестр и взбежал на ступеньки дирижерского пульта. Он был бледен. Короткий и сухой стук палочки о пюпитр, минута настороженности, и зал огласился сладчайшими из всех звуков, которые слышала дотоле Италия, — звуками новой оперы Россини.

В перерыве после первого акта маленький усатый офицер, звеня огромными, не по росту, шпорами, вошел в комнату, где Паганини сидел с автором оперы. Оба молчали, и молчание было настолько тяжелым, что этот молодой человек в военной форме остановился в дверях, не решаясь переступить порог. Первый заметил его Россини. У него появилась шаловливая мысль: «Вот сейчас откашляется и тронет правой рукой усы». И когда действительно офицер, как по внушению, проделал все это, Россини не мог удержаться от хохота. Паганини поднял голову.

— Что вам нужно? — спросил он и встал.

Офицер отдал честь. «Слава Иисусу, — подумал Паганини, — черт бы тебя подрал, значит, это еще не арест!» Огромный пакет, вынутый из кожаной сумки, был передан Паганини. Красные сургучные печати в пяти местах пятнали конверт. Шелковый шнур торчал из угла. Офицер с поклоном вручил этот пакет Паганини и, ловким жестом откинув занавеску, вышел за дверь. Паганини увидел в коридоре толпящихся людей. Машинально он дернул за шнур. Пакет раскрылся. Грамота с тиарой и скрещенными ключами гласила, что святейший отец, наместник Христов, благословляет ангельское служение раба апостольской курии и верного сына вселенской церкви Никколо Паганини и делает его кавалером ордена Золотой шпоры, знаки коего при сем препровождаются. Лента и красивая ювелирная игрушка лежали на ладони у Паганини. Он, как ребенок, нашедший красивую раковину на морском берегу, смотрел и не понимал, в чем дело.

Вынесенный на руках на авансцену с бриллиантами и золотом на раскрытой ладони, Паганини недоуменно кланялся публике. Он кланялся низко, сгорбясь в три погибели и прикладывая правую руку к сердцу в знак полного недоумения по поводу внимания римского первосвященника и в знак того, что он униженно просит римскую толпу простить ему его громадный, подавляющий ее талант. Он просил людей простить ему его гениальность, он просил у громадного театра извинить ему непревзойденную мощь его вдохновения. У подлецов и жандармов, у воров и чиновников, у парикмахеров и сводней, у римских банкиров он просил извинения за то, что он бесконечно выше их и благородней, за то, что он сжигает ежеминутно свою жизнь на огне огромного и неугасимого искусства. Он просил прощения за то, что никогда не станет ни подлецом, ни вором, ни серым чиновником из мелкой поповской канцелярии, и сидевшие в первом ряду прелаты и кардинал-губернатор благосклонно улыбались, рукоплещая пухлыми ладонями ничтожному скрипачу, облаканному его святейшеством. Они видели раболепство этого скрипача и не чувствовали, что *этот не понятый и только этим преступный гений* просит прощения за свой безудержный талант, думая только о том, как спит маленький ясноглазый человек, с улыбкой премудрой, как сама природа, с мальчишескими веселыми щечками, существо, жизнь которого всецело зависит от его отца.

Но аплодисменты раздавались громче и громче. Толпа гудела и редела. И Паганини все острее начинал ощущать свое превосходство над всеми этими людьми. Это знакомое чувство оцепеняло его. Старая генуэзская кровь отважных мореплавателей гордо стучала в висках. Потом его охватила страшная жалость к огромной толпе.

С тяжелым чувством одиночества садился Паганини в карету. Перед ним сидела Антония; ее раскрасневшееся лицо, чересчур яркие губы и блестящие глаза показывали, что она как нельзя более довольна произведенным эффектом. Она ждала, что супруг заговорит. Он должен был рассыпаться в словах благодарности. Но Паганини, устало склонив голову на плечо, в рассеянности выронил пакет с папской печатью. Ярко-алый сургуч затрещал под лаковой черной туфлей.

Синьора Антония вскинула на мужа глаза. Потрясенная таким пренебрежением к милостям святого отца, Антония в ужасе закричала и ударила Паганини по щеке. Кучер не оглянувшись, карета рванулась, испуганные лошади понесли.

Паганини откинулся на подушки, закрыв глаза. Ни слова не было сказано супругами до следующего дня.

Утром, достав «Поншон», Паганини приложил его к слабому плечу Ахиллино. Ребенок охотно взял смычок, он уже умел подражать отцу и машинально нажимал струны тонкими пальчиками, извлекая плачущие, смешные, детские звуки.

— Он — мой соперник! — смеясь, воскликнул Паганини. — Честное слово, он — мой соперник! Он во всяком случае играет лучше, чем я. Ты — мой рыцарь Золотой шпоры, — говорил он, кружа маленького Паганини по комнате. — Его святейшество одарил трех лиц этой высокой наградой — Моцарта, Глюка и меня. О мое сокровище, насколько ты достойнее своего отца!

Синьора Антония вошла в комнату. Ни слова о вчерашнем происшествии.

Паганини просто и без любопытства смотрел на свою супругу. Он решил предать забвению вчерашнюю вспышку, не входя ни в какие расчеты самолюбия, просто ради нее самой, ради Антонии.

Но Антония ничего не забыла, она помнила каждую секунду — и молчала она просто потому, что не надеялась на свое красноречие. Да и, кроме того, она как верная дочь католической церкви считала, что малейшее сопротивление велениям религии является страшным грехом и не нужно убеждать доводами ясной логики человека, идущего против наместника Христова и его сподвижников. Ее затрудняло главным образом то, что в плане, который она предполагала осуществить, не все зависело от нее одной. Она почти не сомневалась, что Паганини откажется ехать вечером с визитом к монсеньору кардинал-полицмейстеру.

Когда она, наконец, приступила к атаке, Паганини, против ее ожидания, не оказал сопротивления. Он просто ничего не понял. И, сидя в карете, он беспокоился лишь по поводу того, что, засыпая, Ахиллино три раза кашлянул, он досадовал лишь на то, что никто не напомнил ему захватить скрипку.

На вечере у прелата к Паганини подошел маленький человек в пудреном парике, усыпанный звездами, орденами и разукрашенный лентами. Он заинтересовался игрой знаменитого скрипача, спрашивал о тайнах и секретах его мастерства. Откуда-то принесли скрипку, Это было дешевое изделие неталантливого мастера, поставщика инструментов для виртуозов, играющих на свадьбах. Но вот ее кос-

нулся смычком Паганини, и она запела так, как не пела никогда под руками человека.

Когда Паганини опустил смычок, маленький человек в ордене милостиво произнес:

— Вы приезжайте к нам в Вену, всюду скажете, что герцог Порталла пригласил вас. Вам всюду дорога открыта в теперешней Европе. Влась осуществлена полностью по заветам Христа и римского первосвященника, и, памятуя о том, что вы явились ко мне в Риме, будьте уверены в том, что вам всюду открыты дороги на север за Альпами.

На обратном пути, когда Антония беспокоило спросила о встречах и впечатлениях, Паганини вдруг вспомнил, что должна была состояться беседа с синьором принципе Меттерних.

— Но его не было,— оправдываясь, сказал Паганини.

— Как не было?! — вскричала синьора и щеки ее залил румянец гнева. Глаза с яростью вперились в злосчастного супруга.

Он никогда не видел ее такой.

— Князь Меттерних стоял перед вами, милостиво с вами говорил, а вы играли на какой-то отвратительной скрипке.

— Как князь Меттерних? — мрачно сказал Паганини.— Это был герцог Порталла.

— Ну да, герцог Порталла и есть князь Меттерних...

Разговор был прерван звоном разбитого стекла. Парный дышловый экипаж на перекрестке двух дорог врезался в их карету. После криков, шума, ругани кучеров, вмешательства сбиров и совершенно неожиданного для Паганини оскорбительного допроса, которому подверг его молодой человек в черной одежде, все снова расселись по местам.

...В то время, когда, вытянув усталое тело на маленьком диване, Паганини засыпал, полный мыслей о предстоящей поездке в Европу,— происходили события, о которых он не мог подозревать и которые имели для него немало важное значение.

Жестокий, холодный взгляд остановился на протоколе, принесенном в двести сорок девятую комнату Ватикана.

Обстановка этой комнаты заслуживает внимания: маленькая белая койка, очень узкая, над койкой — крест из черного дерева с изображением распятого, вырезанным из слоновой кости; штофные обои содраны, пол застлан индийскими джутовыми циновками; два стула, деревянный

непокрытый стол. Фарфоровый ковшик и стеклянная миска с чистой, прозрачной водой. На столе — перо и чернильница, стопка синей бумаги со знаком конгрегации и рядом маленькие светло-лазоревые листки со штампом генерала иезуитского ордена. Немного в стороне, у окна, потайной шкаф; дверцы его открыты...

Рука, начавшая писать адрес на большом синем конверте, не окончила первого слова. На длинных пальцах этой желтой, прозрачной, как воск, руки не было никаких украшений. За столом сидел человек, облеченный огромной властью главы иезуитского ордена.

После смерти Тадеуша Бжозовского в 1820 году его место занял Алоиз Фортис. В данное время генерал ордена был в отъезде, и его замещал молодой голландец Питер Роотаан. Сдержанный, спокойный не по летам, этот человек своим бесстрашием, бесконечной суровостью к себе, презрением к человеческим страстям завоевал большое уважение ордена. Ясный аналитический ум давал ему возможность точно и отчетливо решать вопросы, как возникавшие из обыденной сутолоки, так и связанные с гигантским планом работы ордена во всех пяти частях света.

Синьор Роотаан получил сообщение о случае с каретой Паганини не непосредственно. Сбирь передавали сведения о происшествиях в городе Риме синьору кардинал-полицмейстеру.

— Арестован ли неосторожный кучер? — спросил Роотаан.

— Нет,— ответил докладчик,— ведь он же в темноте, печально...

Роотаан сделал знак рукой, и докладчик замолчал.

— Итак, синьор Паганини доехал благополучно с женою и сейчас почивает?

Докладчик кивнул головой.

— Известно ли, что кучер пробил стекло кареты человека, к которому милостив святой отец и которого князь Меттерних приглашает в Вену?

— Известно.

— Что же говорит кучер?

Докладчик развел руками:

— Он говорит, что в следующий раз будет работать удачнее.

Роотаан отложил бумаги в сторону.

— Внезапная благосклонность австрийского министра вполне понятна, она никого ни к чему не обязывает,— тихо произнес Роотаан.— Награждение, данное святейшим от-

цом, — это неосторожность, которая не должна повторяться. Сколько лет сыну синьора Паганини? — Получив ответ, Роотаан задумался, потом сказал как бы про себя: — Надо сделать так, чтобы воспитанием сына синьора Паганини руководили опытные люди.

При отъезде из Рима Паганини был удивлен сухостью обращения Россини. Последние дни Россини со всех сторон только и слышал восторженные, иногда даже преувеличенные похвалы Паганини, и хотя опера принадлежала перу Россини, но многие как бы намеренно в присутствии Россини подчеркивали свое восхищение дирижером. Иные прямо говорили, что опера значительно выиграла от того, что оркестром руководил такой опытный человек, как Паганини. В конце концов Россини задумался: если так упорно говорят о Паганини, и говорят одно и то же, то, значит, есть какие-то основания для такого рода суждений.

Паганини не знал ничего об этих разговорах.

Синьора Антониа запаслась дюжиной рекомендательных писем. Слава окрыляла Паганини. Ему грезился Париж. Паганини слышал, что Фердинанд Паер, великий маэстро, как его теперь называли, стал властителем дум музыкантов Франции.

Но как попасть во Францию, когда переезды до крайности осложнены тягчайшей паспортной системой, введенной австрийцами? Подданным какого итальянского государства вы являетесь, синьор Паганини? Вы — гражданин Италии, но Италия — это географическое понятие, на Апеннинском полуострове добрых два десятка государств. Если вас выпустили сейчас из Палермо, через Рим, на север, благодарите за это свою супругу. Остерегайтесь каждого шага. Звон каждого червонца, каждого дуката, попадающего в ваш карман, будет слышен в том кабинете, откуда следят за вами зоркие глаза, которые отыщут вас, даже если вы внезапно окажетесь, на краю света. В ваших доходах заинтересованы, синьор Паганини, вы должны оставить большое наследство, а ваш сын должен стать благонамеренным сыном католической церкви.

Итак, дорога на север вам разрешена, монсиньор рыцарь Золотой шпоры, разрешена, несмотря на то, что вы неучтивы: сами не догадываетесь писать церковные гимны и играть на скрипке в церкви. Божественный голос вашей супруги в этом случае помог вам, а благосклонность его светлости, герцога Порталла, князя Меттерниха, и князя Кауница обеспечит вам почетную встречу в городе его апо-

столического величества императора Франца. Но бойтесь неосторожного шага, расстаньтесь с чтением опасных книг, выкиньте из головы опасные мысли о том, что музыкальный гений сделает вас гражданином вселенной. В Ломбардо-Венецианской области вы — только подданный его величества, а в городе Рима вы к тому же еще и поднадзорный кардинал-полицмейстера.

Из близких друзей Паганини уцелел один Пино. Оставив ему почти все свое имущество — книги, ноты и письма, Паганини выехал на север.

В какой-то суете прошли концерты в Триесте, Венеции, Флоренции, Перуджии и Болонье.

Неделю провели супруги на берегу Комо. Северные итальянские озера были любимым местом Антонио. Впервые Паганини узнал, что его жена родилась здесь.

Но вот решительный поворот. Вот взяты паспорта, началась утомительная горная часть пути через Крайну, Каринтию, Штирию. Вот миновали Земмеринг. Вдалеке, на обломках скал, высятся развалины рыцарских замков.

По ночам фореиторы затягивали старинные славянские песни. Лоренцино, один из них, полупшепотом рассказывал на стоянках о том, что тут часто выходят из могилы мертвецы, питающиеся человеческой кровью. Он развертывал шелковый платок с грубо нашитыми большими папскими ключами и крестами. Вынимая из плетенки головку чеснока, он заявлял, что чеснок — лучшее средство спасения от вампиров.

На Паганини действовали эти рассказы, в особенности история с похищением вампирами ребенка. Он ночами не смыкал глаз, тревожно вглядываясь в темноту, охраняя спящего Ахиллино.

Глава двадцать вторая ПО ДОРОГЕ НА ВЕНУ

Газеты возвестили о приезде великого скрипача. Взору Паганини, остановившегося у подъезда одной из венских гостиниц, представилось странное объявление:

«Приговоренный к смерти и спасшийся из тюрьмы великий итальянский скрипач Никколо фон Паганини в скором времени приезжает в Вену и даст концерты.

Его святейшество простил ему многочисленные преступления и убийства.

Спешите, входная плата дукат, начало в двенадцать часов ночи. Большой венский театр».

Разъяренный Паганини приказал ехать дальше, но у следующей гостиницы висело то же объявление. Антония пожимала плечами и что-то лепетала о неудачном импресарио. Она чувствовала себя смущенной. Артист молчал. Он понимал, что на новой почве Антония не чувствует себя уверенной. У нее закружилась голова от успехов в Италии. Почувствовав себя руководительницей семьи, она зашла слишком далеко в своей самоуверенности и, очевидно, попала в лапы какого-нибудь антрепренера-шарлатана. Поправить дело было нельзя. На всех улицах висели портреты Паганини в тюрьме за решеткой. Он сидит с грустным, красивым и молодым лицом на соломе и играет перед распятием, как бы вымаливая себе прощение.

Когда поздно ночью пришел слуга и спросил документы, Паганини, стуча кулаком по столу, потребовал содержателя гостиницы и полицейского офицера.

Оба не понимали, чего хочет от них приезжий артист. Когда Паганини потребовал сорвать афиши, которые его позорят и расславляют как преступника и убийцу, офицер развел руками и сказал, что если приезжий синьор итальяно недоволен венскими властями, то он может подать жалобу господину Седленицкому, министру полиции.

После ухода этих двух любезных людей Паганини решил серьезно поговорить с Антонией. Но он не застал ее в комнате. Паганини стал ждать. Он заснул в кресле. Проснулся ночью. Синьоры Антонии не было. Она пришла под утро, заявив, что ночевала у подруги, с которой когда-то пела в Венеции. Паганини как будто пропустил это сообщение мимо ушей.

— Но вы, кажется, не спали? — спросила Антония. — Ложитесь.

Паганини ответил спокойно:

— Ухожу, но прежде вы дадите мне обещание прекратить вмешательство в организацию моих концертов.

Тогда произошло странное превращение Эвридики. Все мифологическое обаяние ее внезапно исчезло. Перед Паганини стояла дебилая торговка, круглоглазая, разъяренная, с красными пятнами на щеках. Положив руки на бедра, она осыпала супруга потоком площадной ругани, и то растущее чувство одиночества, которое овладевало синьором Паганини с момента первой супружеской ссоры, вдруг сразу подавило его. Оно перешло в ощущение брезгливости. Все повышая и повышая голос, Антония, сжав кулаки, стала наступать на супруга. Паганини, сложив руки за спиной, молча смотрел, что будет. Но проснулся мальчик и,

плача, потянулся ручонками к матери. Ответом ему была тонкая пощечина.

— Мне все говорят, — вопила эта женщина, — что вы безбожник, мне сказали, что вы карбонарий, мне сказали, что вы не выполнили требования священника, предложившего вам окунуть скрипку в святую воду, чтобы доказать несправедливость обвинений в том, что ваша скрипка посвящена дьяволу. Вы — враг Христовой церкви!

— Еще бы! — закричал Паганини. — Разве для того божественный Гварнери делал эту скрипку, чтобы ваши поны размочили ее в воде? В покушениях на меня как музыканта компания святош готова пойти на любое предательство. Да, я действительно связан с дьяволом, да, я действительно нахожусь в руках нечистой силы, но эта грязная сила — попы, а дьявол — это вы, синьора!

И тут внезапно одним прыжком синьора Антония оказалась у стены. Она сорвала с петли футляр и вцепилась в скрипку.

Ахиллино смотрел, широко раскрыв глаза, и, после детского сна не узнавая матери, закричал. Он упал из постельки. Паганини бросился к нему, сделав какое-то непонятное движение, словно выбирая, где более необходима его помощь. Подбежав к ребенку, он увидел, что у мальчика вывихнут плечевой сустав.

Синьоры Антонии нет дома, и синьора Никколо тоже нет дома. Скрипка с оборванными струнами лежит на полу. Нянька не решается поднять ее и переложить. Комната пуста.

Только к полудню возвращается синьор Никколо, неся ребенка на руках. Ребенок спит. Урсулинка, сестра милосердия, садится у его кровати. Паганини с закрытыми глазами дремлет в кресле.

«Люди, отказавшиеся от ношения духовного сана, занимаются писанием стихов и сочинением музыкальных пьес, — писал государственный канцлер Меттерних в своих мемуарах. — Подозрительна мне карьера молодого Нея. Сын бонапартовского маршала, внук кузнеца, отказался от самых выгодных предложений и сделался простым скрипачом парижского оркестра. Это он мстит нам за смерть расстрелянного маршала».

Меттерних вспомнил слова фельдмаршала Суворова, сказанные представителям города Милана. В ответ на мнение, высказанное одним из австрийских офицеров, о вреде музыки царский фельдмаршал сказал:

— А я считаю музыку делом полезным, особенно музыку громкую, преимущественно барабан.

«Музыка дело полезное,— думал канцлер,— ежели музыкант знаменит и привлекает внимание иностранцев к развлечениям столицы его величества». С этой точки зрения канцлер ничего не имел против того шума в Вене, который поднялся по случаю приезда итальянского скрипача.

Словно по капризу судьбы, Вена в этом году была местом съезда крупнейших музыкантов Европы. Таким образом, выступление Паганини в Вене обеспечило ему известность во всех городах Европы. И отзывы венской печати, вместе с письмами европейских скрипачей и композиторов, сделали достоянием не только всего тогдашнего музыкального мира, но, заняв все столбцы музыкальной критики, потоком ринулись по руслу общеевропейской печати, и в скором времени имя Паганини было у всех на устах.

Венский артист Майзедер был, пожалуй, самым верным, единственным другом Паганини, который действительно искренне оценил итальянского скрипача. Уже в Вене выявилось стремление завладеть скрипачом как притягательной силой, как неким магнитом, обеспечивающим антрепренеру колоссальные барыши. Чисто официальные, внушенные правительственными кругами строчки встретили Паганини на страницах «Театральной газеты» 25 марта:

«Приезд знаменитого генуэзского скрипача Никколо Паганини в наш город является самой интересной новостью музыкального мира. Предприняв свою первую поездку за пределы родной страны, Паганини прежде всего посещает нашу славную столицу. Вена — это город искусств, и она, конечно, ответит должным признанием таланту итальянского скрипача на тот знак внимания, который он оказывает нашей столице».

В это время Паганини заканчивал очень крупную вещь, которую он сам назвал «La Marcenza delle corde». Это была музыка исчезающих струн. Это была странная смесь музыкальных тем, облеченных в столь сложную форму, что после смерти Паганини это произведение исполнить не мог уже никто. Интродукционная часть этой фантастически трудной вещи исполнялась на всех четырех струнах. Дальше вариации незаметно переходили в легкий польский танец, разыгрываемый на двух струнах. Наконец, четвертая часть состояла из адажио на одной струне. Паганини сам был доволен новой вещью.

— Если бы можно было написать рондо и сыграть его

без всяких струн, то это было бы чистейшим воплощением звуков, раздающихся у меня в душе,— говорил он.

Итак, в Вене первое впечатление от Паганини было впечатлением людей, совершенно растерявшихся перед непостижимым явлением природы. Первые венские концерты были полным триумфом.

«Летопись искусства и литературы» писала, что Паганини нельзя сравнить с кем бы то ни было, это — явление неповторимое. «Музыкальная мысль» писала, что «в своих адажио артист *перерождается* как бы по мановению волшебного жезла: чародей музыкальной техники уступает место вдохновенному певцу с необычайной простотой и величественной ясностью исполнения». Писали о нотах и аккордах, которые дают впечатление звучания десяти скрипок, целого скрипичного оркестра. Писали о замечательных звуках четырехголосового сложения, когда одновременно двухголосое пиццикато проходит на фоне мелодии и производит впечатление полного колдовства, когда публика в неистовстве встает и начинает искать за спиной Паганини тех оркестрантов, которые сопровождают на множестве скрипок его основную мелодию.

Когда Паганини выходил из театра и искал глазами свою карету, он встречал тысячи глаз, с любопытством устремленных на него. Были моменты, когда ему хотелось простого человеческого участия. Вот девушка в черном бархатном платье окидывает его любопытствующим взглядом. Она только что рукоплескала ему, она только что подносила платок к щекам, по которым текли слезы непонятного восторга и восхищения, она не отрываясь смотрит на скрипача,— и стоило только Паганини взглянуть на нее своими усталыми и бесконечно грустными глазами, как она ответила ему взглядом, полным ненависти и презрения. Здесь было все — и вульгарная пошлость венской аристократической модницы, и низкопробное чувство порядочного человека, который всегда боится и ненавидит того, кто хоть сколько-нибудь над ним возвышается, и подозрительность благовоспитанной католички, до которой доносились какие-то смутные слухи.

— Волны маленького Дуная здесь грязны,— говорил Паганини.

Характерен спор, возникший между представителями венской музыкальной знати. Господин Шпор вначале считал возможным не удостаивать синьора Паганини внимания, а потом стал выражать свое мнение, которое должно было бы убить Паганини и сделать его ничтожным в

глазах публики. Но произошло маленькое недоразумение: не было согласованности в отдельных отзывах, и поэтому, когда враги Паганини выступили по инициативе Шпора на страницах печати, разногласия сильно повредила им.

Основной замысел был таков: доказать, что только публика с низкопробным вкусом может восхищаться Паганини, но что синьор Паганини не только не является музыкантом высокого уровня, но больше всего напоминает заурядных цирковых фокусников, шарлатанов скрипичной игры. «Это — превращение чистого искусства в случайные упражнения корыстолюбца, каким является, по нашему мнению, этот итальянский выскочка. Ничего не осталось от великого и могучего скрипичного искусства, все сметено смычком этого дикаря с погрешками».

С другой стороны, Шпор, не вчитавшись в эти отзывы, выступил с совершенно иными заявлениями. Он писал:

«Под портретом Паганини есть подпись — «недосягаемый». Но то, что дало ему это название, есть ряд уже довольно устарелых прелестей. Паганини не внес ничего нового в великое искусство скрипичной игры. Наш соотечественник Шелер восхищал наших бабушек, разъезжая по провинциальным городам Германии. Эти дешевые ярмарочные прелести заключались в том, что скрипач играет, предварительно сняв со скрипки три струны, или выполняет пиццикато левой рукой, без помощи правой, одним словом, во всех этих противоестественных и не свойственных природе скрипки фокусах. Что хорошего, если Паганини заставляет скрипку петь голосом фагота и умеет передавать на скрипке плач старой бабы? Провинциалки нашей родины говорили: «Один бог на небе, один Шелер на земле».

Впечатление, произведенное отзывом Шпора, было огромно. Но венские газеты справедливо спрашивали: «Кто же, наконец, прав? Одни критики говорят, что Паганини не внес ничего нового, другие говорят, что он *ниспроверг все старое*, что его игра настолько нова, что ее не в силах воспринимать музыканты старой школы».

Если мы раскроем дневник Шпора, мы прочтем там следующее:

«Сегодня рано утром Паганини зашел ко мне, с тем чтобы наговорить мне множество хороших вещей по поводу моей игры и данного мною концерта. Я, в свою очередь, попросил его сыграть что-нибудь, так как я до сих пор ни разу не слышал игры Паганини. У меня были в эту минуту мои ученики, они тоже присоединились к моим просьбам, но Паганини наотрез отказался играть, ссылаясь

на то, что он при падении повредил себе руку. Таким образом, я уезжаю, не услышав этого мага и волшебника».

— У святой матери церкви бывают недостойные сыны. Одним из таких недостойных является тот, кто ввел в заблуждение капитулация римской апостольской курии и верховных носителей знаков ордена Золотой шпоры. Этот мздоимец принял большую сумму у синьоры Бьянки, которая сделалась несчастной жертвой грабителя Паганини. Она родила ему сына. Ребенок до сих пор не связан обрядом святой церкви и потому обречен аду. Теперь Никколо Паганини, этот слуга дьявола, выгнал жену из дому в награду за великое тщание в его же успехах. Вот почему я просил бы доложить обо мне его светлости, чтобы я мог пресечь великий соблазн, могущий произойти из-за ошибок светских властей. Паганини не является сыном церкви, игра его не благословенна.

Это говорил монах в канцелярии у секретаря государственного канцлера.

— Откуда вы все это знаете, святой отец? — воскликнул секретарь.

Иезуит сделал смиренное лицо и произнес:

— Имеющие уши да слышат.

Он положил большой синий конверт на стол перед секретарем и, шурша шелковой подкладкой одежды, быстро направился к двери.

Синий конверт — это очень опасный пакет, в нем иезуиты посылают короткие извещения об исключении из ордена. «Не слишком ли длинные уши у этих монахов?» — подумал секретарь и стал перебирать пергаментные листы бумаги, записки и письма в голубом сафьяновом портфеле с докладными бумагами. Синий пакет был адресован на имя маленького толстого патера, духовника государственного канцлера. Способ вручения говорил об исключительности события. Секретарь его светлости получил синий конверт для духовника его светлости: очевидно, негодование ордена было таково, что необходимо было довести дело до сведения его светлости немедленно.

Гоффурьер с императорским пакетом вошел без доклада. Секретарь принял пакет, пожал руку молодому дворянину и спросил, кто ждет во второй приемной.

— Ваше превосходительство, — ответил Гоффурьер, — там сидит черный человек с огромной шапкой волос и лицом Вольтера. Я никогда не видел такого интересного уродства. Если вам не понадобится этот посетитель, пошлите его в зоологический сад Шенбрунна. Герцог Рейх-

штадтский скучает,— быть может, на его губах появится улыбка при виде этого уroda.

Такие шутки были проявлением обычного пренебрежения со стороны австрийской дворянской челяди к сыну Наполеона Первого, внуку императора Франца, находящемуся в почетном плену у австрийцев.

— Я еще не знаю, о ком вы говорите,— сказал секретарь Меттерниха.— Пригласите ко мне этого человека.

Через минуту Паганини стоял в кабинете. Он был желт, глаза его горели злобным огнем. Сухим, резким голосом обратился он к секретарю:

— Когда я могу видеть его светлость?

— Я, кажется, вижу перед собой великого Паганини? — спросил секретарь.

Скрипач молча наклонил голову.

— Его светлость,— заявил секретарь,— приказал мне вызвать вас и исполнить все, что будет вам угодно мне приказать.

Витиеватая формула отказа от приема, произнесенная на чистом итальянском языке, была настолько утонченна, что Паганини не заметил отказа. Он сразу схватился за возможность высказать все накопившиеся чувства.

— Ваше превосходительство,— сказал он,— я въехал в Вену как преступник, освобожденный из тюрьмы. Дальше к этой молве прибавляется ворох вздора, который печатают здешние газеты. Я не решусь выступать на подмостках императорского города...

— Да, да,— сказал секретарь, перебивая его, и дернул шелковый шнур.

Вошел человек, секретарь наклонился над столом, быстро написал несколько строчек.

— Сейчас же вручите министру полиции для немедленного распоряжения по городу. Таков приказ его светлости.

Человек вышел. С самой очаровательной улыбкой секретарь обратился к Паганини и, подавив легкую усмешку, спросил:

— Это все, что вы хотели просить у его светлости?

— Я ничего не хотел просить, я требую, чтобы...

Секретарь снова перебил его:

— Но ведь не можете же вы считать виновным кого-либо из правительства его величества в том, что газеты пользуются случаем нажиться на сенсациях, а афиши бестактны. Я прикажу цензору тщательно просматривать заметки и статьи, касающиеся вас, господин Паганини. Мы дадим предписание цензору пропускать в газетах только

то, что вам самому будет угодно. Кроме того, вам обеспечена самая широкая возможность пользоваться для концертных выступлений лучшими помещениями нашего мадальского города.

Паганини внезапно забыл все, что хотел сказать. Перед ним стоял выщипанный человек, холодный, элегантный, черноглазый, остролицый, гладко выбритый, с чудесно завитыми волосами и напудренными щеками. Он смотрел на Паганини так ясно и просто, с такой ледяной благожелательностью и морозной любезностью в глазах, что Паганини чувствовал себя мальчишкой, попавшим в руки бессердечного тюремщика. С чувством досады на самого себя он неловко поклонился и, отвернувшись, чужим голосом произнес фразу, пришедшую откуда-то на язык:

— Я очень польщен вниманием его светлости.

— Да, да,— секретарь закивал головой.— Мы знаем, где вы остановились, вас известят, когда его светлость пожелает слушать вашу игру.

Через три дня вся Вена была украшена афишами с надписью: «Неподражаемый, великий, мировой скрипач». Огромные плакаты изображали его напوماженным красавцем с орденом Золотой шпоры. У афиш и у касс собирались толпы. Лакеи, чиновники, горничные, услужливые кавалеры, борющиеся билеты для своих дам, офицеры, оглушительно звенящие шпорами и расталкивающие толпу, чтобы без очереди подойти к кассе, слуги, выскакивающие поспешно из гербовых карет и скупающие билеты первого ряда, камеристки венских графинь, спекулянты — все это шумело, визгивало, оглашало подъезд театра криками. Машина славы работала полным ходом.

Утренние газеты после концерта оповещали, что публика ожидала многого, ожидала неизведанных восторгов от чудесной игры, но все ожидания превзошла чарующая действительность. Никогда на берегах Дуная не раздавалось музыки слаще. В книжных магазинах висели портреты Паганини с овидиевыми стихами об Орфее. К стихам поэта, умершего на берегах Дуная, были присоединены вирши о новом Орфее, появившемся на верховьях этой древней реки.

Ахиллино поправлялся. Утром, скрываясь от всех, Паганини ходил по магазинам игрушек. Часами он просиживал у постели сына, слушая его лепет, рассказывая ему старые итальянские сказки.

Время до обеда он проводил в совершенном уединении.

Он читал и писал. После создания «La Mancanza delle corde» он совершенно не трогал дома скрипки. Он прикасался к инструменту только уже на подмостках концертного зала. Единственным человеком, получившим к нему доступ во всякое время, был скрипач Майзедед, сын старого венского раввина. После первых официальных слов вдруг как будто сломался лед. Почувствовав в тоне юноши горячую искренность, Паганини неожиданно протянул ему руки и поцеловал его. Этот не свойственный ему сентиментальный жест был очень хорошо понят умным и слегка насмешливым Майзедедом. С этого дня Паганини не чувствовал себя одиноким в Вене. Майзедед, проникательный и хорошо знавший венскую жизнь человек, быстро разобрался во всех явлениях, сопровождавших пребывание Паганини в Вене, и ему обязан Паганини тем, что не погиб в этом городе. Майзедед выводил его из того оцепенения, в которое повергали Паганини сплетни венской печати. Без назойливости, легко и спокойно Майзедед увозил Паганини с маленьким сыном во Флоридсдорф, они бродили по улицам, вместе отправлялись за покупками.

Однажды они покупали перчатки.

— Это кожа жирафа, — заметил Паганини, обращаясь к продавщице, предложившей им что-то невообразимо пятнистое.

— Нет, господин, — ответила торговка, — это самые модные перчатки: они называются «Паганини».

— Бедный скрипач! — воскликнул неузнанный покупатель.

— Он совсем не бедный, — ответила торговка, весело оскалив зубы. — Говорят, что он за большие деньги купил в Риме орден Золотой шпоры.

Майзедед и Паганини рассмеялись, выходя из магазина. Майзедед говорил:

— Сколько ослов поранила ваша Золотая шпора! Однако вы привлекаете покупателей в магазины.

Он указал на витрину другого галантерейного магазина, где выставлены были перчатки и галстуки а ля Паганини.

Паганини удавалось бродить по улицам неузнанным благодаря тому, что изображавшие его портреты не давали никакого представления о его внешности. Майзедед останавливал скрипача перед витринами гастрономических магазинов. Гигантский бюст из красного леденца с надписью голубыми чернилами: «Неподражаемый скрипач Паганини»; в другом месте — громадная сахарная голова, увенчанная бюстом Паганини; в третьем — огромный, во всю

витрину портрет скрипача, сделанный из цветных шелковых платков. Майзедед смеялся над своим другом и однажды, для того чтобы поправить дело, привел к нему скульптора и гравера Ланга. За время короткой беседы, пока Паганини играл с маленьким сыном, Ланг сделал несколько профильных зарисовок. Ему, пожалуй, больше, чем кому-либо, удалось схватить сходство.

Набрасывая профиль скрипача, Ланг говорил:

— Сегодня я был свидетелем истребления вашего масляного бюста в молочном магазине. А вечером в гвардейском клубе офицеры, игравшие на бильярде, изобрели особый удар и назвали его ударом Паганини. Это ли не слава! Что вам еще нужно от жизни?

Паганини нахмурился. В эти дни он больше всего думал о судьбе Ахиллино. Он впервые чувствовал необходимость добиваться самостоятельности для себя и Ахиллино, которую ему могли дать лишь большие сборы. Потом бросить этот проклятый город и — в Париж. Он мечтал об этом городе: там синьор Паер, туда теперь переехал Россини, там настоящая музыкальная жизнь, там скрипачи Байо, Крейцер, Лафон.

Прошла неделя. Паганини получил от Ланга бронзовую медаль с надписью: «Исчезнут звуки, но не исчезнет слава». На обороте было выгравировано несколько тактов его любимой мелодии и надпись: «Николаю Паганини, Вена, 1828».

В этот же день гоффурьер привез на квартиру Паганини маленький футляр и пакет. В футляре была та же медаль из золота, а в пакете было назначение Паганини солистом императорской капеллы. Все это было очень лестно. С этого дня пребывание в Вене было окружено тем опасным для артиста покоем, который заставляет настораживаться истинного гения и позволяет терять голову человеку среднего таланта.

Но этот покой был недолог. Вернувшись однажды после прогулки с Ахиллино, Паганини нашел на столе большой розовый конверт. Неведомый друг опять появился на сцене. Он писал из Берлина и предупреждал Паганини, что его слава недолговечна, что его «поступок с женой» известен в музыкальных кругах. «Это уже не первая жертва вашего корыстолюбия и алчности, — говорилось в письме, — и так как господь не оставляет без возмездия тяжелого преступления, совершенного втайне, то все тайное станет явным. В руках у нас имеются явные доказательства того, что вы были венераблем карбонарской венты и что первое ваше

обогащение возникло от пользования деньгами, собранными в кассу политических убийц и воров. Нам известно также, что вы сами были приговорены к смерти. Нам известно также, что вы с пятью преданными рыцарями большой дороги грабили путешественников. Вас искали в Болонье, вы отделались ссылкой на случайность схождения. Но теперь мы доведем это до сведения венской охранной полиции, чтобы она была готова к аресту бандита, скрывающегося под видом скрипача».

Враг шел с открытым забралом и предупреждал письмом.

Паганини вызвал Майседера.

— Не идти же вам с этим письмом в полицию, — смешливо заметил тот. — Порвите и бросьте.

Однако уже в ближайшие дни появились в вечерних газетах строчки, похожие на искры, бегающие в пороховом шнуре. «Очевидно, где-то стоит пороховая бочка, и вскоре раздастся взрыв», — подумал Паганини.

В маленькой хронике католическая газета писала, без упоминания имени Паганини, о пользе пятилетнего тюремного заключения для техники скрипичной игры и о том, что некоторые скрипичные аккорды свидетельствуют о неземной скорби великого грешника, утратившего душевный покой. Демонские звуки, возвращенные в тюремном уединении, — это забава очень опасная для тех, кто предается употреблению этого яда.

Двадцать семь дней продолжался обстрел такими заметками, анонимными письмами. Это были мелкие уколы, но дело дошло до того, что слуги в гостинице отказались убирать комнаты безбожного синьора Паганини.

Наконец вспомнив совет секретаря Меттерниха, Паганини направился в главную венскую цензурную камеру. Скрипучая деревянная лестница, грязная и запыленная, с паутиной по углам, привела его в маленькую, полутемную комнату, из которой он попал прямо в канцелярию страшного венского надзора, под наблюдением которого находились все газеты города. К великому удивлению Паганини, его встретил добродушный старый монах.

— Что я могу сделать с моим глупым помощником! — сказал он с улыбкой возмущенному скрипачу. — Я сам, конечно, не верю всему вздору, который мне ежедневно приходится прочитывать о вас в тех статьях, которые я задерживаю, досточтимый синьор Паганини. Но молодые люди, окончившие семинарии в этом году, преисполнены особым рвением к церкви Христовой. Вы должны быть снисходи-

тельны к ним. Если бы ваш сын, чтобы порадовать отца, и чем-нибудь перестарался, ведь не стали бы вы его называть? Точно так же и я лишен возможности остановить рвение верных детей святой нашей матери церкви. Но я советую вам сделать одно: напишите в театральную газету опровержение всех ходящих о вас слухов, а я прикажу, если газета откажется, напечатать вашу статью. Этим все будет кончено. Вы ведь, правда, не отравили вашу жену и не убили вашу любовницу? Я этому не верю.

Спокойный и вкрадчивый голос старого монаха, его вежливость и какая-то особая тишина, которой веяло от его слов, убедили Паганини. Придя домой, он несколько часов ходил по комнате. Он отказался от очередного концерта, сославшись на болезнь, и весь вечер писал. Корявые строчки становились дыбом, перо не повиновалось. Отвращение мешало ему расставить слова, как надо. Замазанные, перечеркнутые и надорванные листки лежали на столе, на полу, на подоконнике. Наконец он позвонил. Долгий плачущий звонок раздался по коридору. Ответа не было. Он дернул еще раз шнурок. Напрасно. Наконец, разъяренный, он рванул сонетку, и где-то в дальнем углу коридора на полу звякнул оборванный колокольчик. Заспанный слуга появился в комнате и молча остановился в дверях. Паганини запечатал конверт и надписал адрес.

— Отнесите это.

— Что вы, синьор! — произнес слуга в недоумении. — Кто же у меня примет ваше письмо в четыре часа утра! Да и ходить по городу сейчас небезопасно.

Паганини спохватился и взглянул на часы. Оказалось, что эти несколько коротких и напряженных строчек стоили ему почти двенадцати часов.

Он отпустил слугу и, не раздеваясь, лег спать.

Через два дня в газетах появилось следующее письмо, напечатанное жирным шрифтом:

«Паганини спешит изъяснить свою признательность редактору статьи, помещенной в «Театральной газете» пятого числа этого месяца. Но, принося благодарность за лестный отзыв о последних концертах, данных перед лицом образованного и заслуживающего всяческого уважения общества города Вены, Паганини полагает, что некоторые выражения и фразы, допущенные в статье, не только являются излишними но, намекая на темные слухи, пущенные среди разнообразных слоев венского населения, равно как и в среду граждан других городов Европы, требуют с его стороны самого полного и решительного

опровержения как по форме, так и по существу. Паганини смеет уверить общество города Вены, ради защиты своего доброго имени и своей чести, а также ради восстановления беспристрастной истины, необходимой людям, что никогда, ни в какое время, ни в каком месте, никаким правительством и никакой властью и вообще никакими людьми, никакими общественными и частными организациями, ни по какому поводу он не был принужден вести образ жизни заключенного или подвергнутого изоляции человека. Ему, Паганини, ни разу не пришлось вести жизнь, отличную от той, какая свойственна честному человеку и строгому исполнителю правил гражданского и человеческого общежития. Это может быть засвидетельствовано любыми властями, под покровительством которых Паганини находился в те или иные сроки, везде сохраняя свою свободу, честь и достоинство своей семьи и стремясь прежде всего к достижениям высокого искусства, того искусства, служению которому Паганини обязан высокой честью выступления перед тончайшими знатоками высокой музыки, какими являются для него, Паганини, благосклонные слушатели города Вены».

Под этой газетной заметкой еще более выделяющимся шрифтом была дана подпись: «Никколо Паганини».

С величайшим трудом сколотив эти деревянные фразы, Паганини ждал появления своего письма. Он испытал страшное волнение, когда вместо этого прочел нечто совершенно неожиданное. Окаймленные траурной рамкой короткие строки сообщали:

«Сегодня в полдень в Тиргартене умер от разрыва сердца величайший скрипач мира Николай Паганини, не вынесший страшных разоблачений своей биографии».

Паганини читал это объявление вместе с Майзедером. Оно появилось в газете непосредственно после посещения редакции самим «покойным» Паганини. Правда, в вечернем выпуске, специально посвященном вопросу о смерти Паганини, было дано опровержение, а в следующем утреннем выпуске «Театральной газеты» появилось его письмо, но Паганини испытал все, что в таких случаях испытывает человек, сделавшийся жертвой издевательства. К нему приходили неизвестные люди. Раза три ему приходилось отпирать дверь и отвечать на вопрос, кому поручено хлопотать о похоронах и каков порядок возложения венков. Никакие анонимные письма, никакие газетные сплетни не повредили Паганини так, как повредило ему это страшное заявление о своей невинности. Оно вдруг показало венской

публике разоблаченного Паганини, Паганини, уязвленного сплетней, Паганини боящегося, Паганини, попавшего в сети клеветы и подозрения.

«Объявление о смерти Паганини оказалось только преждевременным», — писала маленькая газета, выходившая в Берлине и перепечатавшая письмо Паганини. Газета подвергла критическому разбору каждую строчку. Огульное отрицание какой бы то ни было вины было новым преступлением Паганини. Тон его письма был недопустим. Паганини просто увивал от оправдания, не опровергая по пунктам тех серьезных обвинений, которые на него возводились.

Майзедер в беседе со своим другом упрекал его:

— Ну, отчего вы не посоветовались со мной? Я знаю венских скрипачей, знаю музыкантов Берлина, мне известна стоимость почасовой платы венским журналистам. Неужели вы думаете, что им нужна какая-либо истина? Для них зарплата самая грязная молва дороже всего. Безукоризненный Паганини, не приносящий дохода газете, равно ничего не стоит, даже если он — гениальный скрипач. Паганини — содержатель притона, развратитель, злодей, зарезавший свою любовницу, в тысячу раз дороже. Как вы этого не понимаете! Неужели вы думаете, что кому-нибудь из этих людей интересна ваша живая личность, ваши действительные страдания? Неужели вы думаете, что кому-нибудь из музыкальных рецензентов города Вены интересно вас обелить? Неужели вы думаете, что ваши благородные стремления показать Шпору великодушные и признательность будут истолкованы правильно?

Паганини молчал, глядя куда-то в сторону, но при упоминании о Шпоре быстро повернул голову.

— Что вы знаете о моем визите к Шпору? — спросил он Майзедера.

— Я знаю, как к вам относится Шпор, — ответил молодой скрипач. — Я — ученик Шпора. Шпор находился в зените своей славы в те годы, когда впервые на севере появилось имя Паганини. Маленькая газетная заметка не могла напугать Шпора. Я глубоко убежден, что он слышал вас, и это его испугало. Имейте в виду, что Шпор теперь идет к закату, он играет плохо, он обрюзг, он стал отвратителен в своей папской непогрешимости, ему скучно быть музыкальным Иеговой. Он окружает себя молодыми учениками, которым он раздает патенты на гениальность, при том условии, что они обещают ему травить вас. Почему Шпор повернулся ко мне спиной? У меня умирала

мать в тот день, когда пятнадцать человек страстных почитателей своего учителя, ученики Шпора, должны были присутствовать на его чествовании. Мое отсутствие было истолковано соответствующим образом. Я написал учителю письмо, где объяснил причину моего отсутствия. Мне передали его слова: он сказал, что у всех людей бывают матери и что смерть — это обычная участь человека. Тут было, очевидно, какое-то недосказанное «но». Этот старик ожидал приезда на поклонение даже от постели умирающей матери. С этого дня я его не видел. Вы должны понять, что для этого человека дорог каждый ваш промах, и чтобы навредить вам, он готов отдать последние деньги... Впрочем, у вас есть друзья, — закончил Майзедед и показал Паганини поэму в двенадцати песнях, сочиненную поэтом Кастелли.

Поэма называлась «Паганиниада». В высокопарных фразах Кастелли рассыпал похвалы гению скрипки. Мертвые и сухие, как звуки кастаньет, трещали и стучали рифмы. Паганини прочел первую строчку и бросил поэму на стол.

— А вот еще, — сказал Майзедед: — Фридрих-Август Канне, тоже двенадцатипесенная поэма.

Паганини попросил оставить ему обе вещи.

— Нет, положительно жизнь становится невозможной! — закончил свои размышления Паганини и встал.

Майзедед не унимался. Из мягкой кожаной папки с нотами он достал пачку номеров французской газеты «Музыкальное обозрение».

— О Париж! — вскричал Паганини. — О Франция! Вот куда я стремлюсь всею душой.

— Не рано ли? — спросил Майзедед.

Паганини вспыхнул и отвернулся.

— Я хочу сказать, — быстро поправился Майзедед, — что при вашем неокрепшем впечатлительном характере Париж может оказаться для вас опасным. — Затем, взяв Паганини за руку, он пояснил: — Гений и талант нуждаются в такой крепкой скорлупе, которая защищает от перемены погоды. Я ничего не сказал бы вам против поездки в Париж, если бы не ваше оправдательное письмо. В Вене оно доставит вам еще немало хлопот, в Париже оно будет причиной вашей гибели, если появится на столбцах парижской прессы после первого вашего концерта.

— Нет, — сказал Паганини, — я научился понимать людей, и я знаю теперь, что такое машина славы. Оставьте мне газеты.

Майзедед ушел. Паганини расположился удобнее в кресле и стал читать номер за номером. Некий Фетис дает отчет о его концертах. Он обходится без восклицательных знаков. Он не говорит тех слов похвалы, за которыми скрывается полное непонимание музыки. Коротко и сухо один за другим описаны все концерты Паганини. Вот концерт в Редуте 23 марта. Вот описание собственных произведений Паганини, изложение темы военной сонаты, сыгранной на четвертой струне. Вот в правильной последовательности сказано, что следующая пьеса программы была заменена вариациями из «Золушки» Россини. Вот простое указание на то, что оркестранты присоединились к овациям публики. Вот указание на то, что 11 мая на концерте Паганини присутствовали все члены императорской фамилии. Вот описание концертов в залах Меттерниха, отзыв о концерте Родэ, сыгранном Паганини. «Этот Фетис понимает музыку», — думает Паганини.

Но вот строчки, упоминаящие о Майзедеде. Этот человек принес листы «Музыкального обозрения» с рецензиями Фетиса, невзирая на то, что по обыкновению всех рецензентов Фетис не мог обойтись без сравнения. Зачем ему понадобилось унижать Майзедеда? Как плохо о Майзедеде! И все-таки Майзедед принес как доказательство бескорыстной дружбы эти вырезки и целые статьи. А вот тонкая насмешка Фетиса, которая обнаруживает в нем ум и понимание обстановки. «Как это случилось, — пишет Фетис, — что венская публика сочла возможным свергнуть с трона предмет своего последнего восхищения? Паганини заставил Вену забыть гигантского жирафа, присланного египетским пашой в подарок австрийскому императору».

Паганини легко вздохнул. Жизнь готовила атаку, надо было ответить на вызов, и Паганини решил ответить полным забвением всех требований своего самолюбия.

Монах-цензор, сидящий в главной цензурной камере города Вены, вдруг встал перед глазами Паганини во весь исполинский рост россиниевского дона Базилио, клеветника из «Севильского цирюльника». Паганини рассмеялся. «Неужели может быть для меня неясен вопрос, почему католическая церковь враждебно относится к моему искусству! Я ставлю этот вопрос иначе. Католическая церковь спрашивает, почему я к ней равнодушен. Италия выросла из пеленок, и темные суеверия с фальшивыми чудесами ничего больше не смогут ей дать. Но великое искусство музыки, располагающее вещи этого мира в стройном порядке, — вот что может зародить в душе человека новую

гармонию, новое ощущение мира. Музыка, освобождающая строй души от всего, что удерживает человека во вчерашнем дне, не может быть принята церковью. Значит, необходим окончательный вывод: церковь — враг человека».

Глава двадцать третья

ПРИЖИЗНЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ

В один из тех дней, когда венские газеты устремились уже на поиски нового жирафа и занялись приключениями пропавшей дочери неких богатых родителей, в один из последних дней августа у почтовой станции, неподалеку от Пратера, высадился человек, ничем особенным не выделяющийся, человек в одежде не то клерка, служащего у нотариуса, не то приказчика галантерейного магазина. Однако этот неопределенный человек быстро сбил спесь с извозчика, запросившего слишком дорого. Извозчик, поторговавшись, усадил в коляску этого, ничем не примечательного человека и отвез его к подъезду дома, где жил каноник собора святого Стефана. Здесь ничем не примечательный человек должен был терпеливо ждать, хозяина не было дома. Часа через два раздался стук в дверь. Старая служанка, не спускавшая глаз с посетителя, кинулась к двери. Вошел старый человек в грязном лоснящемся одеянии. При виде посетителя он изобразил на своем лице что-то вроде улыбки, потом, достав табакерку, запустил по две огромные понюшки в каждую ноздрю и произнес:

— Ну, что привело тебя, мой сын, в город его апостольческого величества? Что-нибудь важное вызвало тебя? Как поживает прекрасная Генуя, лучший из городов мира? — Потом, как бы обращаясь к самому себе, старик добавил: — Под старость чувствуешь не столько тяжесть годов, сколько желание покоиться в той земле, которая тебя вскормила.

— Отец мой, мы встречались с вами в трудные годы: припомните, как французское правительство барона Марбо приказало вас повесить, а меня заставили тянуть веревку. Это было, когда сподвижники нечестивого Бонапарта...

Отец Павел поднял левую руку и, остановив говорящего, осенил себя крестом.

Приезжий заговорил снова:

— Генерал Массена, как тигр, бросился в равнину и овладел нашей любезной Генуей...

— Помню, помню, сынок, — перебил отец Павел. — Я прекрасно знаю, что, если бы не твоя смысленность, мне бы не уцелеть. Ты мне скажи, какие новые знаки моей благодарности тебе нужны? Или ты в чем-либо...

— Да, святой отец, провинился, и очень провинился: Я совершил грех. Перед вами — вор.

Глаза священника загорелись, он любил иметь дело с преступниками и вообще людьми, переступавшими пределы обычной морали. Душа потрясенная ищет примирения с миром и боится людей. Вот тут опытный слуга церкви и может найти настоящую жертву покаяния, и, воспользовавшись моментом, сделать из человека фанатика, который всего себя отдаст служению церкви. Нет ничего хуже, нежели человек честный и уверенный в себе: он спокоен и равнодушен и не нуждается в помощи святой матери церкви. Но эти размышления внезапно оборвались, старик нахмурился.

— Какой же храм, — спросил он, — какую монастырскую казну твоя святотатственная рука осмелилась оскорбить? За это нет прощения ни здесь, ни в вечности. Знай, несчастный, кесарево принадлежит кесарю, а божье принадлежит богу. Святой Фома Аквинат в своем божественном трактате говорит: «Кесарь, взимающий налоги в пользу церкви и дающий десятину, есть кесарь праведный». Как же ты смел посягнуть на серебро и золото церкви христовой? Предам, предам тебя.

— Простите, святой отец, я не трогал ни храмового, ни монастырского имущества. Я ограбил только старуху, умершую, никому не нужную, подделав ее подпись.

Старый каноник успокоился сразу:

— С этого нужно было начинать, сын мой. Итак, ты был в бегах. Под какой же фамилией, сын мой, являешься ты к нам, на берега Дуная?

Нови выложил паспорт, опрятный документ, украшенный всеми подобающими печатями и визированный зеленым штампом пограничной австрийской жандармерии. Старик сложил это огромное полотнище и вернул его своему питомцу.

— Ну, что же, добро пожаловать. Аз, грешный служитель христов, прощаю и разрешаю. Кто дал тебе паспорт?

— Маркиз Помбаль, брат нашего страшного врага, врага ордена Иисуса, — сказал Нови.

— Так, так, — старик закивал головой. — Где же и как ты видел маркиза?

— Встретил его случайно, святой отец, в Генуе, на набережной, и он меня окликнул.

— Как же был одет маркиз Помбаль?

— Одет он был в форму морского офицера, и так как я давно не видел маркиза, то принял его за светского человека.

— Ну, ты не мальчик,— сурово сказал старик и, подойдя к вделанному в стенке шкафчику, вынул из выдвижного ящика печатный циркуляр.— Вот, прочитай это секретное письмо генерала нашего ордена.

Нови прочел:

«Дорогие братья, я не могу достаточно выразить вам печаль и горечь, которыми я проникся, узнав о решении, принятом против ордена Иисуса парламентом и королем. Если король и парламент заставят нас при наступлении нового столетия отдалиться от открытого общества, не позволяйте провести это отдаление, даже если придется пожертвовать одеждой нашего святого отца Игнатия: ибо, даже надев светскую одежду, мы можем оставаться объединенными святым обществом Иисуса. Тишина наступает после бури. Обречем себя на долгие годы лишений, чтобы соединиться при наступлении тишины. Постарайтесь соединиться теснее, чем в годы открытой связи. Помните, что нет власти, могущей отменить обеты нашего ордена. Страдайте и с терпением покоритесь всевышнему. Общество Иисуса да существует веки. Я охраняю вас, возглавляю ваше покорное стадо, я обречен переносить удары, на всех падающие. Со слезами даю вам благословение на проникновение всюду и всегда, во все светские союзы и общества, под всеми видами и одеждами, под всеми формулами открытых словес, сохраняя тайную формулу ордена Иисуса».

Нови не знал того секретного циркуляра. Он прочел и умиленно прослезился.

— Тебе также предстоит это делать,— сказал каноник.— Есть два пути для тебя. Мы можем послать тебя в распоряжение отца Павловича в Моравскую тюрьму, где он исповедует карбонариев. Там попустительство светских властей привело к тому, что ослабла дисциплина надзирающих и окрепло упорство заключенных. Там карбонарии Конфалоньери, Маронечелли, Пеллико и два десятка других, не менее зловредных умов, отравляют мысли и чувства христианского населения всех столиц.

— Только не туда! — вскричал Нови.— Только не туда, святой отец! Там слишком хорошо меня знают! Я был уча-

стником допроса карбонариев в миланской Санта Маргарита.

— Ну, а чего бы ты хотел? — спросил старик.

— При въезде в город я видел афиши. Враг святой церкви, скрипач и карбонарий Паганини играет в Вене. Я имею точные сведения, собранные опросом верных сынов церкви в Генуе и Милане, которые я сюда привез. Ради накопления богатства этот проклятый продал дьяволу душу. В Лукке он любил некую богатую женщину. Из ревности он убил ее и в припадке безумия был пойман почти обнаженным на большой дороге в Ливорно. Он был осужден и приговорен к каторге. Посмотрите, как волочит он свои кривые ноги по полу. Он стремится скрыть слабость своих ног, таскавших в течение многих лет тяжелые кандалы. Однажды Паганини посетил дьявол, и свершился чудовищный торг: Паганини продал свою душу за миллион золота.

— Так, так,— говорил старик,— продолжай, я слушаю.

Нови почувствовал, что его наставник еще живее заинтересовался рассказом о Паганини, как только услышалось слово «миллион».

Он продолжал свой увлекательный рассказ.

— Что делал ты последнее время? — перебил тот, наконец.

— Выполнял разные поручения маркиза Помбаля в Риме.

— Да, я слышал, ты служил у него кучером.

— Так, святой отец,— ответил Нови.

— Да, ну что же ты говоришь об этом скрипаче?

— Маркиз Помбаль получил из Рима предложение обратить на него внимание.

— Так, так,— опять зашамкал старик.— Ну, и что же, ты обратил внимание, да? И ты думаешь, что генерал ордена благословляет твое внимание?

Нови молчал.

Старик достал из шкафчика маленький сафьяновый мешок, вынул оттуда микроскопическую записную книжку и, поправив очки, внимательно перелистал несколько страниц. «Ну, что же, с нынешнего дня я поручу братии узнавать точно все денежные дела этого музыканта. Отчисления в наших руках. Труднее обстоит дело с банковскими секретами. Ну, да и это преодолимо».

Старик быстро обдумывал, по каким каналам должна завтра устремиться волна его приказаний. Банковские

чиновники, счетоводы, журналисты, собирающие сведения о гонорарах, все были в его руках.

— Не станет же он возить с собой свободную наличность,— как бы подтверждая собственную мысль, произнес старик.— Кто из твоих помощников...— старик запнулся,— нет, мы дадим тебе своего. У меня есть певчий императорской капеллы Урбани, мы пустим его в качестве призрака, сопровождающего Паганини, это будет его карбонарская тень, его двойник.

— В лучах ясного света, растет мрак, окружающий Паганини,— сказал Нови.— Паганини — это грязный козлоногий демон, идущий со свирелью эллинского дьявола по городам Европы. Снимите с него сюртук и штаны, и вы увидите, что это не человек; остригите его волосы, вы найдете рога; скиньте с него башмаки, вы увидите раздвоенные копыта.

Старик своими прозрачными глазами цвета бирюзы поглядывал на вдохновенного клеветника.

— Ты все это видел сам? — Так, так,— подтвердил он, не дожидаясь ответа Нови.— Святой отец Пухальский, сидящий во главе цензурной конторы, рассказал мне об этом скрипаче.

Глаза его так насмешливо и понимающе взглянули на собеседника, что тот запнулся, и речь его пресеклась.

— Что же ты молчишь? — сказал старик.— Быть может, тебе неизвестно, что святой отец и первосвященник римской церкви благоволят к твоему скрипачу, к твоему козлоному дьяволу, к твоему каторжнику! Может, ты хочешь знать, кто он? Он — кавалер папского ордена Золотой шпоры, вот кто он, а ты — щенок, и осмеливаешься...

— Боже мой, я не знал, я не знал, что святой отец...

— А! Ты не знал! — вдруг петушиным голосом пропел старик.— Так вот я тебе скажу, чтобы ты знал: ты неплохой малый, но если при буре ты будешь тверд, как льдина, то при дуновении теплого ветра ты можешь растаять. Если хоть один волос падет по твоей вине с головы кавалера ордена Золотой шпоры, великого музыканта императорской капеллы, синьора Никколо Паганини, раба божьего и верного сына церкви христовой, то у тебя не только волосы спадут, но и голова скатится с плеч. Понял?

Нови побледнел, он чувствовал, что его одежда внезапно стала мокрой от испарины, у него дрожали руки и колени, он смотрел на страшного старика и, зная хорошо порядки ордена, уже чувствовал, что рука того тянется к

синему конверту. Но, не видя синего конверта, окончательно упал духом. Значит, ему угрожает не простое исключение из ордена, а как только он выйдет из этой жарко нагретой комнаты, он будет схвачен на улице и брошен в тюрьму как человек, подделавший подпись и получивший чужое наследство. А через месяц он сгниет в каком-нибудь тюремном колодце, как обыкновенный уголовный преступник, нарушивший светский закон. Ужас охватил Нови. В эту минуту он ненавидел Паганини гораздо больше, чем еще за час перед этим.

Старик смотрел на него и, казалось, его не видел. Старик давно знал, какова была судьба Паганини в Парме. Все рукописи Паганини и все его ноты, лежавшие в Парме на сохранении, украдены, а синьор Пино, генерал пизальпинского легиона и карбонарий, десять дней тому назад внезапно скончался. По приказанию министра полиции, графа Седленицкого, опечатана квартира генерала Пино в Милане. В его бумагах найдены ноты, письма и дневники синьора Паганини. Все нити, связывавшие внезапно умершего генерала с синьором Паганини, теперь в Вене, в руках полиции. Старик знал, что одиннадцать карбонарских вент из Италии перекинули свою работу во Францию, но он знал также, что король Карл X с каждым днем все больше и больше подпадает под влияние ордена Иисуса и что не нынче-завтра Франция станет тем местом, откуда начнется полная реставрация господства церкви во всей Европе.

Если отец Лашез, духовник Людовика XIV, сходя в могилу, предупреждал короля о необходимости взять себе духовника иезуита, то этого короля не нужно ни о чем просить, он сам идет всему навстречу. Если там понадобилось напоминание отца Лашеза о том, что он не поручится за безопасность короля, буде его величество возьмет другого духовника, то здесь король сам хорошо знает, что бороться с орденом невозможно.

Наступает год решительной борьбы. Следует ли пренебрегать возможностью скопить большое богатство в руках человека, наследником которого является единственный хилый ребенок? Если Паганини станет несметно богатым сыном церкви, то это богатство будет уже богатством церкви.

Есть две возможности: или этот скрипач погибнет, или станет славой господней.

— Итак,— сказал старик, обращаясь к Нови,— отныне путь того человека будет направлять рука всевышнего че-

рез посредство нашего святого ордена Иисуса. Поручаю тебе эту высокую и благочестивую задачу, но предупреждаю тебя, сын мой, что в тот день, когда ты уклонишься от пути и начнешь действовать по-своему, ты будешь выдан светским властям, как обыкновенный вор, и заслужишь казнь. Ныне имя маркиза Помбаля за тебя ручается. Но чтобы я мог тебе верить и дальше, скажи мне сейчас, назови мне только одно имя.

— О ком вы говорите? — помертвевший Нови даже привстал от ужаса. — Не хотите ли вы сказать, что нашим истинным владыкой является не папа, а тот, кого молва ныне прозвала в силу могущества «черным папой»?..

Старик не смотрел на Нови, он, казалось, даже не слушал. Облокотившись на стол, он положил голову на ладони. Он был извещен и о том, что как раз в тот день, когда приехал Нови, в Риме произошли перемены. Ему необходимо было довести своего собеседника до состояния панического ужаса, а потом, ошеломив его внезапным ударом, узнать степень его осведомленности. Но хитрец Нови сам слишком хорошо знал приемы ордена. Произнеся последние слова, он остановился и не назвал имени. Случайно, в северном маллпосте, до него донеслась, как шелест ветра, весть: генерал ордена иезуитов, отец Алоиз Фортис, скончался. Он умер странной смертью, и его место занял другой, тот, кого действительно называли «черным папой», тот, кто тайно возглавлял римскую церковь.

Молчание старого каноника не предвещало ничего доброго. Нови был раздавлен. Едва шевеля губами и чувствуя, что язык ему не повинуется, он продолжал свою фразу:

— ...Генерал ордена Иисуса, кардинал Роотаан.

Но старик как будто не слышал, он отрывисто кашлял и вдруг произнес:

— Так, так, — будем считать наш уговор состоявшимся. Итак, именем генерала нашего святейшего ордена я, рабов господних, предписываю тебе, сын мой, неуклонно и неукоснительно ночью и днем иметь неусыпное, бдительное и строжайшее наблюдение за путями названного нами раба господня.

Затем перешел к делам, практического свойства. Закрывая зевающий рот рукой, старик объяснил Нови, что с ним будут четыре фамильяра в разных городах. Для него будут заготовлены четыре пергамента — два с маленькой цифрой даяний и два с большой цифрой даяний.

— Сделаешь так, как положено в нашем обществе, —

говорил старик. — Цифру даяний на церковь на верхнем листе ты отметишь малую, а на копии, засвидетельствованной фамильярами, большую. Цифру даяний, завещанных родным, ты отметишь на подлинном завещании большую, а на копии — малую. В случае успеха, когда завещатель подпишет, ты, взяв все четыре документа, два верхних передашь фамильярам на уничтожение. Ясно ли говорю я? — спросил старик Нови с обидным сомнением в голосе.

Нови произнес с упоением:

— Ясно, отец мой, ясно.

— Ясно, пока мы говорим с тобой здесь. Но смотри, чтобы не затемнили ум тебе последующие десять лет скитаний.

Нови тихонько поднялся с кресла. Он был бледен, опустился на колени и молитвенно сложил руки.

— Смотри, чтобы в одно прекрасное утро, проснувшись ты не получил синего конверта с последующим страшным завершением.

— Только не это, святой отец, только не это! — молитвенно заговорил Нови.

— Нет, сын мой, именно это! — сказал старый иезуит и возложил руку на голову коленапоклоненного монаха. Нови встал.

Утром следующего дня он узнал, что великий артист уехал в Прагу. «Какое счастье, что не в Париж», — подумал Нови и облегченно вздохнул.

За несколько дней до отъезда Паганини из Вены в венском театре шла оперетка под названием «Фальшивый виртуоз». Мейзель написал стишки, едкие куплеты, ругающие Паганини последними словами. Паганини назван был там «солистом», потому что играл только на одной струне соль. Актер, игравший фальшивого виртуоза, был загримирован довольно удачно. Он делал невероятно скучные и томительные пассажи на скрипке, которую перепиливал деревянной пилой. Вместо скрипки ему подсовывали к подбородку гигантский контрабас, поддерживаемый двумя пальчиками в кожаных фартуках. Веселая музыка привлекла в венский театр огромную толпу народа.

Военный врач Маренцеллер нашел у Паганини все признаки чрезвычайного переутомления. Паганини стал крайне раздражителен. Чтобы успокоиться, он выехал, на отдых в Карлсбад, сообщив в Вене представителям печати о предполагаемых концертах в Праге. Так как в последующую неделю Прага не увидела Паганини, то в газетах пер-

воначально появились сведения о его полном исчезновении, потом о тяжелом заболевании, и, наконец, все пражские газеты поместили траурное объявление о его смерти. То, чего не решались сказать о человеке при жизни, начали громко говорить после его смерти. Объявилась синьора Бьянки. Редакция большой пражской газеты получила от нее депешу с просьбой сообщить, где умер ее супруг и в чьих руках находится ее сын.

Неизвестно, что ответила пражская газета синьоре Бьянки, но только в это время Паганини можно было видеть живым и здоровым, едущим по одной из горных дорог Австрии с маленьким Ахиллино, с няней и с синьором Урбани, итальянцем, встреченным им недавно и обнаружившим чрезвычайную преданность и бескорыстное желание помочь синьору Паганини.

Прошла еще неделя. Газеты, печатавшие объявления о концертах Паганини, выходили двойным и тройным тиражом. Паганини воскресший был гораздо интереснее. Но кто искренне сожалел о том, что Паганини не в гробу, это пражская консерватория, от всей души ненавидевшая венских музыкантов. Слава, созданная скрипачу в Вене, была уже недостаточным поводом для того, чтобы в Праге вознегодовали. Однако ожесточенные нападки пражских рецензентов, начавших целую кампанию против Паганини, не помешали публике ломиться на концерты так же, как и в Вене.

Нашлись у Паганини в Праге истинные друзья и почитатели. Молодой Макс-Юлиус Шоттки неотступно следовал за Паганини. Казалось, ему доставляло удовольствие дышать с ним одним воздухом. Он баловал маленького Ахиллино, он преследовал Урбани расспросами, он приносил Паганини газеты и кипы журналов, он сообщал ему все свои соображения по поводу критических выпадов. Не будучи удачливым в музыке, Шоттки захотел отличиться в литературе. Свое бескорыстное увлечение великим скрипачом он превратил в работу панегириста и захотел создать при жизни Паганини памятник ему и вместе с тем увенчать славой свое имя.

Когда Шоттки очень надоедал Паганини, тот вынимал два или три анонимных письма и читал ему вслух. Паганини любовался наивным ужасом этого неблестящего ума. С другой стороны, его радовала встреча с Шоттки как с благожелательно настроенным к нему человеком. Правда, в иных случаях скромность мешала ему говорить — о любовных связях, о вражде, еще не остывшей, о своих успе-

хах и о человеческой ненависти, — но Паганини сам говорил, что иногда ему доставляло удовольствие разглаживать эти морщины времени, поднимать занавес прошлого и отодвигать ширмы своей памяти.

Шоттки стремился к установлению точной хронологии событий. Паганини путал годы, дни, числа. Он мог хорошо вспомнить свет зари, сияние облаков над морем, он мог вспомнить звон колоколов при крутом повороте горной дороги, но не помнил ни чисел, ни месяцев. Шоттки представлял их от себя. Добросовестный биограф все настойчивее и настойчивее наступал на Паганини, вплотную подходя к тем годам, о которых Паганини не хотел говорить вовсе.

Перед ним сидел человек, отягченный лаврами и флоринами, как говорили о нем пражские газеты, этот богач, о несметном состоянии которого ходили в Праге легенды, богач, который расценивал свои концерты так дорого, что люди лишали себя удовольствий на целый год ради того, чтобы слушать его один вечер, — этот человек не хотел рассказывать о нищете, о побоях отца, о тяжелом и упорном труде. Шоттки принадлежал к числу тех, кто не верил в возможность выступать без постоянных упражнений перед концертами, а между тем Паганини ничего не читал, ничего не делал, он не касался скрипки, он не касался нот, — он брал инструмент, лишь выходя на эстраду. Шоттки был в недоумении. Он не мог разобраться не только в этом. Вот почему многие записи о Паганини, которые мы находим в его прижизненной биографии, сданной в набор в 1829 году, подобны зарисовке недостоверной и к тому же сильно пострадавшей от времени.

Глава двадцать четвертая

ОПЫТНЫЙ ВРАЧ

Урбани получил предписание вызвать врача. Паганини тяжело простудился с наступлением осени в Праге и лежал. Молодой остролицый человек через два часа постучал в комнату скрипача. После мучительной процедуры осмотра он выказал чрезвычайный интерес к тому, как проводит время синьор Паганини. Он с удивлением узнал, что скрипач никогда не бывает на исповеди, никогда не принимает святого причастия. Он покачал головой и сказал:

— От этого могут быть многие болезни. У вас болит горло, у вас белые налеты в глотке, это нехорошо.

Он достал пузырек с сильно пахнувшей жидкостью, кисточку и смазал этой жидкостью горло Паганини. За этим последовал тяжелый обморок больного. Всю ночь больной метался в испарине и в бреду.

На следующий день заболели челюсти, раздулась щека, заболели уши. Газеты известили публику о болезни синьора Паганини. Афиши были перечеркнуты ярко-синей полосой с надписью: «Отменяется».

Бред возобновился. Паганини вставал, звонил слуге, ему казалось, что Ахиллино выбрасывается из окна. Он дергал шнур, открывалась штора, перед ним сиял пражский день, а ему казалось, что все еще продолжается томительная, душная ночь. Чувство страшного одиночества и боязнь за ребенка овладели душой Паганини.

Шоттки спрашивал, кто лечит синьора Паганини. Но как раз в тот момент синьор Урбани исчезал из комнаты.

Однажды, когда Шоттки сидел у постели больного, слышались шаги по лестнице.

— Вот, наконец, идет врач, — сказал Паганини.

Молодой профессор поднялся. Дверь быстро захлопнулась, вошел Урбани.

— Мне казалось, что там доктор.

— Нет, синьор, это почта.

Он быстро порылся в боковом кармане и достал оттуда письмо, измятое письмо, лежавшее в кармане три дня. Паганини не обратил внимания на то, что штемпель на обороте конверта неуклюже распозлся под новым клеем. Писал Гаррис, предлагая встретиться в Берлине. Он оставил дипломатическое поприще, ему хотелось предпринять путешествие по Европе. По старой памяти он предлагал себя в спутники синьору Паганини.

— Какое счастье! — воскликнул Паганини. — Я напишу ему... Но мне казалось, что здесь доктор.

— Нет, нет, — Урбани отрицательно качал головой.

Зубная боль помешала писать. Три дня он не мог принимать пищу. Не выдержав, Паганини ночью послал за врачом.

Явился напояженный, надушенный молодой человек: его коллега выехал за город к заболевшей венгерской графине. Врач осмотрел больного и сделал прижигание горла. Потом, смазав десны, он вырвал больной зуб. У Паганини закружилась голова. Он совершенно ясно слышал латинскую речь около себя. Рядом раздался голос: «Claude

Janiam»¹ и ответ «Clausa est»². Кто это говорил, Паганини не помнил: он в этот момент потерял сознание.

Утром новый доктор, Меланхолер, присланный от медицинского факультета, установил, что у Паганини изъято восемь зубов нижней челюсти и два верхней.

— Кто проделал над вами эту чудовищную операцию? — спросил Меланхолер.

Язык не повиновался Паганини. Меланхолер пожал плечами.

— У него паралич гортани... У вас не было французской болезни? — спросил он грубо.

Паганини качал головой. Меланхолер сделал новое прижигание, грустно пожал плечами и ушел.

Паганини лежал тридцать семь дней. Тяжелые и тоскливые дни потянулись один за другим. В полусознательном состоянии, почти в бреду он проводил дни и ночи. Шоттки сделал все, что хотел больной, которого мучила тревога за ребенка. Сотни всевозможных игрушек были расставлены в большой соседней комнате, оглашавшейся рукоплесканиями и смехом ребенка. В минуты облегчения, приняв беззаботный и веселый вид, Паганини вызывал ребенка для короткого разговора и, не будучи в силах произнести больше пяти-шести слов, писал Шоттки программу следующего дня Ахиллино. Потом в изнеможении выпускал карандаш из онемевших пальцев и закрывал глаза. Временами казалось, что кончается жизнь. По утрам Ахиллино, приходя, смотрел на него большими, широко раскрытыми глазами.

По истечении месяца наступили часы благодетельного сна. Перестало так давить грудь и горло, и голова освобождалась от страшного ощущения, будто она оплетена паутиной, закрывающей глаза, рот, уши, липкой, но неуловимой. Эту паутину бессознательно стремились снять пальцы Паганини. Это были мучительные поиски тонких нитей, влезających в уши, потом казалось, что эти нити висят на пальцах и их нужно стряхнуть, но они опутывали губы, глаза, попадали в рот, между зубами, дышать становилось все трудней и трудней.

В те часы, когда приходил сон, вдруг раздавались звонкие крики, и гора игрушек, падая, рассыпалась на полу. Паганини просыпался, ему казалось, что падала Пизанская башня под ударами молний. Вбегал маленький чело-

¹ Запри дверь.

² Заперта.

век в белом костюме с серебряным шитьем. Красный венгерский кушак опоясывал бархатную куртку. Кивер с султаном покрывал белокурую головку, голубые глаза искрились. Ахиллино вынимал игрушечную саблю и напал на отца, он ранил его в грудь. Паганини, забывая боль, улыбался. На тридцать пятый день вернулся голос. Первый раз Паганини почувствовал, что он не прошептал, а сказал полным голосом: «Ангел мой, ты видишь, я уже ранен!» Мальчик, слыша этот голос и видя отца, лежащего с закрытыми глазами, вскочил к нему на грудь, сел верхом и принялся открывать ему веки.

Наступил январь 1829 года. Паганини встал, ходил по комнате. Он исписывал огромные листы нотной бумаги, но потом опять его охватывало чувство неотвратимой тоски. Он переживал непонятное для самого себя состояние существа, стоящего на грани жизни и смерти.

И вот приехал Гаррис. Озабоченно выпросив все, что было можно, у пражских докторов, он тщательно скрыл ужас, который вызвали возникшие у него подозрения.

Гаррис не терял времени даром. Он привез целую кипу газет, музыкальных журналов, бюллетеней. Он со смехом показывал Паганини вырезки из газет, аккуратно печатавших сведения о доходах Паганини.

— Вы будете скоро самым богатым человеком в Европе, — говорил Гаррис, — но, вы знаете, забавное явление: в Гамбурге, в Лейпциге, в Берлине продаются ваши ноты с вашим портретом баснословно дорого. Издатели ссылаются на то, что гравировка ваших крючков-нот мельчайших длительностей с форшлагами и другими мелизмами, да еще и с какими-то небывалыми знаками, стоит огромных денег.

«Что-нибудь тут не так, — писал Паганини на дощечке из слоновой кости, — я продал вариации на «Моисея» Россини, я подготовил, но не успел продать новое издание Локателли, я продал «Баркароллу» и двадцать четыре каприччио». Последовал длинный перечень того, что написано, но не продано.

— Что вы! — говорил Гаррис. — Я видел ваши «Падуанские очарования», сонаты концертанте, «Два чуда», двадцать пять менуэтов, «Весну», «Наполеона», я видел ваших «Колдуний».

Паганини привстал на кровати, с испугом глядя на Гарриса.

— Откуда это? Все эти вещи были мною оставлены моему другу генералу Пино.

— Позвольте, генерал Пино... генерал Пино давно умер.

— Как давно умер, что вы говорите?

— Генерал Пино умер несколько месяцев тому назад.

— Боже мой! Мои ноты, мои письма, мои дневники, мои документы! — закричал Паганини.

Гаррис понял, что сделал большую ошибку.

С этого дня Паганини не покидала тревога.

— Неужели это все выкрадено? — иногда, прерывая разговор, восклицал Паганини.

— Успокойтесь, — говорил Гаррис, — не может этого быть.

Он через английские консульства в европейских столицах собрал все пьесы, вышедшие под фамилией Паганини. В скором времени великий скрипач убедился, что он обокраден европейскими издательствами. Все, что осталось в Италии, разметал ветер по европейским столицам. Но Гаррис очень быстро поправил дело. Двадцать тысяч флоринов получил Паганини, не выезжая из Праги. Урбани разъезжал по городам, собирал деньги, привозил чековые книжки, размещал, по указанию Гарриса, в банках крупные суммы, получаемые от издателей.

Из Праги было ближе всего ехать на юг, и так хотелось во что бы то ни стало двинуться через Альпы, увидеть Венецию на зеленой лагуне! Но Гаррис решительно протестовал:

— Только не теперь. Ваше пребывание в Праге не внушает мне никаких опасений, а в Италии за последние месяцы пострадало слишком много ваших друзей. Родная почва будет сейчас питать вас ядовитыми соками.

— Сколько же времени это будет продолжаться?

— Не знаю, — сказал Гаррис и хитро наморщил лоб. — Думаю, что несколько лет.

Трудно было понять, в шутку говорил он или серьезно. Но Паганини решил следовать советам Гарриса: они выручили его неоднократно в трудных случаях жизни.

Первый концерт он дал в Дрездене. Саксонские газеты писали не столько о музыке, сколько о том, что Паганини получил сборов тысячу двести пятьдесят талеров, милостивую улыбку королевы и украшенную бриллиантами золотую табакерку с портретом короля.

В Лейпциге концерт внезапно сорвался. Газеты слишком много шумели о колоссальных гонорарах Паганини. Лейпциг был наэлектризован молвою о его сказочном богатстве.

Лейпциг встретил Паганини враждебно. Магистрат оказывал какое-то странное давление на программу концерта. Директор лейпцигской музыкальной школы поставил условием выступление в концерте своей дамы сердца. Сделано это было в очень грубой форме, совершенно открыто. Паганини развел руками и просил Гарриса передать, что он не может обеспечивать во всех своих европейских выступлениях любовниц и содержанок, предлагаемых бургомистрами под угрозой неблагоприятной встречи в городе, директорами театров — под угрозой отказа в помещении, редакторами газет — под угрозой клеветнических статей и ругательных рецензий. Гаррис пытался смягчить резкость этой отповеди, но Паганини не согласился ни на какие уговоры. И так как Гаррис спорил, то Паганини сделал все, чтобы еще более обострить положение. Он написал письмо администратору лейпцигского театра в таких выражениях, которые неминуемо должны были вызвать крупную ссору.

Результатом явилось то, что обычный состав оркестра был внезапно удвоен, и начавшиеся репетиции пришлось прекратить ввиду исключительной бездарности новых оркестрантов. Старишки, игравшие по ресторанам и трактирам, свадебные скрипачи, органисты, вышедшие давно на пенсию и служившие уборщиками в католических учреждениях, тамбурмажоры и военные музыканты, служившие в полицейском оркестре, — все это было двинуто против Паганини и оглушило его отвратительным скрежетом, писком и визгом на первой же репетиции. Список вознаграждений этому новому набору напоминал список военной контрибуции. Паганини поручил Гаррису уменьшить состав оркестра. Тогда первая половина — постоянный состав оркестрантов лейпцигского театра — отказалась участвовать в концерте.

Снова потеряв голос на репетиции, Паганини должен был обратиться к врачу. В присутствии Гарриса доктор, немецкий хирург, покачав головой, заявил синьору Паганини, что его, очевидно, лечил какой-то шарлатан. Гортань изъедена язвами, напоминающими французскую болезнь.

— Но это не то, — сказал немец. — Однако состояние во всяком случае очень серьезное. Кто вас лечил?

Паганини не мог ответить на этот вопрос. Обратились к Урбани. Урбани не было дома.

— Я могу вас вылечить, — сказал доктор и многозначительно взглянул на Гарриса.

Паганини вышел в соседнюю комнату. Доктор назвал

колоссальную сумму денег, и Гаррис отказал ему. После ухода врача Гаррис уговорил Паганини начать лечение в Берлине.

Четвертого марта, забыв о лейпцигском приключении, забыв о нападках берлинских газет, возмущенных жадностью скрипача, не давшего ни одного концерта в Лейпциге, Паганини выступил в берлинском театре с концертом.

Этот концерт наделал много шума. В Берлин приехал Шоттки. Он отправился к своему другу Людвигу Рельштабу, и они вдвоем подготовили ряд статей в «Vossische Zeitung», настолько удачных, что первое выступление Паганини было полным триумфом. Даже Шпор удостоил концерт своим посещением и сидел в первом ряду, закусив губы.

Рельштаб писал, что Паганини осуществил невероятное, переступил грани возможностей, данных человеку природой. Победа такого рода не обходится человеку даром. Скрипач производит впечатление существа нездешнего мира. Трудно понять, что это — ангел или демон, воплотившийся в обыкновенную человеческую оболочку, но только — эта оболочка носит отпечаток того невероятного, гигантского труда, который скрипач вложил в свое искусство. Следы страшного, мучительного утомления легли на лицо Паганини. Нет скрипача, похожего на Паганини хоть сколько-нибудь внешне, и нет музыканта, который смог бы превратить деревяшку в тот одухотворенный инструмент, каким оказывается скрипка в руках этого гения. Этот автор «Колдуньи» сам является чародеем. Кто переступит те грани человеческого мира, которые казались навсегда узаконенными природой? И есть ли какая-нибудь мера для определения силы этого гения?

Об этом говорили стихи Карла Холтея, об этом кричали берлинские газеты.

Весеннее половодье уничтожило многие прусские села и деревни. Сотни тысяч людей были разорены. 6 и 29 апреля, при громадном стечении народа, состоялись концерты по невероятной вздутым ценам. Берлинская публика ответила на то взрывом негодования, но по-прежнему ломилась в зал. Перегородки и турникеты опрокидывались толпой. Газеты выли от негодования. Паганини называли Гарпагоном, отвратительным скрягой, алчным и ненавистным итальянским драконом.

Увеселитель берлинской публики, пародист и куплетист Сафир дважды обращался к Паганини с просьбой о пред-

оставлении ему дарового билета, но так как он имел неосторожность сопроводить свою просьбу угрозой публично высмеять Паганини, если ему откажут, то Гаррис ему отказал, в силу категорического требования Паганини высоко держать знамя мужества и достоинства. И вот появилась заметка под названием: «Паганини, два таланта и я». Сафир написал ядовитую статью на тему о жадности Паганини, где ставил себя в пример великому скрипачу.

«Мы оба, быть может, в одинаковой мере стараемся заслужить внимание берлинской публики. Паганини на одной «Saite», а я — на нескольких «Seiten»... Увлечшись игрой слов «струна» и «страница», Сафир не догадался только об одном, — что сбор с обоих этих концертов, данных Паганини по высоким ценам, был, по приказанию концертанта, отдан Гаррисом в комитет по оказанию помощи жертвам наводнения.

Кассель, Франкфурт, большие и малые города Германского союза слышали Паганини.

Шпор писал в 1830 году:

«Паганини только что дал два концерта в кассельском театре. Я следил за его игрой на этих концертах с исключительным вниманием. Его левая рука работает с безукоризненной точностью и внушает мне чувство самого настоящего восхищения. Но в его композициях, в его стиле я обнаружил странную смесь явной гениальности с детской грубостью и безвкусицей, в силу чего общее впечатление от игры Паганини было для меня далеко не удовлетворительным.

Дважды мы присутствовали с ним на обедах в Вильгельмское, он показался мне человеком чрезвычайно веселым, общительным, острым на язык. Мы сидели с ним рядом».

В это же время в других германских газетах появилась заметка Гура, который писал, что «Паганини, этот отвратительный человек с невозможным характером, в высшей степени неприятен в общении. Надо думать, что его разрушенное здоровье является причиной его вечно дурного расположения духа».

Урбани с настойчивостью доверенного слуги, ревнующего господина к новому любимцу, настаивал на необходимости ехать в Париж. Гаррис принес вырезки из парижских газет: там уже есть портрет Паганини — обычный рассказ об убийствах, о скрипке, проигранной в карты, о тюремном заключении и о предводительстве шайкой итальянских бандитов. Один журналист сообщал, что Паганини

находится в Париже инкогнито — «присматривается и приноживается», но что ему, этому журналисту, удалось иметь беседу с Паганини. Приводится беседа с Паганини, портрет Паганини, портрет синьоры Бьянки и маленького Ахиллино. Портрет Паганини был обычным, установленным для этого рода газетным клише, но синьора Бьянки оказалась невероятной красавицей: для нее просто была взята какая-то старая итальянская гравюра, изображавшая Мадонну.

Что касается Ахиллино, то, очевидно, репортер воспользовался дагерротипом какого-нибудь циркового бульдога, вундеркинда с атлетическими мышцами и жесткими азиатскими скулами. «Рано ехать в Париж», — хотел сказать Паганини. Но у него ничего не получилось. Гаррис с тревогой взглянул на своего друга. Паганини сипел, шипел сдавленной гортанью. Нервно схватил пластинку из слоновой кости и написал карандашом: «Не еду в Париж».

Он взял монету со стола, это был старинный саксонский дукат. На одной стороне был изображен портрет Августа Саксонского с гербом, а на другой — берег с пальмами и коленапреклоненный негр с гигантским блюдом сокровищ южных стран в высоко поднятых руках. Паганини написал на дощечке: «Если саксонский король шлепнется на пол, то негр укажет нам дорогу на восток. Если саксонский король откроет нам свое лицо, поедем на запад». Он высоко подбросил монету. Звонко ударился золотой дукат о каменный пол.

— Негр! — закричал Гаррис.

Утром стали собираться в Варшаву.

Глава двадцать пятая

ПИСЬМА И ПАССАЖИРЫ

Еще не было железных дорог. Наиболее организованное движение конской тягой было осуществлено господином Лаффитом во Франции. Не одну тысячу карет во все стороны рассылали его почтовые дворы, и одиннадцать миллионов франков чистого дохода получал ежегодно господин Лаффит. Старики Бонафус и Кальяр должны были уступить ему дорогу. Господин Лаффит имел банк в Париже. Отделения этого банка были в столицах европейских государств, в том числе и в Варшаве. Секретно скупая акции мессаджеров и эйльвагенов, господин Лаффит распространил свою агентуру от Парижа до самых границ

Российской империи. Господин Лаффит был влиятельной персоной в Париже, и если бы не странное направление политики Карла X, то, конечно, господин Лаффит был бы членом правительства, более влиятельным, чем кто-либо из восседавших там дворян. Так по крайней мере рассуждали французские спутники Паганини, ехавшие с ним в большой почтовой карете по дороге на Калиш.

Паганини путешествовал опять в почтовой карете. Во Франкфурте-на-Майне остались Гаррис, Ахиллино и все движимое имущество великого скрипача.

В Варшаве предстояли важные концерты. Русский царь, раздавив своих врагов, расстреляв Сенатскую площадь, на которой собрались восставшие офицеры и солдаты, ехал в Варшаву возложить на свою голову корону польского короля, и, затаив ненависть в сердце, присягнуть польской конституции.

В Варшаве ожидалась большие праздники, и вот Паганини решил именно там использовать несколько парадных вещей, написанных им в торжественном стиле.

...В той же карете ехали кожаные мешки с большими замками, с сургучными печатями и стальными цепями. Это была международная почта. В этом синем эйльвагене, направляющемся к русской границе, ехал скрипач Никколо Паганини, а наверху, на сетке, в кожаном мешке спокойно лежал толстый большой пакет из серой бумаги, адресованный к тому человеку, под надзор которого Паганини подал в Варшаве. В пакете лежали листы, исписанные красивым почерком:

«В Варшаву, ксендзу о. Ксаверию Коженевскому.

Дорогой аббат, сообщаю Вам только то, что помню, и то, что недавно удалось услышать. Тороплюсь и поэтому пишу сбивчиво.

Мадемуазель Март вернулась в Париж только в тот момент, когда граф д'Артуа возложил на себя корону Франции в Реймсе и стал королем Карлом X. В тот день мадемуазель Март исполнилось восемьдесят девять лет. Она мало изменилась: превратившись из красивой когда-то женщины в маленькую старушку, она сохранила живость взгляда. Сросшиеся черные брови не поседели, глаза были по-прежнему круглы, огромны, черны и выразительны. У нее сохранился даже свежий цвет лица. Легкие морщинки появились только около глаз. Нос с горбинкой придавал ей еще большее сходство с миролюбивой домашней птицей. Она остановилась у двоюродной сестры в Малом Пиклюсе, но потом переехала в Тюильри и заняла комнату,

принадлежавшую когда-то фрейлине — ее матери. Годы, проведенные в изгнании, нисколько не поколебали ее характера. Она отличалась всегда чрезвычайной добротой и кротостью. Ее набожность стала беспредельной.

В свите принца Конде и при дворе герцога Брауншвейгского она пользовалась неоспоримым авторитетом и могла в любую минуту перевернуть решение двора одним простым и коротким словом. Не было случая, чтобы она воспользовалась этим для себя. Она кормила вдов и сирот, сама оставаясь голодной. Жертвы якобинского террора всегда могли найти у нее помощь и внимание. Казненного короля она считала святым и с разрешения отца Лакордера возносила ему молитвы, как ангелу, близко стоящему к престолу всевышнего.

Она тяжело болела дважды. Первый раз, после посещения своих монахинь, живших неподалеку от Брауншвейга, она, выходя из кареты, промочила ноги, пролежала шесть недель в жару и бреде, и предметом ее бреда был главным образом покинутый монастырь бернардинок. Второй раз снег застал ее в дороге; по обыкновению, она была плохо одета. Легкие ее наполнились кровью, она едва не умерла. Вдобавок, она постилась и приобщалась. Но твердость ее характера и тут дала себя знать. Она заявила своему духовнику, что всевышний до тех пор не захочет ее смерти, пока она снова не приведет в порядок своей обители.

Она действительно выздоровела, но, несмотря на все уговоры друзей и почитателей, не соглашалась ехать в Париж при Людовике. Она поставила непременным условием своего возвращения выселение всех, кто по праву революции занял ее монастырь. Она потребовала возвращения всех бернардинских имуществ, так как в списках римской апостолической курии она по-прежнему числилась настоятельницей монастыря Визитации.

Что же Вам сказать, дорогой аббат? Вы сами в вашей швейцарской глуши узнали превратности судьбы. Не сердитесь за светский тон моего письма Вам в Варшаву. Я так привык думать о Вас как об эскадронном командире, о своем начальнике, что не могу придерживаться церковных оборотов французской речи. В следующий раз буду писать Вам по-латыни, тогда, уверен, мой тон Вам понравится. Латинский язык не располагает к болтовне, а наша французская речь, пострадавшая от якобинства, так же, как и все в мире, в настоящее время засорена плебейскими оборотами и словами пьяного мастера. Мир пошел

вверх дном. Вот видите, тридцать лет тому назад я ни за что не написал бы этой фразы. Теперь я пишу ее смело и многое другое произношу без страха.

Дальнозоркость мадемуазель Март, ее твердость и честность вскоре стали предметом общего восхищения. Все, кто еще недавно советовал ей двинуться в Париж, приехать в Сен-Клу и лично просить короля, все увидели, что она была права, отказавшись от этой привилегии. Людовик XVIII приказал отвратительному интригану и либералу Монлозье ответить на письмо мадемуазель Март полным отказом. «Впрочем, — добавил Монлозье от себя, — ваш вопрос можно поставить в очередную сессию палаты депутатов».

Можете себе представить, дорогой аббат, каково было возмущение мадемуазель Март! Я видел ее как раз в ту минуту, когда она, прочитав письмо, сидела в кресле. Черные четки и письмо она держала в руке, опущенной на ручку кресла, правая рука с платком лежала на сердце. Глаза были черны, как бездонный колодезь, в них горел огонь бесконечной грусти и негодования на происки дьявола, негодования, не проявляющегося ни в словах, ни в жесте в силу того, что св. Бернард учил кротости и смирению.

Как мы были слепы, и как она была прозорлива! Девять лет ждала она минуты, когда просветление сойдет в душу короля, но, как теперь Вы знаете, это просветление не настало. Лакордер недаром говорит, что кара господня постигает тайно и явно. Король стал разлагаться при жизни. У него отходили ногти от мяса, кожа сползала, как грязная перчатка, трескались веки и распадались ноздри. Это была ужасная кара за пренебрежение к церкви. Мадемуазель Март думала иначе. Она жалела короля и молилась о нем. Но слова «палата депутатов» вызывали в ней физическую боль, она осеяла себя крестом всякий раз, когда слышала эти слова. Давно это было. Но в 1825 году к ней каждый день являлись курьеры из Марсанского павильона. Она ожила, она вся загорелась тихим светом, и в этой вечерней лампаде появилась какая-то солнечная энергия юности. Вы видите, что я заговорил совсем светским языком. «Солнечная энергия» — это слово, недавно выдуманное нашими академиками. Оно бессмысленно и нелепо, ибо какая энергия может быть у солнца, кроме божественной? Без божьего благословения солнце перестанет светить в ту же минуту.

Итак, просните, дорогой аббат, продолжаю свое повествование об этой замечательной женщине и, — как это всегда бывает с беспмятными людьми, — сейчас только

вспоминаю, что я ничего не рассказал Вам ни о детских годах, ни о молодости мадемуазель Март.

Племянница герцогини д'Абрантес, двоюродная сестра баронессы Жерар, графиня Декардон с детства отличалась ровным и спокойным характером. Судьба кидала ее отсюда — министра-резидента — в разные страны и города. Поэтому она плохо его помнит. Детство ее прошло около Шартрез де Гренобль, где она училась в монастырском пансионе. К чести ее надо отнести, что она никогда не читала недозволенных книг и, думается мне, лишь наслышкою знала, кто такие Вольтер или Гольбах. Я даже думаю (безбоязненно напишу это Вам, так как Вы не выдаете меня либералам), что она *ничего не читала, кроме священного писания* и книг, написанных для спасения души.

Характерная особенность мадемуазель Март — это ее полное равнодушие к нашему полу. Она ни разу не была влюблена и на все искания руки отвечала мягким, но категорическим отказом.

В девятнадцать лет она приняла первое посвящение, в двадцать четыре года, после побега красной щекой и веселой Франсуазы, любовницы архиепископа парижского, управлявшей монастырем бернардинок, она сделалась настоятельницей и с тех пор остается ею. Она одна из первых высказала ту мысль, что революция и якобинский террор — не простые случайности, а проявление божественного возмездия французскому дворянству за либерализм и невнимание к нуждам церкви. Революцию она приняла с кротостью горлинки и спокойствием мудреца. Она твердо верила в ее благодетельные последствия, хотя и скорбела душой о сословии, когда-то близкому богу, а ныне навлекшем на себя его праведный гнев.

Мадемуазель Март высоко ценила дворянскую кровь. Она считала, что рыцарственность и благородство суть качества, обязывающие к религиозному подвигу. Она говорила, что дворянство есть первый сан религиозного посвящения. Она признавала, что и простолюдин может быть угоден богу, недаром же сын божий призвал рыбаков в апостолы. Но случаи эти чрезвычайно редки, так как чернь есть лишь ступень для восхождения дворянина. Никто не помнит случая, чтобы она когда-нибудь произнесла имя Бонапарта или как-нибудь отозвалась на его существование. В годы военных гроз она вела себя так, как будто Наполеона не существует, и лишь едва заметное крестное знамение свидетельствовало о том, что она услышала это ужасное имя, произнесенное кем-то.

В письме к покойному королю она давала ему мудрый совет запретить упоминание в школах всех событий, связанных с революцией, так как она глубоко верила в то, что слова, даже легкие, как дуновение ветра, имеют оболочку и немедленно воплощаются, вернее — порождают тысячи демонов. В этом она, конечно, права.

Маленькая подробность из ее жизни в 1793 году. Король еще не был казнен. Мадемуазель Март ежедневно возносила о нем молитвы, которые — увы! — не были услышаны. В эти тревожные для нее дни она превратилась в какое-то бесплотное существо; скрываясь от Секции, она со своим братом оставила Сен-Жермен и поселилась у Сент-Антуанских ворот в квартире булочника; все свободное время она уделяла заботам о маленькой племяннице (Антуанетта теперь красивая девушка, невеста виконта Крузоля).

Начальник Секции Леблан однажды ночью ворвался с отрядом и раскрыл их местопребывание. Обыск не дал никаких результатов, но нужно было взглянуть на то поистине ангельское спокойствие, которое проявила мадемуазель Март. Она не сказала ни одного обидного слова комиссарам, несмотря на то, что эти люди в толстых ботфортах, стуча прикладами, становились ногами на стул и влезали на полки, сдергивая со стен священные изображения. Я не знаю человека более смиренного и более кроткого. В минуту, когда комиссар спросил: «А где же ваши бриллиантовые украшения, где ваше фамильное золото?» — она с улыбкой ответила, что ее мало интересуют эти вещи. И только маленькая Антуанетта, с улыбкой глядя на тетюшку, произнесла: «Тетя Марта, разве вы забыли, что они в углу под половицей?» — и сама поманила ручонкой добрых дядей в комнату, где под половицей ее отец сложил все имущество. Мадемуазель Март тихонько гладила Антуанетту по голове, когда племянница, в восторге от своей догадливости, указывала место, где ее отец спрятал золото и бриллианты.

Когда Леблан и национальные гвардейцы ушли, мадемуазель Март взяла брата за руку и тихо шепнула ему, чтобы он ни слова не говорил своей дочери. Антуанетта осталась в счастливом заблуждении, что она своей маленькой памятью помогла беспамятной тетюшке. Скрестив ручки на груди, она заснула, а мадемуазель Март тихо напевала ей какую-то песню. Это был день полного разорения семьи. Оставались деньги, увезенные в Брауншвейг, но о

получении их нечего было думать. Нужно было готовиться к эмиграции.

Мадемуазель Март выехала в почтовой карете на второй день после казни короля. Она была так тверда духом и так сильна, что брат ее не мог скрыть своего восхищения. Оба, одетые в крестьянское платье, с деревенскими корзинами, в сопровождении старого Антуана, бывшего на положении мажордома, благополучно достигли Вердена. Там произошла душераздирающая сцена. Граф Декардон, восторженный надеждами на скорый конец якобинства, выехал к ним навстречу. Дерзкий старик, растративший состояние на формирование немецкого отряда, приняв в объятия сына в грязном трактире при выезде из Вердена. Оба были опознаны как лица, едущие под чужими именами, и тут же капитан пограничной стражи вместе с сапожником в красном колпаке учинили им допрос.

Мадемуазель Март, сохраняя по-прежнему спокойствие, забочилась о маленькой Антуанетте. Отец и сын разыгрывали сцену неузнавания друг друга, но было уже поздно. Отец стал слабеть. Он почти был склонен назвать себя. Глазами он умолял сына сделать то же. Молодой Декардон не выдержал и, бросившись на колени, закричал: «Да помолчите же, батюшка, в ваших руках спасение Франции!», после чего оба были выведены на грязный конский двор, поставлены около кучи навоза и застрелены из пистолета.

В эти минуты мадемуазель Март в другой комнате, слышала выстрелы и зная, в чем дело, убеждала маленькую Антуанетту, что отец уехал вместе с дедушкой и что дальше им предстоит ехать вдвоем. О ней забыли. Антуан тихонько провел их к деревенскому кюре, оттуда через сутки они перешли границу. Мадемуазель Март даже не заболела. Ноги ее кровоточили, платье было разорвано, волосы спутаны, но в глазах по-прежнему светились ее необычайная кротость и смирение. Маленькая Антуанетта спала у нее на руках, когда она ехала в коляске кассельского князя по дороге на Брауншвейг. Так она спаслась от террора.

По дороге граф Анри Шуазель, виконт де Бурдонне и графиня Лаваль громко говорили о том, что французское дворянство виновато перед богом и перед людьми. На это мадемуазель Март им кротко ответила, что об угнетенных и невинно страдающих не следует говорить так, что она жалеет гораздо больше не тех, кого угнетают, а тех, кто, используя кратковременное владычество на земле для их угнетения, безнадежно обрек себя тем на адские

муки. Она считала, что тысячи демонов носятся над Парижем, что цвет проливаемой крови окрасил фригийские колпаки и что в кровавом океане, именуемом Революцией, гораздо лучше утонуть, чем плавать на поверхности.

На нее смотрели, как на святую, с ней не спорили, и к ней обращались за советами. В Брауншвейге она присутствовала при всех религиозных церемониях, сопровождавших отправку иностранных отрядов на французскую границу. Она говорила, что Христос идет во главе эскадрона, что ангелы незримо защищают ротных командиров, лейтенантов и полковников в отрядах, идущих против якобинцев. Были случаи, когда она словами кроткого увещания просила солдат жертвовать жизнью за своих офицеров, она говорила простые и убедительные слова о том, что крестьяне рождаются десятками тысяч, в то время как благородная кровь их командиров, по воле божьей, дарится французской земле каплями. Тысячи солдат должны с радостью умереть за одного офицера. Никакой человеческий закон, никакая «Декларация прав» не заменит крестьянству милосердия сердца и отеческих попечений сеньора. Детская покорность отцу есть удел любого крестьянина.

К словам манифеста герцога Брауншвейгского о сожжении и истреблении Парижа она относилась как к священному писанию.

— Огонь очищает все, — говорила она. — Когда наступит конец мира, тогда небесный огонь сожжет землю. Мир кончается, и прежде всего кончается Париж.

Она считала себя обязанной каждый день прочитывать главу Апокалипсиса, и хотя с осторожностью относилась к экзальтированным и больным сестрам, пророчествовавшим в монастыре, однако не считала возможным возражать, когда кто-нибудь указывал на то, что совершаются сроки, назначенные апостолом Иоанном.

Теперь, дорогой аббат, расскажу Вам о последнем месяце ее жизни. Она с твердой настойчивостью добивалась королевского решения, и наш добрый Карл X не мог отказать мадемуазель Март, но, как Вы знаете, все вопросы, связанные с процветанием церкви, встречали какие-то неожиданные препятствия. Множество интриганов отравляло существование лучшим слугам невесты христовой. Как громом поразило мадемуазель Март сообщение об отставке министра Полиньяка.

Золотой миллиард, розданный дворянам, пострадавшим от революции, сделал мадемуазель Март снова обладательницей огромного состояния. Она тратила его на под-

держку семей, наиболее пострадавших от якобинского террора. Ее жизнь могла бы называться счастливой, если бы не вечная забота о том, что главная цель жизни еще далеко.

Она с грустью проходила мимо обители, в которой еще не раздавались тихие голоса сестер-монахинь, где еще не звучал старинный орган работы Жюнона, где под видом дисциплины педагогического института (подумайте, дорогой аббат, какая нелепость!) преподавались суетные светские науки, где раздавались крики школьников, дерзкие и нестройные голоса молодежи, испорченной революционным духом. Каждое воскресенье, после мессы, мадемуазель Март приказывала кучеру везти ее к большим железным воротам, сквозь которые виднелась каштановая роща с порталом монастырского храма. Она смотрела на гигантскую розетку и цветные витражи боковых башен, сдерживая большое, сильно стучащее сердце, и, роняя тихие слезы грусти, она молилась о даровании осуществления ее небывшимся надеждам.

Король говорил ей, низко наклоняя голову, стоя перед ней, сидящей на табурете, что он отдал бы полжизни за возможность ускорить возвращение монастыря, что он сделает все ради прекращения комедии королевской власти; он показывал ей патенты, раздаваемые блестящим кавалерам самых древних, самых рыцарственных семей, он говорил ей, что пройдет еще год — и в его армии не останется ни одного демонского бонапартова вскормленника (мадемуазель Март крестилась при этом имени). Он жаловался на то, что зачастую не может назначить даже начальника провинциальной почты, что слишком часто министры вместо исполнения воли короля подчиняются прихотям депутатов.

Мадемуазель Март, обласканная королем, садилась в коляску с сестрою Сульпицией, всюду ее сопровождавшей после смерти Урсулы, смотрела на чужой, ставший знакомым Париж, ехала к подруге детских лет, дожидавшей на покое в монастыре Кларисс, любовалась цветниками, аллеями и дорожками прекрасной, благородной обители. На веранде маленького мещанского дома, выходящего на берег Сены, она провожала усталыми и грустными глазами заходящее солнце и отсчитывала часы и минуты, оставшиеся до бессонной ночи.

Спала она все меньше и меньше. Горничные раздевали ее и укладывали в постель. Канделябр в четыре свечи горел всю ночь. Сульпиция снимала нагар, поправляла по-

душки, в то время как мадемуазель Март с открытыми глазами, в жесткой льняной рубашке, сжимая четки пожелтевшей рукой, лежала почти неподвижно и ждала, когда старинные часы со стоном и хрипом возвестят наступление зари; тогда она вставала и выезжала в соседнюю церковь. Там, занимая старое место Декардонов в опустевшем и одиноком храме, она встречала утро.

Потом начинался ее день. Внутренний огонь, сжигавший ее, не угасал ни на минуту. Кожа на ее лице морщилась и обвисала складками под глазами, губы высохли, маленькие уши сделались прозрачны, как воск, но тонкие, сухие и изящные пальцы, когда-то восхитительно справлявшиеся с клавишином, по-прежнему быстро, в такт молитве, перебирали большие круглые зерна четок. Она испытывала чувство врача, который видит улицу, очищенную от трупов, но знает, что воздух еще насыщен чумной заразой. Мадемуазель Март боялась Парижа и не понимала новых людей. Минутами ей казалось, что бог окончательно покинул милую Францию, что виноградники меньше родят, что стада хуже плодятся, что цветущие деревни умирают и дворяне, водворившиеся в старых замках, чувствуют безысходную грусть.

Кому же хорошо, кто живет? На ком почил теперь божественная благодать? Кто чувствует на себе милосердие, не иссякающее на земле?

Граф Жозеф де Местр — прекрасный светский защитник церкви. Она провела с ним несколько часов непосредственно после приезда в Париж. Сульпиция рассказывала о молве, сопровождающей этого человека. Граф Жозеф де Местр — защитник старинной теократии, защитник светской власти папы и защитник должности палача, казнящего революцию. Он с упоением и с дрожью в голосе говорил об этом белом ангеле, поднимающем стальную секиру над головою дракона на эшафоте. Но вот какой-то Лувель, убивший наследника Франции, молодого герцога Беррийского, ложится на эшафот, и вовсе не белый ангел, а самый обыкновенный, всегда нетрезвый весельчак Симон нажимает кнопку гильотины. В корзину падает нечесаная голова Лувеля, простого парижского столяра, несколько не похожего на дракона. Террор продолжается. Революция не сломлена. Что же нужно этим людям, так охотно отдающим жизнь?

Господин Жозеф де Местр вовсе не понравился мадемуазель Март. Он говорил о церкви, о власти римского первосвященника такими словами, какие можно было

услышать только в Якобинском клубе. Он говорил о безбожной науке, как человек, всю жизнь просидевший в лаборатории. Где же здесь смирение ума, где простота сердца? Защитник святой церкви пишет языком еретического философа. Прощаясь с господином Жозефом де Местром, почтительно вставшим с наклоненной головой, мадемуазель Март сказала ему: «Вы на опасном пути, граф. Вы говорите о церкви языком Вольтера. Вот писатель, которого я сама не читала, но который может вам позавидовать. Вот что принесли нам новые времена!»

С тех пор она не принимала графа. На днях, совсем на днях, случилось происшествие, еще более омрачившее мадемуазель Март. Сестра Сульпиция, которая отлучается последнее время все чаще и чаще, сообщила ей, что пяти-сот тысяч франков на подкуп буржуазных депутатов будет вполне достаточно для того, чтобы монастырь бернардинок был восстановлен в прежних владениях. Мадемуазель Март с негодованием отвергла этот план. Она знала, что делала. Король на последней аудиенции сказал ей, что палата продержится недолго, что Франция изгнанная, что Франция небесная, Франция, виденная им в Реймсе в день, когда архиепископ парижский кистью с крестом начертал на королевском лбу такой же крест, помазав его миром из священного сосуда, десять веков хранившегося в Реймсе, — что эта Франция скоро снова сойдет на землю.

— Припомните, дорогая сестра, — говорил он, — что королевство испытало немало бед. Я — Карл Десятый, но вспомните, как женщина, столь же святая, как и вы, Жанна из Лотарингского Марша, привела Карла Седьмого короноваться в Реймс. Меня, так же как и Карла Седьмого, сопровождали видения, а когда архиепископ взял склянку священного мира, десять веков тому назад принесенного голубкой с небес для помазания на царство язычника Хлодвига, я вдруг почувствовал, что и я был язычником, усомнившись в божественной благодати, и тут мне предстал образ святой Франции. Я перестал грустить. Выйдя к порталу собора, я увидел десять тысяч золотушных, ждавших от меня исцеления. Я понял великую силу благодати.

Мадемуазель Март грустно покачала головой и сказала:

— Земля Франции стала золотушной: как гнойные стружья, издают едкий запах фабрики и заводы, богохульно поднимающие трубы к небу. Там живут и плодятся черви вместо людей. Они подтачивают красоту деревень

и счастье ваших городов, они подточат ножки вашего трона.

Вполне понимаю, дорогой аббат, ваш интерес к замечательной мадемуазель Март. Вы спрашиваете об ее внезапной смерти. Она произошла по совершенно незначительному поводу и, как это часто бывает, с человеческой точки зрения совершенно несвоевременно, хотя, конечно, пути господни неисповедимы. Проведя нашу святую мадемуазель Март по пути испытаний, очистив ее, как золото, в горниле страданий, господь не дал ей увидеть цели ее надежд. Можете себе представить, ровно восемнадцать дней тому назад, после многих лет разлуки, приехала Антуанетта — цветущая, красивая девушка, поразившая мадемуазель Март своей беспечностью. Богатая наследница, смело располагающая своим состоянием, она объявила тетке, что выходит замуж за виконта Крузоля, купившего самую большую лионскую фабрику. Мадемуазель Март вздрогнула при слове «фабрика» и кротко сказала, что дворянин не может быть владельцем фабрики, что земля, благословенная плодородием, врученная господом благородному сеньору, есть единственный вид имущества, достойный дворянина, и что она советовала бы племяннице подумать, прежде чем дать согласие на брак.

Мадемуазель Антуанетта была весела, она щебетала, как птица; и, оскорбляя слух мадемуазель Март, напевала песенки в саду о каких-то фужерских пастушках. Потом сестра Сульпиция передала просьбу виконта принять его. Виконт Крузоль не был принят мадемуазель Март, но поговорил с сестрою Сульпицией полчаса.

После отъезда Антуанетты, вечером, мадемуазель Март сделалось плохо, она с трудом дышала и очень тихо умерла от слабости. Облатка, данная ей когда-то отцом Лакордером, с трудом была поднесена ею к холодеющим губам для последнего причастия. Она кашлянула и, уронив голову, выплюнула божье тело. Наутро газеты возвестили о том, что даже самые либеральные депутаты, и те голосовали в палате за возвращение владений Бернардинского монастыря прежней настоятельнице. Газета «Котидьен» поместила портрет мадемуазель Март и назвала ее «Звездой божественного милосердия, восходящей снова над Францией».

Увы! Наша кроткая мадемуазель Март лежала на своей монашеской постели. Сестра Сульпиция обмывала ее девическое тело. Бог не дал ей последней радости и последнего разочарования. Представитель старинного дворян-

ского дома, разорившийся виконт Крузоль, ставший лионским фабрикантом, на деньги, полученные из золотого миллиарда эмигрантов, совершил поступок столь же безрасудный, сколь и неблагородный. Он подкупил либеральных буржуа, сидевших в палате, и вовсе не божественная благодать, а взятка в пятьсот тысяч франков послужила причиной их голосования за возвращение имуществ монастыря. Деньги были потрачены напрасно. Мадемуазель Март все равно не благословила бы брака господина Крузоля и Антуанетты, она, как рыцарь-крестоносец, умерла бы у ворот долгожданного Иерусалима. Гроб господень был бы осквернен прикосновением кощунственной руки, если бы был куплен на деньги буржуа.

Вчера я был на свадьбе. Антуанетта счастлива и беспечна. Молодой виконт был одет в сюртук, толстая золотая цепь висела у него на жилете. Четыре лионских богача сидели в числе гостей за столом. Господин виконт чокался с ними, всячески стремясь подражать их манерам. Сюртук, жилет и тосты лионских шелковиков, признаюсь Вам, меня покорили.

Вот, дорогой аббат, ответ на те вопросы, которые Вас интересовали. Кажется, я написал слишком длинное письмо. Простите! Теперь очередь за Вами, дорогой аббат. Вести, которые приходят из Польши, очень меня тревожат. Быть может, Вы мне сообщите с такой же старательностью, какую я проявил в моем письме, Ваши впечатления старого парижанина, проделавшего когда-то большой испанский поход бок о бок с Вашим покорнейшим слугой и нижайшим послушником

Филибером де Гуж».

Паганини возвращался из Варшавы. Он сам не знал, что с ним сделалось. Снова наступил период полного упадка сил, опять пропал голос. Первый раз это произошло в тот день, когда он выступал вместе с Липинским на концерте.

Перед выступлением он выпил стакан прохладительного питья, от которого странно застучала кровь в висках и защипало горло. Молодой польский пианист Шопен, с немым восхищением слушавший игру великого скрипача, после первой части концерта вошел под руку с Липинским в артистическую комнату и увидел Паганини, с закрытыми глазами полулежащего в кресле. Он подошел, спросил, не может ли он чем-нибудь помочь. Паганини окинул взглядом

его и Липинского. Липинский с ненавистью отвернулся. Паганини хотел поблагодарить Шопена, и несколько сильных звуков раздалось вместо слов благодарности. Красные пятна смущения и удивления появились на щеках Шопена...

Липинский был разбит и во второй части концерта. Не смотря на отдельные крики: «Да здравствует Липинский!», огромный зал рукоплескал Паганини.

Газеты всячески раздували вражду между двумя скрипачами, когда-то выступавшими в Турине как друзья.

Эльзнер, директор варшавской консерватории, 19 июня устроил банкет в честь Паганини. Варшавские музыканты поднесли скрипачу небольшую памятку — золотой ларчик с надписью: «Кавалеру Паганини польские поклонники его таланта».

Наутро Паганини почувствовал себя хуже. Он начал думать о том, что Липинский сделал что-то, чтобы помешать ему играть на концерте, — но состояние было настолько плохо, что он не смог задержаться даже на этой мысли. Чтобы испортить впечатление от игры Паганини было достаточно минимальных средств. Неужели Липинский пошел на преступление и решил его отравить?

В тяжелом состоянии был Паганини, когда генерал Зельнский явился к нему в отель «Люксембург» с приглашением в Петербург и Москву. Паганини решительно отклонил это приглашение. Тревога за Ахиллино и боязнь за свое внезапно ухудшившееся здоровье заставляли его спешно покинуть Варшаву. «На гербе Вашего города — изображение сирены, — писал Паганини на белой дощечке. — Ваш город меня пленил совершенно. Но я обещал возвратиться вовремя».

Опять почтовая карета, и опять, как на пути в Варшаву, на сетке лежит кожаный мешок со стальными цепями и с огромными, свисающими на дощечках сургучными подвесными печатями. Среди прочих писем едет толстый пакет из голубой бумаги, с печатями и гербами. Он содержит следующий ответ ксендза Ксаверия Коженевского.

«Высокочтимый и преподобный брат!

Весьма благодарен за сообщение с исчерпывающей полнотой сведений о смерти мадемуазель Март. Судьба недаром занесла меня на родину моих отцов. Три поколения Коженевских воспитывались во Франции в недрах ордена Иисуса, и только последний отпрыск, я, сирота, перед богом и людьми (говорю это без ропота), снова нахожусь на

земле моих отцов. Но увы, — я вовсе не чувствую того патриотического трепета, которым полны мои родственники по крови, чужие мне теперь люди и зачастую люди, враждебные церкви христовой.

Мой союзу дьякон Кошёрский сообщил мне целый ряд сведений, которые я Вам пересылаю, так как они для Вас скоро станут необходимыми. Польша, Литва и Петербург еще так недавно были местом наиболее удобного, наиболее легкого распространения деятельности нашего ордена. Увы, теперь наступили другие времена. Когда-то великая Екатерина в ответ на папское бреве 1773 года не дозволила публикацию уничтожения иезуитского ордена во владения императрицы. Вот почему наша святая инстиция существовала в России беспрепятственно. Ее величеству угодно было не только не послушаться заблуждений Рима, но открыты новициаты нашего ордена.

Так все шло хорошо до 1815 года, когда ваш неосторожный и слишком светский, — в этом отношении Вы правы, — граф Жозеф де Местр стал вербовать на службу ордена старинных титулованных княгинь — Голицыну, Раствопчину, Толстую и т. д. Разве можно было действовать так грубо!

Девять лет тому назад Александр I распорядился о высылке представителя нашего ордена. Много воды утекло за эти девять лет. Если бы орден наш существовал, то не было бы в Петербурге, почти перед самым дворцом, восстания дворянских полков, карбонарии, проклятые богом, не свили бы себе гнезда на Севере. Теперешний царь вряд ли справляется с внутренней политикой. Ему не до нас. Но открытой работы в Польше мы предпринять не можем. Вот почему все мои надежды связаны сейчас с Францией. Так как я посылаю это письмо простой почтой, то имейте в виду, что я пишу настолько открыто, зная, что Вы обязательно уничтожите это письмо.

Вот каков ход событий. В 1825 году в Петербурге на Сенатской площади погибли последние карбонарии. Сейчас с нашей помощью начались облавы, уничтожающие в Польше масонские гнезда. Вчера нашим радением мятежные полки высланы в Сибирь. Так как в Польше существует проклятое конституционное правление, то Николай I, нынешний император, перед своей коронацией, прошедшей благополучно в мае месяце этого года, должен был обратиться к сеймовому польскому суду. Этот суд не удовлетворил царя, да и вряд ли кого бы то ни было он мог удовлетворить. Я, будучи поляком по происхождению,

считаю русского императора более правым, чем всех польских мятежников, чем тех ксендзов, которые, не желая найти общий язык с русским правительством, становятся на сторону сатанинских бунтовщиков. В той мере, в какой русский царь содействует укреплению римской католической церкви, мы и наш орден поддержим царя.

Его величество приехал в Варшаву с супругою, с братом Михаилом и наследником Александром. В замке, в сенатской зале, окончив обряд коронования польским королем, император Николай присягнул на верность польской конституции, потом он вышел к польским офицерам, представил им одиннадцатилетнего наследника, великого князя Александра, как их однополчанина. Маленький великий князь был одет в польский мундир стрелкового полка, быстро и неуклюже говорил по-польски. Я сам был свидетелем всех церемоний. Члены польского сейма подали королю Николаю петицию об уничтожении стеснительных статей конституции. Король Николай заявил, что он считает господствующий в Польше кодекс Наполеона сатанинским правом. Он прямо сказал, — этот Бонапартов закон основан на революции: он привел законного французского короля прямо на гильотину.

Так обстояло дело. Польский король Николай I выехал из Варшавы при полной холодности и даже враждебности большинства польских дворян. Сообщаю Вам, что молодой профессор Викентий Смогловский задался целью воссоздания единого славянского государства во главе с Польшей. Он сформировал союз молодежи, который замыслил арестовать Николая I в дни коронационных торжеств в Варшаве. Смогловский сейчас выслан, равно как многие другие. Часть этих высланных бежала и едет в Париж. Со следующей оказией сообщу Вам их списки.

Довожу до Вашего сведения все эти сообщения в силу того, что я точно осведомлен, вопреки Вашим плохим ожиданиям, что в Париже готовится истинное обновление Европы. Наш благочестивый король Карл X, коронованный в Реймсе, готовит, как мне известно, обновление Европы. Пройдет немного времени, и святая католическая церковь по молитвам святейшего кардинала Роотаана воздвигнет победоносный алтарь повсюду, где еще вчера революционное нечестие и якобинство имели свои гнезда. Лишь бы господь помиловал маркиза Полиньяка, ныне почетно сосланного в Лондон, лишь бы господь дал силы королю Карлу X провести до конца закон о казни святоотатцев, о восстановлении имущества, об организации новых

коллегий, о полной передаче нам воспитания юного поколения французов.

В Вашем письме о кончине мадемуазель Март есть нотки глубокой печали чисто человеческого происхождения. Я советовал бы Вам побольше обращать внимания на исход борьбы, а не на собственные личные состояния.

У венского двора и французского двора есть общие задачи. Обратите внимание на следующее. В Париже и в Лионе существуют злочестивые гнезда, где якобинство и карбонарство заново выковывают гвозди для повторного распятия господа нашего Иисуса Христа. Вот почему наш святой могущественный орден делится во Франции на две секции — парижскую и лионскую. На Востоке мы делимся также на виленскую и варшавскую секции. Обращаю Ваше внимание на то, что в Польше сейчас есть движение умов, оправдывающее крайности патриотизма. Польша разделена на две части и приравняется к распятому Христу. Воскрешение Польши считается делом религиозным, и все это омрачает умы не только молодежи, но многих почтенных и старых дворян, представителей исконной польской знати. Все эти соображения, факты и планы я сообщил Вам только с той целью, чтобы вы знали местные настроения и своевременно могли сообщить мне о том, как и когда должен произойти французский переворот, возвращающий Европу ко времени Людовика Святого.

Я очень оценил последние строчки Вашего письма. Имейте в виду, что Польша с надеждой взирает на Францию, что только французский король в состоянии возродить в Польше ту незыблемую власть церковного авторитета, которая была эпохой наибольшего счастья для всего пострадавшего человечества. Помните, дорогой мой, что правительства и системы меняются, а церковь остается вечной.

Теперь одно маленькое дело. В Варшаву приехал с концертами некий Паганини. Я вам писал уже о том, что двадцатилетний дворянин из Варшавы Фридерик Шопен собирается ехать во французский Вавилон. Отравленный музыкантом Цивней, одержимый дьяволом еврейским, этот блистательный юноша, с одной стороны, является истинным сыном церкви, с другой — одарен сатанинским талантом нынешнего века и бесконечной печалью о недостижимости земного счастья. Когда господин Шопен прибудет в Париж, обратите на него внимание и приставьте к нему хорошего духовника. Возможно, что мне удастся удержать его в Польше, если только действительно божие произволение

не смѣнит королей Европы в ближайшіе шесть месяцев и не помешает королю Карлу X осуществить свой великій замысел — вернуть истерзанному якобинством человечеству времена Людовика Святого.

Я видел этих двух людей — господина Шопена и итальянского скрипача Паганини — вместе. Я случайно слышал их разговор. Как далеки их музыкальные стремления от величавой простоты и богоугодной музыки нашего органа! Воцаряется дух безбожной музыки, и сатанинский соблазн звучит в музыкальных инструментах и господина Шопена, и господина Паганини. Оба они одержимы духом нынешнего века, князь тьмы простирает над ними свои крылья. Я сам видел, как набожные женщины, возвращаясь с этих нечестивых концертов, теряли присущую им простоту веры и были полны греховных волнений.

Все это наводит меня на серьезные размышления.

Я пытался погасить впечатление от музыки этого страшного скрипача. Я выдвинул против него нашего представителя, члена нашего ордена, скрипача Липинского. Была ли то болезнь или что-либо еще, но Липинский играл вяло, и землистый цвет его лица говорил о том, что он болен. И поэтому масоны и еврей Елеазар, по проискам якобинцев назначенный директором варшавской консерватории, вручили 19 июня «кавалеру Паганини» золотую табакерку с какой-то трогательной надписью и с нечестивым знаком.

Я имею сведения, что было сделано все, чтобы господин Паганини выехал в Москву и в Петербург. Он отказался, несмотря на выгоду этих предложений. Я имею сведения, что господин Паганини отправляется в Париж. Не упускайте из виду эту опасную гадину. В Париж его зовут не даром. Но кажется мне, что он в достаточной степени хитер и не поедет в город, где Вы сумеете приготовить ему на веки вечные полный провал, если восторжествует план Марсанского павильона святых отцов, покровительствующих Франции, и святого короля Карла X.

Я имею сведения о некоторых замыслах этого человека. Письмо это к Вам привезет молодой приверженец нашего ордена, представивший прекрасные рекомендации из Вены, каноник Нови, к которому я направляю его как к первичному адресату. А там он лучше меня расскажет Вам, кто такой этот скрипач. Нови и Паганини оба родом из Генуи. Как Вам известно, этот приморский порт издавна славился тем, что люди, посаженные в Генуе на галеры, не возвращались больше на сушу, однако Нови утверждает,

и я ему верю, что господин Паганини был на каторге, что его шея до сих пор носит следы железной цепи и что в одну страшную ночь этот каторжник Паганини продал дьяволу свою душу. Таким образом, Вы видите, что земляк, хорошо знающий происхождение дьявольского таланта Паганини, свидетельствует против него.

Паганини, этот опасный каторжник, вернувшийся в святую католическую паству, внес страшное смятение в души и внушает людям безумные мысли, водя сатанинским смычком по скрипке, замороженной дьяволом. Его музыка в тысячу раз хуже сотни якобинских проповедей. Я слышал о том, что сатанинский дух появился в Париже, что сумасшедшие головы нескольких молодых литераторов подняли знамя так называемого романтизма. Помните, что вещь, называемая нынче романтизмом, завтра будет называться революцией. Таково мнение не только мое, но и всего капитула. Если Вы читали последнюю сигнатуру, то Вы знаете, что таково мнение святейшего отца Рюотаана. Нови имеет приказ следить за каждым шагом этого скрипача. Он и доставит Вам это письмо, а я прошу Вас сделать все необходимое, чтобы в Вашем Новом Вавилоне, до превращения его в столицу вселенской церкви, пагубное влияние дьявольской скрипки было остановлено знаком креста, меча и секиры первосвященника.

Примите молодого и ревностного служителя нашего ордена — Нови, выслушайте и приютите его. Дайте ему полную возможность осуществлять при Вашей помощи все то, что было в Риме предписано ему.

*Ксендз Ксаверий Коженевский, раб господний,
коадьютор Св. Ордена Иисуса».*

Глава двадцать шестая

НА БЕРЕГАХ БОЛЬШОЙ РЕКИ

Урбани и Гаррис сопровождали маэстро в его поездке в Бреславль.

В Бреславле опять начали завязываться старые итальянские связи.

В Неаполе — один из театральных друзей, Онорио де Вито. Урбани передает письмо и просит синьора Паганини ответить: «Это ведь старый итальянский друг и почитатель вашего таланта, маэстро». Начинается снова переписка с Италией. Через несколько границ перелетают письма.

Конверты надписывает Урбани: у синьора Паганини плохой почерк.

Синьор Онорио собирает в Неаполе друзей. За кулисами Арджентинского театра читают письма синьора Паганини. Вот видите ли, простой итальянский скрипач становится славой своего отечества, императоры и короли приглашают его играть на своих празднествах и коронациях.

Синьор Нови получает копию этого письма. Его ненависть к Паганини растет по мере роста славы скрипача. Но за синьором Нови смотрит синьор Урбани. Синьору Урбани поручено охранять синьора Паганини от синьора Нови, как от чумы. Синьор Урбани не знает, кто такой синьор Нови. Синьор Нови прекрасно знает, кто такой Урбани. После пребывания Нови в столице Габсбургов синьор Нови только два раза виделся с Урбани. Существует какое-то третье лицо, направляющее помыслы и пути этих двух людей. Но и это третье лицо является исполнителем чьей-то воли. Синьору Нови поручено большое и сложное дело. Но он запуган, ему приказано беречь Паганини, в то время как ему хочется просто перерезать ему горло. Человек средних способностей, синьор Нови — воплощение органической ненависти бездарности к таланту. Урбани было поручено в надлежащий момент пресечь любую ценой движение Паганини по Европе. Но этот момент не наступает, и старая иезуитская дисциплина не позволяет Урбани делать ни одного самостоятельного жеста.

Когда Паганини мучило желание увидиться с друзьями, покинутыми в Италии, когда он вспоминал о людях, боровшихся за свободу Италии, заключенных в тюрьмы, он все чаще обращался к приветливому, всегда улыбающемуся Урбани. Паганини скучал по родине, а Урбани знал каждую семью в Генуе, каждый дом в Венеции, каждого друга синьора Паганини в Неаполе; он знал всех девушек, которых маэстро целовал в Милане; к тому же, как настоящий солдат, приближенный к семье полководца, он охранял и Ахиллино от всех случайностей судьбы. Паганини сжился с Урбани, он привык к совместным путешествиям с Гаррисом, с Урбани, Ахиллино, со старой няней.

Давным-давно, еще в Генуе, талантливый мальчик Камилл Сивори пришел к нему. В три дня Паганини исправил дефекты игры маленького скрипача. Он слышал теперь, что Камилл Сивори благоговейно хранит память о первых уроках, данных ему Паганини. Из Бреславля сопровождает путешественников виолончелист Гаэтано Джанделли. Он бросил Италию, где его отец, карбонарий,

погиб в тюрьме; он обучался в Вене игре на виолончели, а теперь пустился в странствия за своим возлюбленным маэстро и, перебиваясь изо дня в день, голодный, усталый, приходит к Паганини за указаниями. Тривелли, венецианец, справляется о молодом Гаэтано. Паганини отвечает ему, опять через синьора Урбани, что была большая поездка — в три месяца объездили двадцать городов. Дармштадт и Лейпциг (на этот раз не устоявший в битве), Маннхейм, Галла, Магдебург, Эрфурт, Гота, Гальберштадт, Дессау, Веймар, Вюрцбург, Рудольфштадт, Кобург, Бамберг, Аугсбург, Нюрнберг, Регенсбург, Штутгарт, Дюссельдорф, и вот, наконец, Франкфурт. Франкфурт — надолго.

Молодой Джанделли не догадывается сказать Паганини о своей нищете. Урбани иногда снабжает его деньгами, но если почтовая карета оплачивалась из кошелька Урбани, который приписывал этот расход к прочим дорожным расходам маэстро, то во Франкфурте жить в гостинице целые месяцы Джанделли не может, а между тем синьор Паганини ясно сказал, что он выпустит Джанделли на концерт не прежде, чем тот сдаст трехмесячную работу. Выхода нет. Джанделли, краснея, как девушка, рассказывает все это Гаррису. Гаррис с рассеянным видом слушает. Слышал ли он? Да, слышал, потому что в ответ он заявляет:

— Первый концерт во Франкфурте маэстро дает в вашу пользу.

— Как, без всякой моей просьбы?

— Да, это уже обдуманно, — говорит Гаррис. — Уже снято помещение.

Гаррис показывает записную книжку, где записано собственноручно синьором Паганини: «Во Франкфурте не забыть: первый концерт в пользу Джанделли».

Проходит месяц. Джанделли — богач. Восемь тысяч флоринов — это обеспечение двух лет жизни.

Снова три недели болезни. Снова Паганини лежит.

В день, когда франкфуртская публика ждет очередного обещанного, наконец, концерта, фрейлейн Вейсхаупт, почтенная дама в чепце, подводит к постели отца маленького человека с солидной и серьезной походкой, глаза которого мечут веселые стрелы при взгляде на отца.

— Разбил, — говорит он, — разбил, — с выражением величайшего восторга, как будто исполнил труднейшую работу.

Паганини обращается к гувернантке с немым вопросом. Она не знает, как отнесется отец к поступку сына: подошел и лопаточкой разбил садовую вазу. И в восхищении

рассказал ей, как о крупном достижении. Потом отец пишет, но он выводит тонкие узоры: очевидно, не умеет писать, как нужно. Он выводит крючки, кружки, — лучше прямо окунуть палец в чернильницу и тыкать в бумагу, будет сразу густо, хорошо, красиво. И не успевает опомниться Паганини, как все его письма, лежащие на письменном столе, оказываются вымазанными чернилами, на важнейших документах, афишах и программах насажены кляксы. Мальчик хохочет и доказывает свою правоту и неумелость отца. «Так гораздо скорей достигаешь цели», — хочет сказать этот веселый и озорной голос. Фрейлейн Вейсхаупт в ужасе не столько от поступка мальчика, сколько от того, что отец выражает полное согласие с сыном. Это заговор двух мужчин, большого и маленького, против благонравия в доме.

Но синьор Паганини жестоко наказан: наступает час концерта, а он не может найти ни одного необходимого предмета своей одежды. Наконец из-под подушки вылезает один чулок, панталоны спрятаны за гардеробом, их достают тростью Гарриса с большим трудом. Они в пыли, они измяты, их надеть нельзя. Уже начало концерта, уже надо выходить на эстраду, а поиски принадлежностей туалета продолжают с чрезвычайно переменным успехом.

Маленький Ахиллино встревожен сам, он протягивает ручки вперед и складывает ладони, вспоминая, где спрятаны вещи. Он помогает отцу с такой озабоченностью, что Паганини хохочет до приступа кашля и, покатываясь со смеху, бросается в кресло.

Благопристойная публика старинного Франкфурта удивлена невежливостью синьора Паганини. Но вот через час после назначенного срока он, наконец, появляется, в этот день румяный и оживленный. Концерт проходит чудесно: Паганини играет Моцарта, скрипичный концерт Родэ. Публика забывает свое нетерпение: ведь никто не ушел, все согласны были ждать хотя бы до утра, если нет отмены концерта.

До чего хорош этот Франкфурт! Ради него можно позволить себе маленькую скрипичную вольность! И Паганини, выполнив всю обещанную программу, в ответ на продолжительные овации выходит снова и играет совершенно неожиданную для публики вещь. В первый раз он увидел полное понимание, с волнением почувствовал, что зал достоин его. Франкфурт отличался редкой музыкальной культурой. Люди, наполнявшие зал, ощущали пребывание Паганини в городе как огромное свое счастье. Это бы-

ло неким порогом в их жизни. Какое-то особое напряжение, передававшееся артисту, заставило его ощутить эту настроенность зала. И вот между музыкантом и слушателями возникает та неуловимая, но крепчайшая связь, которая превращает все их ощущения как бы в ощущения единого организма. Он не смотрел на кого-нибудь одного, он видел перед собой множество светящихся глаз, он скорее не видел, а воспринимал благородную напряженность всех этих лиц. Ему хотелось сделать для этих людей то, что он сделал бы для себя. И он сыграл им короткую неаполитанскую песенку, которую слышал на морском берегу, сидя вместе с Ахиллино на камне. Эта песенка — «Oh! Mama» — это песенка, которую лучше всего пел маленький Ахиллино, когда он, заложив руки за спину, расхаживал по комнатам, думая, что никто за ним не наблюдает. Ахиллино вел ее для себя. Паганини сыграл ее для других. Потом он почувствовал, что его взметнуло кверху, и, как бы очнувшись, увидел себя на руках оркестрантов, запрудивших эстраду. Весь оркестр, бросив свои инструменты, устремился к нему. Его несли на руках до кареты.

Только однажды выехал Паганини из Франкфурта в течение этого года. Он был в Баварии: его пригласила прелестным письмом дама, писавшая на листке темно-синей бумаги с баварской короной.

Он приехал с устройтелем своих германских концертов, господином Гуриолом. Лейтенант Гуриоль заблаговременно дал редакциям мюнхенских газет краткое сообщение о приезде Паганини. Сдержанно и обстоятельно молодой лейтенант уведомлял столицу Баварии о том, что синьор Паганини напрасно является предметом каких-то странных подозрений: ни в его поведении, ни в манере играть нет ничего злоумышленного или носящего характер демонизма. Наоборот, Паганини не только великий музыкант, но и человек большого сердца, дающий образец наиболее чистой человечности.

Концерт в королевском замке Тегернзее, куда съехались после охоты представители военной молодежи, встретившиеся здесь с мюнхенскими ценителями искусства — художниками, музыкантами, поэтами и, наконец, хранителями любезной сердцу баварца мюнхенской пинакотекки, был отмечен одним памятным случаем.

Огромные окна дворца были раскрыты. Дожидааясь приглашения на эстраду, Паганини услышал со стороны леса и озера взволнованные голоса, крики и шум. Потом он увидел, как к королеве подбежал мажордом. «Королева

приказывает впустить!» — услышал он слова мажордома, обращенные к высокому человеку в тирольской шляпе и зеленой куртке.

В ту минуту, когда Паганини выходил на эстраду, огромный зал с нарядной публикой был полон, разговоры затихли; и вот в наступившей тишине послышались гулкие шаги шестисот рослых людей — крестьян, рыбаков и охотников. Они волновались с утра, они слышали о приезде скрипача каждый день. Он странствовал едва ли не по всем германским дорогам, они видели его проезжающим по большим дорогам Баварии. Молва об этом человеке волновала их, и вот они потребовали у королевы, чтобы она допустила их видеть и слышать это чудо. Они стали у двери большого зала, и Паганини видел в открытые окна, что берег озера и опушка леса сплошь усеяны толпами людей...

27 ноября он уехал из Мюнхена. Какие-то тревожные вести докатывались из Польши. Во Франкфурте, во дворце генерала Зелыньского, поляка, ставшего немецким помещиком, он снова встретил русоволосого человека со светло-голубыми глазами. Он вспомнил, что видел его в Варшаве.

Это был польский пианист Фридерик Шопен. Он теперь ехал в Париж.

Гаррис с удивлением прочел забытые на столе записки.

«Часто удавалось мне пленить моих слушателей, и, однако, я прихожу в смущение, я недоволен сам собою, ибо никакие рукоплескания не могут обмануть меня самого. И если публика принимает с восторгом мою игру, то я ею больше, чем когда-либо, недоволен. Если бы ко мне вернулся мой прежний голос, являющийся признаком здорового человека, я мог бы громко обратиться со словами недовольства собой к тем, кто меня слушает. То, что со мной происходит, страшно. Что сделали для потери моего человеческого голоса, тому нет имени. Я теряю силы после каждого концерта, и временами на сутки уходит у меня сознание после часа игры. Каждый концерт отнимает у меня год жизни, и все-таки — да будет щедрой ко мне природа! — ради своего искусства я готов отдать жизнь и здоровье. Но в столицу столиц я явлюсь, только исполнив свой замысел».

«Итак, Париж еще не скоро», — подумал Гаррис.

Однако Франкфурт оставлен, опять три кареты пылят по дороге, все ближе и ближе граница Франции.

Франкфуртские газеты поместили короткую заметку:

«Недавно разнесся слух, что Паганини приедет в Париж. Все любители музыки в этой столице, судя по французским газетам, ожидали его с нетерпением, но Паганини обманул их ожидания и внезапно повернул в Голландию».

«Говорят, он очень любит деньги и не мог сторговаться», — писало «Музыкальное обозрение» в Париже. — Ему охотно прощается это корыстолюбие, ибо неожиданно мы получили сведения, что Паганини собирает деньги для своего четырехлетнего сына, которого он любит с нежностью».

Урбани отмечал:

«Когда заболел ребенок, маэстро сходил с ума. Казалось, он не выдержит этой тревоги. Он переплатил докторам безумные деньги и едва не испортил окончательно здоровье ребенка, потому что его стали окружать алчные шарлатаны, нарочно затягивающие болезнь».

Синьор Паганини ни разу не позвал священника, он ни разу не вспомнил имени божьего; приходя в отчаяние, не думал о молитве».

«Во Франкфурте, где синьорино пребывал без отца, горничная Грета простудила ребенка. Когда после приезда синьор Паганини узнал о его болезни, он вбежал по лестнице с таким видом, что я боялся за его разум. Оказалось, он узнал о болезни Ахиллино еще в Аахене. Он бросил концерт, загнал дюжину лошадей и так стучал в дверь, что сломал ручку и перебил стекла. Он увидел своего ангела среди кружевных подушек и розовых покрывал. Фрейлейн Вейсхаупт стала успокаивать маэстро: болезнь уже прошла. Синьор Паганини не успокоился, он сказал фрейлейн Вейсхаупт: «Синьора, ваш великий Гете, будучи министром Веймарского герцогства, подписал смертный приговор девушке, не уберегшей своего ребенка. Сам герцог сомневался в необходимости положить ее голову на плаху. В это время приехал с охоты в егерском костюме господин Гете. Прочитав мнение судей о смертной казни, подписал: «Auch ich»¹. Девушке отрубили голову. Так вот я говорю вам: «Auch ich, фрейлейн». И показал жестом, очень грубо, что он намерен отрубить ей голову».

Урбани и Гаррис все меньше и меньше понимали друг друга. Гаррису казалось, что синьор Паганини больше доверяет Урбани. «Еще бы, — думал Гаррис, — он итальянец и, быть может, карбонарий».

Газеты приносили последние сведения о приезде неаполитанского короля в Париж. Сплетни, передаваемые на

¹ Также и я.

ухо, доносились до Гарриса. Он со смехом рассказывал Паганини за обедом, что в Париже, во время приема неаполитанской четы герцогом Филиппом Орлеанским, одним из гостей была произнесена острота, облетевшая весь город: «Вот подлинный неаполитанский вечер!» — «Почему?» — спросил Карл X. «Потому что мы танцуем на вулкане».

Паганини не сказал ничего.

Давая концерты, Паганини выбирал самые маленькие немецкие города. Гаррис терялся в догадках. Он ревниво посматривал на Урбани, который как будто знал маршрут следующего дня. Приходили какие-то письма, их привозили случайные люди. Паганини совсем перестал вести переписку по почте. До Гарриса доходили слухи о том, что восстановлена деятельность карбонарских вент в Италии, но вместе с тем теперь уже открыто говорили о полной передаче власти иезуитам в Риме и всюду, где простиралась власть римского первосвященника. Страшное имя черного папы Роотаана было у всех на устах.

В Аахене синьор Паганини, остановившись в частном доме, приказал затопить камин. Гаррис видел, как маэстро, держа на коленях кожаный ящичек, бросал в камин кипы конвертов и писем.

Турин и Генуя были теперь гнездом самых страшных людей в мире, в Генуе была главная квартира иезуитов. Мощные ответвления по всей Италии шли от этих двух городов. Самой опасной была организация «невежествующих монахов», проповедывавшая насильственное закрытие школ, сожжение книг и истребление самых опасных ученых, несущих лозунги свободного знания.

Паганини знал, что подтвердились полностью сведения о пытках раскаленным железом, о колесовании, о публичном четвертовании.

Виктор-Эммануил I открыл собрание итальянских инженеров предложением взорвать великолепный мост через реку. Но ввиду того, что этот мост построен Наполеоном, Паганини перестал писать в Геную.

Тайно ехал из Италии на север Фонтана Пино, бежавший после смерти отца. Паганини долго беседовал с ним в маленькой гостинице. Пино направлялся в Париж; ему удалось перевести туда все свое состояние. Пино рассказывал, что в Генуе, около Новой площади, в громадном количестве собирались шпионы, огораживали площадь, открыто обсуждали работу предстоящего дня и расходились группами. Тайная полиция содержит дома терпимости и

игорные притоны. За привоз из-за границы газет или книг виновный наказывается каторжными работами не меньше пяти лет, а если попадается французская книга против религии и монархии, дело кончается казнью. Синьор Антонио Паганини отдал комнату, в которой когда-то обучался игре на скрипке Никколо Паганини, австрийскому шпиону.

Во время этого рассказа маленький Ахиллино закричал:

«Крыса, крыса!» — и, указывая отцу на шевелящуюся бахрому портьеры, схватил подсвечник и ударил по бахроме. Раздался крик; из-за портьеры, прихрамывая, выскочил Урбани.

— Что вы здесь делаете? — закричал Паганини.

— Искры летят из камина, а здесь отдушина, — спокойно ответил Урбани, грозя пальцем маленькому Ахиллино.

С этого дня Гаррис одержал победу. После ухода Пино Паганини осмотрел отдушину. Все было так, как сказал Урбани: сыпались искры, и дым наполнял комнату. Но почему Урбани выбрал такое время, когда шел разговор о Генуе, о родном доме?

Наступили дни томительных колебаний. Паганини не давал концертов. Внезапно прекратились посещения друзей и пресеклась переписка. Четыре дня не выходили газеты, и вдруг — короткое сообщение о том, что три недели тому назад король Карл X выехал из Парижа в неизвестном направлении, а герцог Орлеанский Луи-Филипп назначен временным правителем. Кто его назначил, что произошло во Франции? И только через несколько дней слухи прояснились. В июльские дни Париж покрылся баррикадами. Власть Карла X пала.

— Святые отцы просчитались, — сказал Паганини, — вместо абсолютной власти короля и священника они встретили артиллерийский огонь и баррикады. Теперь подумаем о поездке во Францию.

Но думать об этом было нельзя. Граница была закрыта.

Паганини отдыхал. Эмс, снова Франкфурт, потом Баден, и опять Франкфурт. Здоровье внезапно улучшилось. На курорте легко видется с соотечественниками, на людях менее опасна встреча с врагом.

Во Франкфурте — письмо от Фонтана Пино: «Необходимо ехать в Париж, чтобы рассеять слухи. Синьор Фернандо Паер был принят королем». Влияние Паера в Париже огромно, он был инспектором музыкальных учреждений Франции и придворным композитором. Новый правитель, Луи-Филипп Орлеанский, который уже называется коро-

лем, принял синьора Фернандо очень хорошо. Но синьор Паер имеет самые дурные сведения о скрипаче Паганини. Человек, проигравший скрипку в карты, не имеет права взять ее в руки вторично. Этот поступок заслуживает презрения. К письму Фонтана была приложена вырезка из «Музыкального обозрения», в которой говорилось, что синьор Паганини, путешествуя по германским городам, готовит для выступления в Париже разработку одной музыкальной темы Шпора. Шпор протестует, так как он не давал никакого права синьору Паганини пользоваться его темой. Если синьор Паганини занимается воровством, то против воровства есть определенные указания законов.

«Хорошая встреча готовится мне в Париже,— подумал Паганини.— Но как быть со стариком Паером? Надо раз- уверить, иначе лучше не ездить в Париж». Он вспомнил, что у Шопена было рекомендательное письмо к Паеру.

Во Франкфурте произошло странное знакомство. Доктор Корейф. Визитная карточка личного врача его величества короля Пруссии. Друг недавно умершего неудачливо- го композитора Амадея Гофмана. Рассказывает, что Гофман, автор «Серрапионовых братьев», изобразил его, Корейфа, в качестве одного из рассказчиков под именем Винчен- та. В фантастических новеллах этого писателя выведен также соотечественник Паганини, граф Козию, о котором говорят, что он варварски уничтожал скрипки. Его Гофман изобразил под видом советника Креспеля.

— О, как непохоже! — сказал Паганини.

Он пытался восстановить истинный образ старого Ко- зию, но Корейф проявил «полное равнодушие к истине».

После этого Паганини отказался от первоначального плана посоветоваться с этим знаменитым, но чудаковатым врачом. Тем более, что здоровье его резко улучшилось.

Пришли вести о том, что революция во Франции нашла внезапное эхо на Востоке. Польша охвачена восстанием против Николая I. Паскевич штурмует Варшаву. Все бес- покойнее становится и в других странах. В Бельгии — вос- стание. И наконец — последние слухи, тайком переданные из Италии: Парма, Модена, Болонья охвачены вспышками карбонаризма.

Все с надеждой смотрят на Францию, воскресившую молодость века. Франция, конечно, поможет полякам, Франция, конечно, поможет бельгийцам, Франция, конечно, поможет народам Италии. Но на трибуну палаты депута- тов выходит суровый и мрачный парижский банкир, ми- нистр Луи-Филиппа; он заявляет, что кровь Франции при-

надлежит только Франции. Франция не станет вмешивать- ся в революционные затеи других народов.

Это было страшным охлаждением умов.

«Ехать ли во Францию?» — думал Паганини.

Глава двадцать седьмая

УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ

— Итак, ты отрицаешь все, что о тебе говорят? — спра- шивал академик, дирижер королевского камерного ансам- бля, месть Фердинанд Паер.

Он расхаживал по комнате, а перед ним, откинув ог- ромные черные кольца волос на спинку кресла, сидел уста- лый и бледный Паганини.

Паер был одет в темно-лиловое домашнее платье, на котором сияли белоснежный воротник, белый атласный галстук, манжеты с огромными аметистами и платиновая булавка с таким же камнем. Опять эти ярко-синие глаза и впечатление, будто в жилах этого человека вместо кро- ви — жидкий светлый металл, подвижный, но тяжеловес- ный и холодный. Только лицо — уже лицо старика.

— Ты был источником больших огорчений для меня, у меня двоилось впечатление каждый раз, когда я получал о тебе вести. Мне казалось, что ты существуешь в мире в двух лицах. Паганини — носитель музыкального гения, Па- ганини, спасающий молодого Джанделли и оказывающий помощь десяткам тысяч семей, пострадавшим от наводне- ния,— и Паганини, выгоняющий несчастную жену зимой в морозную ночь на улицу. Ты слишком часто умирал. Газеты сообщали о тебе такие небылицы, обстановка тво- ей смерти была так отвратительна, что я, наконец, пере- стал оплакивать твою преждевременную кончину. Я не понимаю, откуда возникло столько ненависти. Про тебя говорят, что ты увлекаешься турецким стилем музыки. Это уже совершенная глупость. Про тебя говорят, что ты кале- чишь прекрасное изделие старинных скрипачей, про тебя говорят,— но это Пино мне опроверг,— что ты предавался самому гнусному пороку и проиграл замечательную скрипку Гварнери. Давай разберемся во всех этих стран- ных явлениях, а потом я предлагаю тебе пойти в театр слу- шать певцу Малибран.

Паганини закрыл синеватые веки. Всего час тому назад он въехал в Париж.

За день перед этим он был в Лионе. Он с ужасом думал о рабочих заставах этого страшного города, где дымят трубы неведомых Италии гигантских зданий с машинами и паровыми котлами. Люди, десятки тысяч людей в рваных черных и синих блузах, изможденные, худые, тянутся вереницей из ворот, охраняемых конной полицией.

Что это за страна? Что это за город? Что это — тюрьма или место казни одних представителей человеческой породы другими?

Ни один город Германии, ни один город Италии не волновал так воображения Паганини. Вечером — яркие газовые фонари. Люди как будто ненасытно стремятся к свету. Этот беспокойный свет совсем не похож на тихий, колеблющийся желтоватый свет спермацета, на огонек масляной лампы или лампы. Люди стремятся бешено вперед, все усиливая звуки, повышая камертон, ускоряя движение по дорогам, увеличивая яркость вечернего света.

Проезжая по улицам Парижа, Паганини с жадностью всматривался из окна кареты в толпу. Молодые люди в цветных жилетах, сторонники изгнанного короля, с теми или иными условными знаками: или зеленый цветок в петлице, или зеленый жилет, или ярко-зеленая шляпа; студенческая молодежь в причудливых костюмах; женщины, переодетые пажмами; усатый человек проезжает в коляске, публика неистово рукоплещет, кричат, машут руками, бросают цветы под коляску. «Это польский генерал, — говорит кучер. — Париж с ума сходит от поляков».

Усталый от всех этих впечатлений, Паганини вяло слушает наставления старика учителя.

— Каковы источники этой вражды? О тебе говорят как о человеке несметно богатом. Вполне понятна зависть тех, кому ты закрыл дорогу к богатству, и ненависть тех, кого ты подавил своим талантом. Но не слишком ли ты обнаруживал перед средним человеком свои неслыханные успехи? Имей в виду, нельзя ссориться с этим огромным, многоголовым буржуа, он считает тебя своим имуществом. Это все объяснимо, это все понятно, это все поправимо. Меня тревожит другое, меня тревожит Паганини — создание молвы. Имей в виду: нет той подлости и грязи, которых бы тебе не приписывали. Я могу показать тебе, — Паер махнул рукою в сторону шкафа, — изображение тюремных стен, которые слушали первые звуки твоей игры. Я не буду говорить о глупостях, которые пишут французские журналисты. Жюль Жанен, человек, пострадавший от иезуитов и напуганный теперь до последней степени, сравнивает твою му-

зыку с демоном мятущегося отчаяния. Нет ли у тебя двойника, нет ли преступника, действительно присвоившего себе твое имя? Это — какая-то скользкая тень Агасфера, нигде не находящая приюта. Скажи, — ты можешь быть со мною откровенным: я хочу устраивать твои дела, я хочу обеспечить твой успех в Париже, это очень трудно! Ты сейчас стоишь перед очень сложным восхождением на вершину, ты можешь сорваться и не встать больше. Скажи, что у тебя вышло с этим странным человеком, Шпором? Его секретарь находится в Париже. После первого выступления, если ты действительно пользуешься мелодиями Шпора и разрабатываешь его скрипичный концерт, тебя будет ожидать судебный процесс, слушать который сойдется весь Париж, проявляя к этому скандалу, быть может, гораздо больше интереса, нежели к твоей скрипичной игре... Нет ли у тебя тайного врага, не оскорбил ли ты какого-нибудь сильного и могущественного властелина, не ссорился ли ты с церковью? Подумай обо всем этом, прежде нежели начинать хлопотать о выступлении в Париже. После разгрома карбонариев в Италии много беглецов переселилось в Париж, с ними и здесь сводят счеты. После гибели десятков тысяч итальянской молодежи, выданной во время процесса и подавления карбонарского восстания, теперь производятся расчеты со шпионами. Достаточно случайного оговора, чтобы человек погиб от неизвестной руки.

Паганини достал из сюртука короткое письмо Фонтана Пино и показал Паеру.

— Да, — сказал, прочитав, Паер. — Если тебе пишут во Франкфурт о том, что кто-то в Париже играет роль Паганини, живущего инкогнито, то может оказаться, что этот человек успел сделать тебе столько вреда, что до каких бы то ни было выступлений нужно определить твое положение. Эти фантастические рассказы, о которых пишет твой друг, не предвещают ничего доброго, и он, правильно сделал, что ускорил твой приезд в Париж.

Они вдвоем вышли в столовую. Их встретила несколько не постаревшая синьора Риккарди. Она принялась упрекать Паганини за то, что он не привез маленького Ахиллино обедать вместе с ними. Но Паер заметил, что, быть может, это и к лучшему, так как он хочет похитить Паганини на весь вечер.

— Вечером у итальянцев идет «Отелло». Поет Малибран, и хотя моя супруга не любит, когда я хвалю чужие голоса, но должен тебе сказать, что Малибран и Паста — это величайшие артистки мира. Малибран обладает

трехоктавным регистром, и нет ни одной ноты, в которой не сказались бы вся полнота очарования ее голоса. Но помни, что ты заранее обречен на неуспех у нее! Она сейчас со всей страстью испанки переживает увлечение скрипачом Берю. Вот твой соперник. Берю — непревзойденный талант, и помимо Берю в Париже есть Лафон, с которым ты когда-то, говорят, выступал. Есть ее брат, Александр Малибран. Это все — первоклассные скрипачи, которым ты испортишь настроение в первый же концерт. Я не говорю о Байо, я не говорю о Керубини. Твое счастье, что умер Крейцер. Ты знаешь, что он скончался?

Паганини кивнул головой.

— Так вот, помни, что если бы еще добавить сюда Крейцера и Родэ, то лучше было бы тебе не приезжать в Париж.

Паер испытующе смотрел на Паганини. Паганини с невозмутимым видом делал себе тартинку и молчал.

— С вами, кажется, приехал Джордж Гаррис? — заговорила Риккарди.

— Да, — сказал Паганини.

— Это автор комедий и анекдотов?

Паганини рассмеялся:

— Хорошо, что его здесь нет. Он очень не любит вспоминать о своих литературных неудачах, хотя его комедии шли в Касселе и Ганновере.

— Кто приставил его к тебе? — спросил Паер в упор.

— Я познакомился с ним у английского консула в Ливорно.

— Да, помню, помню, — сказал Паер. — Кто еще с тобой?

— Урбани, наш соотечественник.

Паер промолчал: фамилия ему ровно ничего не сказала.

А Паганини вдруг задумался, неожиданно вспомнив эпизод с портьерой. «Что ему было нужно? — думал Паганини. — И почему он так мрачен последние дни?»

От синьоры Риккарди не укрылась тень на лице Паганини. Изменив тему разговора, она пыталась вернуть Паганини хорошее настроение. Заговорили о театре, и Паганини произнес фамилию Россини. Этого было достаточно для того, чтобы лицо Паера внезапно стало грустным. Синьора Риккарди быстро взглянула на мужа и снова стремительным поворотом разговора попыталась рассеять внимание собеседников. Паганини почувствовал, что сделал какой-то неловкий жест.

Когда встали из-за стола, до отъезда в оперу остава-

лось еще около двух часов. Паганини и Паер перешли снова в маленькую гостиную. Паер взял с полки какую-то брошюру и передал ее Паганини.

— Вот ответ на твой вопрос о Россини, — сказал он.

Паганини пробежал несколько страниц. Это была отвратительная клеветническая книжонка, которая говорила о взаимной вражде двух больших музыкантов. Паер и Россини, очевидно, не выносили друг друга. Трудно было сказать, кто был прав в этой неожиданной ссоре, но ясно было видно, чем она вызвана. С приездом Россини в Париж почти прекратились постановки опер Паера. Россини завоевал Париж. Арии из «Севильского цирюльника» распевали уличные мальчишки. Непокколебимый авторитет синьора Фердинанда Паера впервые был поколеблен. Кто-то воспользовался этим, кто-то стал нашептывать о разгорающейся вражде, и то, что еще не было действительностью, в скором времени осуществилось. Паер подозревал, что автор этой брошюры — Россини; Россини считал, что только друзья Паера могли позволить себе такую гнусную клевету на него, на Россини. Оба музыканта отрицали свое участие в издании книжонки. Музыкальный Париж делился на два лагеря в ее оценке: одни оперировали ею против Россини, другие — против Паера.

Паганини положил книжку на стол и сказал:

— Так вот, дорогой учитель, каковы же источники этой вражды? Вы богаты, вы занимаете хорошее положение, вам, конечно, завидуют бездарные музыканты, и вас хотят поссорить с моим молодым другом Россини. — И, подражая Паеру, произнес: — Не ссорились ли вы с властями, нет ли у вас тайных врагов? Вы видите, дорогой маэстро, что, даже не будучи ни в чем виноватым, вы можете попасть в такое положение, в каком я все время нахожусь...

— Ну, довольно говорить обо мне, — сказал Паер. — Ты, очевидно, не намерен зря проводить время в Париже, ты будешь давать концерты. Знаешь ли ты, — впрочем, мне не нужно тебя убеждать, — что истоки мировой славы находятся здесь, в Париже, и если Париж тебя не примет, то твое возвращение в Европу не будет таким славным походом завоевателя, который привел тебя сюда. Имей в виду, что тебе легче просто уехать из Парижа, не дав ни одного концерта. Ты в достаточной степени заинтриговал парижан сплетнями и твоим присутствием инкогнито. Я сам видел журналистов, которые хвастались беседами с тобой, когда ты еще не думал быть в Париже. Подумай, с чем

ты выступишь? Что ты читал? Что ты знаешь? Что ты представляешь собой сейчас? Пока еще не поздно отказаться от выступления. Я давно тебя не слышал, я говорю сейчас с тобой, основываясь на молве. Пойми, что во мне ты видишь наилучшего друга.

— Я вижу перед собой усталого человека,— сказал Паганини.

Паер нахмурился.

— Ты, очевидно, думаешь, что я преувеличиваю значение твоего пребывания в Париже. Да будет тебе известно, что прошлый год ознаменовался неслыханным скандалом, связанным с постановкой пьесы молодого писателя Виктора Гюго «Эрнани». Эта постановка была сорвана. Обстановка была такова, что автору оставалось только застрелиться. Его поддержали молодежь и случай, а несколько дешевых идей, брошенных автором в публику, спасли его положение. Заурядному спору завистливых людей печать придала значение философского спора о романтизме и классицизме. Молодые люди в костюмах конквистадоров, женщины, переодетые средневековыми пажимами, идиоты в красных жилетках, с лицами бульдогов и с огромными суковатыми палками в руках наполняли театр и едва не устраивали потасовки. Согласись сам, что это мало похоже на служение искусству. Если первые спектакли прошли с неслыханным успехом, потому что вся эта молодежь, причиняя, по-видимому, немало расходов автору, заполнила целые ряды, то следующие представления «Эрнани» сопровождались свистками, шиканьем, сцена была забросана отрывками яблок, остатками пищи, рваной обувью и черт знает чем. В Париже все зависит от капризов газетных репортеров. Ты должен сказать мне прямо и откровенно: чем вызваны нападки на тебя европейских газет? Откуда такое количество невероятных рассказов, делающих тебя пугалом для всякого порядочного дома, для всякого честно живущего французского буржуа? Имей в виду, что в Париже это может вырасти до баснословных размеров, и то, что вызвало бы повышенную сенсацию в Германии, в Австрии и в Италии, может вызвать совершенно неожиданные последствия в Париже.

— Дорогой маэстро,— сказал Паганини,— нет у меня врагов. Все, что пишут обо мне, не имеет никакого отношения к живому Паганини. Во всяком случае я не знаю людей, о которых я думал бы с опасением. Как можно отнять у меня то, чему отдана вся моя жизнь,— когда я чувствую себя скрипачом в полной силе? Обладая моим огромным

даром, зачем я буду бояться кого-то, кроме себя? Мне завидуют, говорите вы, но я не враждую с людьми, я никому не желаю мстить, я ни о ком не думаю с ненавистью, и у меня за всю мою жизнь не было случая, чтобы мне долго не давали покоя злобные мысли о ком-нибудь. Скажу вам больше: меня радует всякое проявление таланта, меня радует всякое прекрасное душевное движение в человеке, я не вижу никакого для себя ущерба в том, что появится скрипач, равный мне по силе: тогда моя работа будет облегчена, так как каждый концерт отнимает у меня год жизни, тогда кто-то другой придет ко мне на помощь и облегчит мне то горение, которое называется служением искусству.

Паер с широко раскрытыми глазами слушал эту неожиданную для него речь. В эти минуты он подсчитывал годы, пробежавшие со времени шестимесячного пребывания в Парме хилого ребенка, сына генуэзского маклера. Перед ним мелькали годы и месяцы, проведенные в Венеции. Известность в соединении со счастьем домашнего очага. Потом — Вена и Дрезден. В Дрездене — неожиданный успех. Вечером в большой дворцовой зале распахнулись двери, и вошел, заложив руку за лацкан, постукивая безмянным пальцем по звезде Почетного легиона, человек маленького роста, с желтоватым лицом, и метнул серыми стальными глазами в его сторону. После концерта этот человек, окруженный генералами, подписывая бумаги и даже не взглянув на музыканта, предложил ему ехать с ним в Париж. Потом — годы славы и удачи во французской столице. Итальянский театр, зависть соотечественников с незавидным талантом, полная победа над ними. Потом — падение Бонапарта. Реставрация Бурбонов. Побег Людовика XVIII из Парижа. Новые сто дней Бонапарта. Потом — король Карл X и длительное торжество священников, монахов и дворян, стремящихся к восстановлению старого блеска.

Тогда было очень трудно Фердинанду Паеру. Все итальянское было не в чести у короля Карла. Потом, всего полгода назад,— баррикады, пушечная стрельба, громкие и отчетливые требования республики перекликаются со старыми итальянскими лозунгами свободы. Мелькают знакомые лица и знакомые фамилии, откуда-то возникли друзья, от которых, как от чумы, стремился в это время укрыться синьор Паер. И сквозь все эти годы — молва, чудовищная, злокачественная, об этом все и всех покоряющем на своем пути музыканте, Никколо Паганини.

Было представление о заносчивом человеке, крайне неприятном, который поставил жизнь на карту из-за денег. Скрипач, проигравший скрипку, не может считать себя артистом. Скрипач, променявший высокое искусство на деньги, разменявший свой талант на бирже случайных успехов, не может рассчитывать на добрый прием у старого Фердинанда Паера. И вот сейчас этот человек, которого всюду опережала неотвязная молва, сидит перед ним уже много часов, и Фердинанд Паер не может оторваться от беседы. Этот черный урод с землистым лицом покоряет его своими удивительными словами, своими мыслями, никак не уживающимися с тем представлением о Паганини, которое создали газеты. А последние слова скрипача показывают, какая огромная это душа, они так не похожи на все, что слышит синьор Фернандо от артистов, окружающих его, — надо подумать, прежде чем решительно ответить Паганини от выступления в Париже.

— Итак, ты отрицаешь существование у тебя врагов. Что бы ты хотел сделать?

— Я хотел бы видеться с вами часто, маэстро.

— Так, — сказал синьор Фернандо. — Мы сегодня с тобой пойдем в театр, а сейчас не хочешь ли сыграть что-нибудь?

Паганини отрицательно покачал головой.

— Я буду играть на концерте.

Паер нахмурился. «Не слишком ли он самоуверен?» — подумал он, но решил промолчать.

— Я должен освоиться с Парижем, — сказал Паганини. — Этот город меня поражает, он подавляет меня гигантскими размерами своих улиц и площадей. Я не знаю, к чему такие широкие улицы, к чему такие огромные пустые пространства. Я видел газовые фонари. Это фантастическое белое освещение говорит о неистребимой жажде французов к потокам света ночью. Когда я освоюсь с этим городом, то, быть может, вы окажете мне содействие в устройстве концертов, быть может, вы познакомите меня с теми, кто может обеспечить мне и Гаррису наем помещения и наиболее целесообразное расписание концертов.

— А выбор программы?

— Об этом я позабочусь.

— Ты самоуверен!

Паганини не обратил внимания на эти слова.

— Что говорят в Париже о нынешнем короле, маэстро?

— Что же могут говорить о нынешнем короле! Первое, что он сделал, это перевел состояние Орлеанского дома в

Лондон на имя своих детей. Герцог Бурбонский, единственный Бурбон, оставшийся в Париже, — старик, уже не выходящий из дома, — завещал свое состояние герцогу Омальскому, старшему сыну Луи-Филиппа. Как это ни странно, старика нашли повесившимся в собственной спальне непосредственно после составления этого завещания. Ну, что еще сказать тебе? Луи-Филиппа возвели на трон парижские банкиры, Лафайет рекомендовал его восставшему Парижу в ответ на крики о республике, как лучшую из республик. Я, конечно, говорю с тобой так, как не буду говорить ни с кем другим. Имей в виду, что после неприятных происшествий в Болонье, в Модене и в Парме ко всем итальянцам отношение в Париже подозрительное. Твой Фонтана Пино... лучше бы ты с ним не виделся! Кроме того, — тут Паер понизил голос, — ты знаешь, что я верный слуга короля. Ко мне обращались многие. Итальянские беглецы, которым во Франции оказывали покровительство, сейчас собрались в Лионе и Марселе. Они хотели выехать в Италию, их не пустили и отдали под надзор французской полиции.

Паер еще более понизил голос.

— Австрийские войска сейчас расстреливают жителей Модены, Пармы и Болоньи. Австрийские войска сейчас вошли в Романью, и ходит слух, что племянник Наполеона, Луи Бонапарт, замешан в итальянских делах. Держи себя осторожно в Париже, в особенности с соотечественниками. Ты, сам не зная как, можешь навлечь на свою голову множество бед.

В театре Паганини с восторгом слушал «Отелло». Дездемона совершенно захватила внимание Паганини. Голос испанской певицы, ее необычайная живость и изящество заставили Паганини на несколько сладких часов забыть предостережения Паера.

После антракта, вернувшись на свои места, Паганини и Паер сделались предметом самого странного любопытства соседней. По окончании второго акта молодой, высокий, стройный человек, с усами кавалериста и военной выправкой, подошел к Паеру. Это был скрипач Берно. Он не скрывал, что подошел к синьору Фернандо только для того, чтобы просить представить его господину Паганини.

Этот чисто французский жест, эта свобода и легкость светского человека понравились Паеру. Паганини из нескольких фраз Берно понял, что Париж, в отличие от тяжелодумной родины Шпора, обладает способностью бескорыстно и по достоинству оценить артиста. Он высказал

это своему учителю. Паер посмотрел на него и ничего не сказал. У него еще не было достаточных оснований для того, чтобы так или иначе истолковать жест Берио. Французская светскость первого скрипача Парижа должна была свидетельствовать о радушии хозяина, принимающего итальянского гостя, но в равной мере она могла быть намеком на то, что парижские музыканты отнюдь не встревожены приездом Паганини, они слишком уверены в себе, чтобы бояться его появления. Эти оттенки быстро уловил учитель Паганини. И то, что сам итальянский скрипач принял за чистую монету, то для его учителя показалось очень серьезным предостережением.

13 февраля 1820 года герцог Беррийский — племянник короля Людовика XVIII и единственный наследник французского престола — вышел из театра. Столяр Лувель подошел к нему и перерезал ему горло обыкновенным кухонным ножом.

14 февраля 1831 года остатки парижской знати, люди, хранившие как святыню белые лилии бурбонского герба, собрались среди бела дня в аристократической церкви Сен-Жермен Л'Оксерруа. Все Сен-Жерменское предместье было запружено каретами и колясками. Была отслужена торжественная панихида по герцоге Беррийском. Это был протест Сен-Жерменского квартала Парижа против новых порядков, против буржуа, стоящего у власти, и против сотен тысяч Лувелей, точащих кухонные ножи на королей.

Панихида окончилась увенчанием цветами изображения герцога Бордосского. Молва, как электрическая искра, пробежала по улицам Парижа. Тысячная толпа собралась у церкви, когда окончилась панихида. Толпа запрудила дорогу, и вот кто-то из разъяренных парижан хватает первого попавшегося священника, и тот летит в реку. Быстро разьежжаются кареты, легкие экипажи, увозя графинь, герцогинь и виконтов. Народ врывается в церковь, разрушает алтарь Сен-Жермен Л'Оксерруа, ломает в куски статуи святых, режет ножами иконы и выбрасывает за окна дароносицы. Кресты снимаются с церкви. Дом каноника и квартиры иезуитской конгрегации подвергаются той же участи. Все сломано, перебито, выбиты стекла, поломаны рамы, сожжены полы и потолки.

Народ бушевал весь день. Огромные толпы проходили мимо окруженного полицией и войсками Пале-Рояля. Они не трогали короля, они искали «попов и Бурбонов». Потом направились к дворцу архиепископа, и в то время как

одни громили церковь, прилегающую к дворцу, другие, смяв отряд национальной гвардии, вошли во дворец, сорвали каменные кресты, уничтожили мебель, иконы. Из огромного количества распятий, бывших в разных комнатах, сложили костер на паркетном полу. И в это время мимо дворца архиепископа прогремела карета, из которой с удивлением выглянуло демоническое лицо, обрамленное кольцами черных волос. Землистые щеки, синеватые веки, лицо, на котором отпечатались цвета серы и медного купороса. Синие веки поднялись, как крылья ночной птицы, к черным бровям, и огромные глаза загорелись злорадством. Демон въехал в Париж. Этим демоном был Никколо Паганини.

В этот час, миновав заставу, он приехал на улицу д'Анфер и поселился там вместе со своим дьявольским фамулусом, английской собакой, Джорджем Гаррисом, который является, несомненно, воплощением черта, купившего душу итальянского скрипача.

...О событиях этого дня помощнику префекта полиции докладывал невзрачный человек в большом черном сюртуке. Это происходило в те часы, когда синьоры Паганини и Паер спокойно слушали оперу «Отелло».

Полиция не спала всю ночь. Испуганные представители духовенства не знали, где искать защиты. Старая карлистская полиция была теснейшим образом связана с иезуитами, но орден знал очень хорошо могущество парижских банкиров. Он знал наперечет богатство всех наследников лучших купеческих домов Парижа. И он знал, что за первым опьянением победы наступит отрезвление и католическая церковь, в лице самых тайных ее организаций, снова станет необходимым пособником власти, а из пособника сделается настоящей руководительницей французской политики.

Сухим и монотонным голосом агент секретной полиции докладывает супрефекту города Парижа сводку своих наблюдений. Состоя в двойном подчинении, он в минуты большой усталости путал наблюдения интеллектуального сектора и полиции нравов с политическими сводками и с уголовными сводками обыкновенной полицейской агентуры. Но он знал, что господин супрефект сам добывается ордена Иисуса, и не очень заботился о размежевании тех сведений, которые он должен был сообщить полицейскому супрефекту, и тех, какими интересовался коадьютор ордена иезуитов.

— Еще что? — спросил супрефект.

— В кофейне «Эмблема» выступали молодые люди с литературными спорами. Молодой человек кричал о правах средних людей.

— Ну, и что же? Что за необходимость подслушивать этого болтуна?

— Он кричал о том, что люди, лишенные талантов, должны соединяться вместе.

Супрефект зевнул:

— Какое дело полиции до всех сумасшедших мальчишек, страдающих тайными пороками и собирающихся в кофейнях?

— Он выкрикнул очень интересную вещь.

— Кто выкрикнул? — переспросил супрефект.

— Да Мюрже. Он закричал: «Я защищаю право среднего человека плевать в лицо гению!»

— Однако! Это уже интересно! Ну, и что же?

— Я пригласил его на службу.

— Зачем?

— Он нам будет нужен.

— Он что — романтик?

— Он — никто. Но человек, который кричит: «Я защищаю право среднего человека плевать в лицо гению, я за право подлеца и мастурбатора!» — может многое для нас сделать. Я дал ему денег.

— Как, ты говоришь, его фамилия?

— Я записал его и взял документы. Его фамилия — Мюрже.

— Вот как! Агент русского царя! Кто там был еще?

— Там был Нодье.

— Литератор? Что он говорил?

— Он произнес речь против газовых фонарей.

Супрефект окончательно оживился. Сон слетел с его глаз. Супрефект расположился в кресле поудобнее.

— Это совсем интересно. Теперь студенческая молодежь Сорбонны и медицинского факультета — болото, в котором рождаются змеи и лягушки. С ними столько хлопот: то охраняй театр, в котором они колотят друг друга по морде дубинками, то они раскрасят друг другу физиономии кистями в мастерской господина Делакура, то поссорятся с девчонками на Итальянском бульваре и раздерут им юбки. Держите их под наблюдением, держите! Господин министр прав, когда говорит: «Сегодня это романтики, а завтра революционеры». Но за молодого Мюрже я ручаюсь. Пусть он служит и нам, и петербургскому медведю — деньги не пахнут!..

— Да, — сказал агент, — господин министр говорит: «От социализма Францию может спасти только катехизис».

— Ты, кажется, становишься философом! — сказал супрефект. — Я ценю вашу агентуру. Мюрже — это рыбка, из которой можно сварить уху! Ну, а что же именно говорил Нодье?

— Нодье повторил свою речь о новогоднем освещении улицы Мира и квартала Вивьен газовыми фонарями. Нодье кричал, что от ядовитых газов умирают деревья, картины в кафе чернеют от ядовитого чада, тончайшего и невидимого, который выделяют эти проклятые лампы, слепящие глаза. Кареты падают в ямы, вырытые посреди мостовых, так как газовые фонари слепят глаза лошадям.

Супрефект порылся в папке и достал огромную синюю тетрадь.

— Это — сумасшедший, — сказал супрефект, — он подал правительству мемориал о запрещении водорода.

Он перелистал тетрадь. Агент ясно увидел подпись Нодье.

Автор «Сбогара» писал, что парижские пожары, холера, бунты и десять египетских казней имеют причиной водород, разливающий свой ядовитый свет по улицам Парижа.

В четыре часа утра тот же агент получил инструкции от коадьютора ордена.

Глава двадцать восьмая

ОТРАЖЕНИЕ ДВУХ ЗЕРКАЛ

Итак, Паганини, приехав в Париж, сразу попал под надзор полиции. Границы политической и уголовной полиции еще были установлены с достаточной четкостью, но уже обрисовывалась вражда между ними. Коко Лакур, сменивший парижского Видока в 1827 году, был все-таки старым карманным рыцарем, как его называли. Работа путем привлечения мелких преступников для поимки больших, он внушал ненависть господину Жиске, желавшему ввести новые методы в политическую работу полиции. Но Жиске потерпел поражение, ибо в области секретного полицейского надзора правительство Луи-Филиппа пошло по старой, проторенной дорожке, создавая притоны, формируя провокационные ячейки, притягивавшие молодежь.

Коко Лакур был прямым продолжателем того самого Видока, который в 1817 году, в полном согласии с духом

царствования реставрированных Бурбонов, предложил префекту полиции д'Англезу организовать на свой страх и риск бригаду сыщиков, с тем, чтобы эта бригада действовала исключительно под его, Видока, контролем. И так как он сам принадлежал к компании крупных воров, то первые шаги Видока были чрезвычайно успешны. Видок, насладившись карьерой крупного вора, наслаждался карьерой помилованного каторжника, предающего правосудию своих прежних товарищей. Коко Лакур так же, как он, сформировал бригаду-мобиль и с этого начал свою работу. Жиске протестовал, но был принужден сдаться. Мало того, в качестве префекта полиции Жиске сам организовал в министерстве внутренних дел лабораторию, где готовились опасные политические яды. Оттуда вышли псевдополитические деятели, формировавшие тайные общества и союзы с самыми причудливыми названиями и самыми крайними программами. Это обеспечивало заработки полиции. Это дешево стоило, это открывало блестящую эпоху удачного политического сыска.

Существовало и второе зеркало, отражавшее тайный Париж и тайную Францию. Это зеркало давало отражение чище и яснее. Старые опытные венецианские зеркальщики шлифовали это удивительное стекло и покрывали его амальгамой.

В 1829 году Рютаан сделался генералом ордена. Этот суровый, холодный, очень уравновешенный голландец обладал способностью с молниеносной быстротой вмешиваться в политику и наносить с неизвестной стороны такие удары, которые ставили в недоумение умнейших дипломатов Европы.

Иезуиты в светском платье сидели на почте. Их имена встречаются даже в списках черного кабинета.

В 1829 году, когда Карл X пошел по пути открытой реакции, министр Виллеле опубликовал так называемую «Черную книгу». Правительство Луи-Филиппа заявило о ликвидации черного кабинета, оно заявило, что «Черная книга», опубликованная Виллелем, была простой уткой. Июльская революция как будто ликвидировала черный кабинет, но фактически его только переместили в новое здание. И там тоже были дубликаты печатей, дубликаты бланков, сургуч всех цветов и конверты всех министерств, гербовые печати французских дворян и девизы французских банков. Письмо вручалось адресату в совершенно целом конверте, до такой степени дело было поставлено хорошо.

В 1831 году в парижском суде слушалось дело маркизы Лавальер, вышедшей замуж за почтенного профессора Сорбонны. Она узнала, что этот профессор состоит одним из главарей черного кабинета, и потребовала развода. Несмотря на то, что дело было решено в ее пользу, ни архиепископ парижский, ни Римская консистория не утвердили развода. Легальное существование иезуитского ордена использовано было только для организации школ, для управления имуществами ордена, но реальные силы иезуитов, богатства и секретные пружины этого огромного, всюду проникавшего механизма не только не были известны широкой публике, но и низшим степеням ордена не были доступны.

Когда итальянский карбонаризм выступил на борьбу с орденом, ему пришлось заимствовать железную дисциплину иезуитов, чтобы хоть сколько-нибудь успешно вести борьбу с этим тайным и страшным врагом. Иезуитизм — это была раковая опухоль в организме Европы, она всюду простирала свои тончайшие нити и разветвления, обладавшие способностью разбухать и разрастаться, превращаясь в совершенно самостоятельное образование в тех случаях, когда деятельность Рима была парализована. Это второе зеркало, отражавшее тайную жизнь Парижа, отражало и деятельность тайной полиции Луи-Филиппа. Но само оно, несмотря на все усилия гражданской власти, не попадало в сферу наблюдения правительства.

Паганини в Париже был отмечен особо, и вереница лиц завертелась в отражающих зеркалах.

В один прекрасный день на улице д'Анфер появился министерский курьер. Об этом знали супрефект и господин Жиске. В другой день приходили врачи, музыканты, литераторы, художники, поэты. Вот карета господина Лаффита, бывшего министра, хозяина всех дилижансов Франции, владельца крупнейшего европейского банка. Зачем он приехал к скрипачу? О, разговор был самым пустячным: господин Лаффит желал слушать скрипача в своем отеле, он проезжал мимо, он хотел отвезти чудного ребенка, сынишку синьора Никколо, в Пасси или Булонский лес в своем открытом экипаже: чудесный весенний воздух будет полезен ребенку.

Копыта пары прекрасных арабских коней, с эгретами и сбруей из русской кожи, гулко стучали по торцовым мостовым. Синьор Паганини, маленький Ахиллино и господин Лаффит сидели в ландо. Лаффит прямо заявлял, что он ушел из министерства потому, что ему отвратительна

иностранный политика нового правительства. При всем своем уважении к королю он должен сказать: король Луи-Филипп — все-таки в руках каких-то темных людей.

— А я — ставленник баррикад, — с важностью заметил Лаффит. — Я был сторонником вмешательства в дела вашей прекрасной родины. Давно пора освободить Италию от варваров!

Прогулка окончилась. Паганини отказался заехать к господину Лаффиту. Секретарь господина Лаффита, пожимая руку Гаррису, вкрадчиво сказал, что все средства, все капиталы синьора Паганини, все лавины парижского золота, которые устремляются к Паганини, синьор может направить в банк господина Лаффита, так как только этот банк даст наиболее обеспечивающий процент.

Вечером, когда Гаррис беседовал с синьором Паганини на эту тему, тот же агент, который делал доклад супрефекту, стоял в другом месте, перед другим столом. На улице — вывеска: «Нотариус Браччолини». Маленькая душная комната с письменным столом. Сильно накурено. Здесь всего два посетителя и клерк, разговаривающий сразу с обоими. Но через три комнаты, в глубине коридора — скрытое помещение с очень скудным убранством: один стол, один стул, узкая кровать, таз и кувшин с водой, огромное распятие над кроватью. Там старик с весьма проницательным взглядом, сидя на единственном стуле, выслушивает донесение агента о приезде Паганини в страшный день разрушения парижских храмов и дома архиепископа.

Рядом с седым стариком стоит синьор Нови, с выражением злости и разочарования на лице. Приходом агента был прерван длительный спор.

У старика нет никаких возражений против Паганини. Рассказ агента не производит на него никакого впечатления. Но он ищет хоть какого-нибудь подтверждения того, о чем с такой тревогой говорит Нови.

Зачем Нови приехал в Париж? Нельзя спрашивать, какие полномочия имеет Нови, они перед глазами: это — письменное указание на то, что ему поручено дело увеличения доходов ордена посредством получения завещания людей, перечень которых знает на память Нови. Старик знает прекрасно всю обстановку приезда Паганини. Его интересует другое: когда Нови успел видаться с этим агентом. Он пристально смотрит на Нови, он боится сам впасть в ошибку.

Агент докладывает о новой деятельности так называемой черной бригады. Французские скобяники, торговцы железом, антиквары, обойщики и драпировщики получили внезапно откуда-то возможность скупать старинные усадьбы, замки, брошенные дворянские особняки в самом Париже и с невероятной быстротой производят разрушение зданий. Надо дознаться, кто стоит во главе, на чьи средства это делается.

— Что можно сделать для того, чтобы удовлетворить тебя? — спрашивает старик, обращаясь к Нови. — Вот передо мной карта всех поездок твоего скрипача. Ты говоришь, что все его путешествия связаны с работой карбонариев, ты упираешь на то, что Фонтана Пино — карбонарий. Но сам Паганини, как он воспользовался этим знакомством? Он просто, судя по крайней мере по копиям писем, нащупывал почву в Париже — и больше ничего. Я все-таки надеюсь на то, что Париж принесет ему много золота. Состояние его увеличится, а у нас еще много лет впереди для того, чтобы направить это золото в казну ордена. У нас всегда есть возможность применить устрашение без нанесения решительного удара. Мы можем заставить человека жить, питаясь хлебом страдания и водой страха. В нашем распоряжении парижские врачи. Жорж-Бенуа Фодере, лучший судебный врач Парижа, всегда выполнит то, что мы ему прикажем. Доктора Ростан, Крювелье и Лассег, эти великие врачеватели душ...

— Да, — прерывает Нови. — Но пока Урбани находится при этом проклятом Паганини, наша работа обречена на неуспех.

Глаза старика вдруг потемнели и сделались непроницаемыми, он махнул рукой, ничего не ответив на это.

— Людьюми легче управлять при посредстве пороков и страстей, нежели посредством добродетелей, — говорит старик. — Прививая обществу малые пороки, мы можем упразднить большие. На какую страсть отзывается больше всего твой скрипач?

— Это демон, которого гложут все страсти и все пороки.

Старик покачал головой.

— Ты говоришь, как юноша, а надо, чтобы ты говорил, как зрелый муж. Ты опытный сын церкви. Что можем мы сделать для того, чтобы начать воздействовать на Паганини? Если бы это был офицер королевской армии, мы могли бы пустить слухи, порочащие его воинскую

честь. Если бы это был священник, мы могли бы обвинить его в ереси. Но когда это просто скрипач, артист, что можем мы сделать против такого человека?

— О! — воскликнул Нови. — Что можем мы сделать? Мы можем смертельно оскорбить его в печати. Мы можем затруднить его выступления, мы можем понизить состояние его духа настолько, что смычок будет вываливаться у него из рук! Мы можем, израсходовав небольшую сумму на парижские газеты и журналы, громко закричать на весь Париж, что иссякли родники творчества Паганини. Можно писать статьи, которые намеренно оскорбят его грубым непониманием. Мы можем поручить редакции составить специальный номер журнала, в котором дураки и тупицы напишут биографию Паганини, поместят вздорные портреты, изображения тюрем, в которых он был заключен, и портреты его любовниц. Этим мы вызовем в нем разлитие желчи. Глупость рецензента прощается гораздо скорей, нежели гениальное превосходство мастера. Поймите, отец, что только таким способом мы можем пресечь его работу в Париже!

Старик встал.

— Ты опять, сын мой, поворачиваешь на прежнюю дорогу, — сказал он. — Властью, данной мне орденом, приказываю тебе оставить мысли о нанесении вреда Паганини. Мы не намерены прекращать его деятельность в Париже, и делать из Паганини какое-то исключительно интересное лицо мы не будем. У тебя есть прямое приказание использовать все способности святой матери церкви для обращения Паганини и для превращения его огромного богатства в богатство ордена. Ступай.

Весь следующий день после представления оперы «Отелло» Паганини обдумывал слова своего учителя. Малибран его поразила. Его глубоко взволновала опера, показавшая, на каком высоком уровне стоит музыкальная культура Парижа.

Он видел в театре Россини, который издали ему поклонился, но не подошел, так как Паганини сидел рядом с Паером.

Паганини перелистал маленькую записную тетрадь. Там было записано: узнать адрес Лафона, написать приглашение синьоре Даморо. Дальше шли сведения, записанные со слов Паера: Лора-Синтия Даморо, дочь Монтерлана, ей тридцать лет, поет под именем Чинти. Спросить Россини. Обер написал для нее оперу «Черное домино».

В ту минуту, когда Паганини собрался писать синьоре Чинти письмо с предложением совместных концертов, в дверь постучали. Вошел Урбани с курьером парижской консерватории. Письмо от Паера. «Сегодня вечером его величество желает тебя слушать в Пале-Рояле. С этого мы начнем твое завоевание Парижа. Я в тебе уверен».

«Милый синьор Фернандо, — подумал Паганини, — я не напрасно считал тебя не только учителем, но и чудесным человеком». Однако его приглашали во дворец. Когда возобновилась война за свободу Италии, как может он войти во дворец короля? Решение было мгновенным. Краткие строчки, сползающие под линейку, известили синьора Фернандо Паера, что внезапная болезнь мешает Паганини принять приглашение короля.

Газеты, которые прежде были наполнены восклицательными знаками, сопровождавшими имя Паганини, вдруг стали сдержаннее. Через день появились кислые заметки о необычайном чванстве итальянца.

Паер ходил по комнате и говорил:

— Я не ручаюсь за твой успех. Первое, что ты сделал по приезде в Париж, — ты оскорбил короля. Это первое, что ты сделал.

На лице старого скрипача, все еще прекрасном, появились тонкие склеротические морщинки, глаза его казались стеклянными, когда он произносил эти горькие фразы.

Может ли Паганини сказать учителю все, что думает? Но Паер как будто угадал его мысли.

— Ты, может быть, не пошел потому, что Луи-Филипп отказался помочь нашей родине? — по-детски, наклонившись к уху Паганини, шепотом спросил он. И, как бы отвечая сам себе, выпрямившись, возразил: — Да, но я читал отчет о твоих поездках по Баварии. У королевы баварской в замке Тегернзее ты играл!

Паганини молчал.

— Я совершенно искренно говорю, я был болен, — наконец произнес он.

«Луи-Филипп, — подумал Паганини, — это повторение предательства кариньянской собаки!» Он чувствовал себя итальянцем больше, чем когда бы то ни было.

— Ну, вот что, — продолжал Паер. — Я говорил с Габенком, это наш дирижер. Тебе предстоит сегодня объездить парижские залы и посмотреть, где лучше всего звучит скрипка.

Шесть дней прошли в поисках. Но дело было совсем не в том, хороши или плохи залы.

Каждый раз, когда Паганини, усталый, выходил из экипажа и поднимался в комнату своего учителя, происходил разговор приблизительно такого содержания.

Паер, вскидывая глаза, спрашивает:

— Ну, что?

— Не нашел. Мы с Гаррисом объездили весь Париж. В одном зале устраивают бал студенты медицинского факультета и кокотки, они будут плясать трое суток подряд, с четырнадцатью оркестрами, в другом — мировой пианист Пласко дает концерт.

— Какой Пласко? — Паер разводит руками. — Не знаю такого.

— В третьем — индийский маг будет показывать фокус с воскрешением мертвой собаки; в четвертом — состоится совещание общества «Возвращение утраченной молодости»; в пятом — сен-симонисты устраивают сборище с докладом некоего Анфантена; в шестом — неподражаемый, гениальный, знаменитый скрипач Афродито, приехавший откуда-то, дает свой концерт, на удивление всем парижанам.

Паер снова ударяет кулаком по столу:

— Это что за идиотство? Откуда этот Афродито?

Паганини продолжает:

— Виньоль читает лекцию, где провозглашает себя мировым гением драматургии. Сабле читает свой новый роман из жизни Видока.

— Черт знает что! — кричит Паер.

— Дюкло читает доклад, доказывающий глупость и бездарность Шекспира.

— Ну, это еще куда ни шло, — говорит Паер. — Дюкло, которого никто не знает, конечно, талантливей Шекспира. Но когда же все это кончится? Снял ты, наконец, какое-нибудь помещение?

Паганини стоит, заложив руки за спину.

— Дорогой учитель, вы скрыли от меня, что Париж кишмя кишит музыкальными гениями, вы утаили от меня, какое количество собрано здесь гениальных скрипачей!

Наступило 7 марта. Курьер, посланный Паером с извещением, что господин Верон, назначенный дирижером Большой оперы, предоставляет на 9 марта театр в распоряжение Паганини, стучал очень долго. Никто не отзывался. Было уже два часа дня. Спускаясь по лестнице, курьер встретил мальчика и седого человека с острой бородкой. За ними шли высокий черноволосый итальянец и старая

дама. Увидев, что он отошел от двери Паганини, они оставили его.

— Как, вы не могли достучаться?

Гаррис, Урбани и старая дама переглянулись.

— Вы идете к синьору Паганини? — спросил курьер.

Гаррис порылся в кармане, быстро отпер замок и вошел.

— Неужели он уже уехал? Утром он еще лежал в постели и просил его не будить!

Когда приоткрыли дверь комнаты синьора, увидели его лежащим у письменного стола. Голова неуклюже упиралась в стену, шея согнулась чуть не под прямым углом к туловищу. Скрипка лежала рядом.

Ахиллино с криком бросился в комнату. Фрейлейн Вейсхаупт всплеснула руками. Урбани стиснул зубы.

— Доктора, немедленно доктора! — закричал Гаррис.

Урбани опрометью бросился на лестницу.

Курьер положил письмо и участливо сказал:

— Я сейчас же доложу господину академику, и мы вместе привезем врача.

Один за другим приезжали врачи, ни один не констатировал смерти. Состояние было странное, не похожее ни на летаргию, ни на искусственно вызванный сон, но это не была смерть. В комнате стоял отвратительный сладковатый запах, вызывающий головокружение, и первое, что сделал Урбани, — поспешил открыть окно.

Растирание, лед, согревание — ничто не помогало. Раздвинув ножом зубы больного, молодой врач Жан Крювелье влил несколько капель какой-то жидкости. Прошло три минуты. Паганини открыл глаза. Крювелье отозвал в сторону Урбани и долго его о чем-то расспрашивал. Потом, когда Паганини слабым голосом заговорил и первыми его словами была просьба о еде, доктор быстро подошел к нему, пощупал пульс и сказал:

— Ну, теперь вы совершенно вне опасности, я уезжаю.

Гаррис осторожно спросил врача, какое он желал бы получить вознаграждение. Крювелье покачал головой и сказал:

— Ничего. Единственно, о чем я прошу, это чтобы вы до моего расследования не предавали огласке этот странный случай. Кроме того, я был бы весьма признателен, если бы получил в качестве сувенира подушечку от скрипки синьора. Я счастлив, что мне удалось спасти это украшение музыкального искусства.

Фраза была построена по трафарету, никто ей не удивился. Гаррис пожал плечами. Синьор Паганини с охотой согласился удовлетворить просьбу чудака-врача.

Паганини не мог вспомнить, что с ним было. Он ничего не мог рассказать. Он говорил только о том, что погружался в сон, слыша какой-то странный звон вокруг него. Он слышал собственный реквием и выражал самому себе соболезнование по поводу того, что преждевременно отходит в вечность.

Эта ироническая фраза говорила о том, что всякая опасность действительно миновала.

Поздно ночью доктор Крювелье сидел у старого иезуита. Он держал в руках подушечку из черного бархата и говорил:

— Только я один во всем Париже могу сказать, в чем тут дело. Кража не удалась вследствие чистой случайности. Все одновременно вернулись в тот час, когда подобранным ключом должны были отпереть двери агенты.

— Что?! — перебил старик.

— Я скажу, — ответил доктор Крювелье. — Я знаю на верное, что Паганини должен был подвергнуться ограблению и что ограбление затеяли полицейские власти Парижа.

— С какой целью?

— Цель мне неизвестна. Я знаю только то, что два месяца тому назад врач Суберан впервые произвел опыт в полицейской тюрьме с тем составом, который безболезненно и без особого вреда для организма усыпляет человека до полной потери памяти, сознания и чувствительности. Этот состав, открытый доктором Субераном, называется хлороформом. Я присутствовал при блестящих опытах моего коллеги. Их держат пока в тайне. Этому изобретению принадлежит большое будущее, так как оно колоссально облегчает задачи хирургии. Кроме полиции и меня никто не знает, что доктор Суберан обладает секретом этого усыпляющего средства. Хлороформ, которым смочена эта подушечка, был украден полицейским.

— Но вам удалось спасти скрипача?

— Да.

Доктор с гордостью кивнул головой.

— Пути полиции очень странны, — сказал старый иезуит. — Во всяком случае вряд ли тут замешаны деньги. Может быть, исчезло что-нибудь у синьора Паганини?

— Да, синьор Гаррис был у меня сегодня и сказал, что похищено сто двадцать тысяч франков.

— В таком случае это нас не касается. Полиция это сделала, полиция найдет виновных. Вам по дисциплине ордена запрещается говорить об этом кому бы то ни было. Еще вопрос: вы говорите, что двери были заперты, когда с синьором случился этот обморок. Бывают ли такие часы, когда жилище синьора Паганини остается пустым?

— Его секретарь говорит, что нет, — ответил доктор.

— Так. Предписываю вам полное молчание.

9 марта в огромном зале Большой оперы состоялся концерт Паганини.

«Это был незабываемый вечер», — писали французы. Лучший зал столицы мира был переполнен. Концерта ждали, последние дни только о нем и говорили. В этот удивительный год Париж привлекал к себе все, что было покрыто славой, — начиная от славы, добытой на полях сражений, и кончая славой строителей дворцов; начиная от поэтов и музыкантов мира и кончая вождями когорты героев, выходящими из карбонарского подполья и участниками титанических походов якобинских армий.

И Паганини, создавая свой новый концерт, который он хотел отдать этому городу, знал, что он должен вложить в звуки всю силу своего гения, всю мощь своего духа. Он должен ослепить зал блеском своего виртуозного мастерства. Он должен дать этому городу больше, чем какому бы то ни было. Он должен заставить сердце мира на несколько минут замереть.

Но вот теперь он забыл все. Кривой, изогнутый, похожий на гипсовую обезьяну, вырытую из развалин Помпеи, он разбрасывает по залу тысячи колокольчиков — серебряных, золотых, бронзовых и стальных. И словно ветер пробежал по рядам зала. Для одних это был ветер в колоколах старинного собора, вихрь, залетевший в извилины древней колокольни, ветер какого-то нового восстания, поваливший под купол собора и разбудивший дремавших там птиц. Птицы проснулись, взмахнули своими крыльями; цепляясь еще во сне по краям колокольчиков и колоколов, они задевают их хвостами, коготками и перьями. В сумраке натываясь клювами на колокольные узоры, будят мирно спящие колокола. Колокольня просыпается. Многовековое пенне бронзы отзывается на эту тревогу, и в ответ раздаются звуки набата. И вот другим уже слышатся взрывы пороховых бочек под стенами дворцов. Вздрагивают баррикады фронды. Но иные видят лишь легокрылых бабочек, летящих на колеблющийся огонь свечи.

Вот скрипка раздирается пополам, вот слышны две скрипки, каждая рассыпается на десять маленьких скрипок. Вот их двадцать, вот сто, вот поет тысяча скрипок. Да, конечно, это просто китайские фарфоровые божки и амурсы со стрелами и фарфоровыми крылышками падают со звоном на пол. Пастушки и пастушки, одетые в шелк, в белых пудренных париках, танцуют менуэты Рамо и Люлли, задевают неосторожно эти фарфоровые безделушки, которые сыплются с полочек. Танец прерывается криком испуга. Из-под шелковых портьер вылезают черные кроты с миллионами своих детей. Они рвут шелковые занавески. Это нападение сопровождается диким свистом и воплями, раздаются треск, лопаются стекла, падают уличные фонари, раскрываются стены замка, и холодный ветер сметает его с лица земли. Огромная победная кантилена, воинственная песня восставшего народа, такая знакомая этому народу, слышится вдруг в переливах скрипки. Потом наступает грустное адажио.

Многих эта музыка заставляет вспомнить Байрона, у многих в памяти возникают строки недавно умершего поэта:

Как часто луч зари благословенной
Я в чаше пиин зеленых созерцал
В окрестностях пленительных Равенны,
Где некогда шумел адрийский вал
И вечною угрозой для вселенной
Оплот последних цезарей стоял.
Мне мил тот лес, всегда листвою одетый,
Боккаччио и Драйденом воспетый.

Безмолвных роц был тих и сладок сон;
Цикад лишь раздавалось стрекотанье,
Мой конь храпел, да колокола звон,
Сквозь листья доносясь, будил молчанье.
Во тьме ко мне неслись со всех сторон
Моей мечты счастливые созданья:
Охотник-призрак с стаею своей
И светлая толпа воздушных фей.

И после тихой кантилены внезапно налетает новая буря звуков.

В зале был Франц Лист. Он сам говорил потом, что день, когда он услышал Паганини, переменял всю его жизнь. Он вышел из театра выросшим и возмужалым. На следующий день он должен был выступать сам. Но оказалось, что он ничего не понимал в жизни и в искусстве еще вчера. Сегодня это был уже новый человек. В нищете, в беспомощности, если необходимо — в окружении полно-

го непонимания, но жить только творчеством, не позволяя себе никаких выступлений, пока техническое совершенство не обеспечит полноты воплощения созревших замыслов! Пусть кто угодно несет на рынок эстрады и на базары театральные подмостков свою дешевую добычу, пусть кто угодно покупает этими концертами скудные услуги, комфортабельное существование, — Лист не может выступать до тех пор, пока рояль не будет ему повиноваться так же, как скрипка повинуется этому безумному скрипачу, отдающему жизнь, сжигающему нервы и сердце.

Для Листа это был костер, на котором он сжег все свое музыкальное прошлое.

Рядом с ним сидел человек иной породы. Это был трезвый, ясный аналитик Людвиг Берне. Он задыхался в антракте и не мог говорить. Он мял кожаный переплет записной тетради и, судорожно водя карандашом, писал:

«Это дьявольское наваждение. Я в жизни не видел и не испытывал ничего похожего. Его слушатели охвачены каким-то сумасшествием, иначе не может быть. Когда он играет, дыхание захватывает и самое биение сердца отвлекает внимание человека. Собственное сердце раздражает и становится невыносимым. Собственная жизнь прекращается, как только начинаются эти звуки».

Вечером, вернувшись к себе, Берне продолжил эту запись:

«Еще до начала игры, как только Паганини показался на эстраде, его встретили бурным приветствием. И надо было видеть, как смущен был в своих движениях этот ярый враг всякого танцевального искусства. Паганини шатался, как пьяный, он спотыкался, неуклюже цепляя ногой за собственную ногу. Свои руки он то поднимал к небу, то опускал вдруг к земле, затем он выпрямлялся во весь рост и молил землю, молил небо, словно прося заступничества в тяжелую минуту. Затем он замирал и с распростертыми руками как бы распинал самого себя».

Когда этот волшебник лежал в постели, совершенно разбитый, без голоса, и маленький Ахиллино тихонько гладил его руки, отзвуки его славы прокатились по всему миру. На весь мир прозвучали слова постановления Королевской академии об избрании Паганини членом академии. Он завоевал Париж.

«При жизни этот человек стал легендой, — писало «Парижское обозрение». — Со всех сторон слышатся голоса восхищения, восторга, которые приводят в отчаяние людей, занимавших в мире место, отнятое игрой Паганини. Этим

людям остался только механический способ устранения великого скрипача из жизни. Но и это не вернет им славы, потому что человечество узнало беспредельность достижений итальянского гения.

Паганини — не только скрипач, владеющий всеми тайнами инструмента, это — великий артист в полном смысле этого слова, великий артист, для которого скрипка является прежде всего средством выражения собственного гения. Это — творец и изобретатель, это — открыватель новых неведомых миров. Чувствуется гигантский труд, вложенный человеческой волей в преодоление трудностей, лежащих в мире овладения скрипкой.

Паганини есть явление в мире искусств единственное, имеющее свое особое, ему одному данное назначение, и пусть утешатся его соперники старым утешением, говорящим о том, что не каждому дано родиться с красотой Аполлона. Анализ техники Паганини говорит о превосходно развитых пальцах, пясти и запястных суставах. Это — руки, бегающие, как молния, по инструменту, который держится сам собой, словно висит в воздухе, или является продолжением великого сердца, говорит живым человеческим языком, словно этот особый язык всем понятен, но говорить на нем может только один великий артист.

Все, что видела, все, что слышала Большая опера Парижа в часы концерта Паганини, превышает человеческое воображение, и наилучшим сравнением для смычка и скрипки Паганини является сравнение с волшебной палочкой, которая делает весь мир подвластным человеку.

Мы жалеем всех, кто не слышал этого концерта. Разве гении так часто встречаются в жизни, что не должно бежать ему навстречу, чтобы хоть на миг быть свидетелем его появления! Разве жизнь наша так богата, что можно отказаться от тех просветов в будущее и от тех знаков вечности, которые, как птица, прилетевшая из неведомых стран, дают нам внезапно понять и почувствовать, какой дивный и неведомый мир будущего живет в нашем настоящем!

Паганини необычайно прост, он прост простотой великого человека».

Париж был покорен. С этого дня концерты Паганини были триумфальным шествием.

Фетис писал:

«Скрипка в руках Паганини — это живое существо, а сам скрипач — это организм, специально созданный для чудес неповторимой и единственной игры, организм, срос-

шийся со скрипкой. Полет вдохновенной фантазии сочетается у Паганини с тончайшим знанием музыкального расчета и обладанием всеми техническими секретами инструмента. Характерной особенностью Паганини является непоколебимая воля, которая только и может заставить человека ради высокой цели пожертвовать жизнью в преодолении чудовищных, нечеловеческих трудностей. Это — редчайший пример нашего века, когда механические расчеты сочетаются с гениальным вдохновением, а способность сжигать свою жизнь ради высокого искусства соединяется с успехом, который оправдывает такое истребление собственной физической личности, ибо этот успех есть успех достижения высокой и удивительной цели».

Кастиль Блаз после третьего концерта, данного Паганини в Париже, заявлял: «Паганини — это ученый. Его композиции так же значительны, как открытия новых миров и земель. Они представляют собой плод музыкальных расчетов и знаний, кажущихся сверхчеловеческими...»

27 марта Паганини давал прощальный концерт. На этом концерте, по просьбе Паганини, пела Синтия Даморо. Берю весь день провел вместе с Паганини, как ученик с учителем. Музыкальный Париж в лице Синтии Даморо, Малибран, Берю и Пасты окружил своего великого гостя знаками внимания и заботливости.

Но иное, таинственное окружение синьора Никколо Паганини не исчезло.

Суммы парижских гонораров выражались пятизначными цифрами. Гаррис сделал все, чтобы эти деньги не были расхищены. Синьор Паганини, несмотря на тяжелое впечатление, которое в нем оставила кража, приказал Гаррису привезти сорок тысяч франков на квартиру, а не сдавать их в банк господина Лаффита, как предполагал и настоятельно советовал Гаррис. По мнению Гарриса, синьор Паганини вел себя странно. В эти дни он всячески избегал откровенных разговоров, он даже ни разу не спросил о причине чрезвычайной озабоченности Гарриса. Уже неделя, как Урбани исчез, Паганини этого не замечал. Синьор Гаррис был обеспокоен и не знал, следует ли обратиться к полиции.

Ночью, после прощального концерта, приехал Фонтана Пино. Он говорил с синьором Паганини долго, по-видимому обсуждая какие-то «итальянские дела».

«Неловко, конечно, делать так», — думал Гаррис, но щель, оставшаяся между дверью и притолокой, пропускала потоки лучей газового света, и в этих лучах крутились

пылинки. Эти лучи падали на зеркало, стоящее в вестибюле. Зеркало было в человеческий рост. Оно было поставлено в этом старом особняке еще в очень далекие времена прежним владельцем. Это было хорошее венецианское зеркало, в серебряной оправе, с мелкими чеканными амурами на верху рамы. «Типичные амуры барокко», — думал Гаррис, считавший себя знатоком итальянского искусства.

Это, конечно, нехорошо: надо было закрыть дверь, но глаза оказывались прикованными к зеркалу. Синьор Паганини достал огромную пачку кредитных билетов и мешок с золотом. Синьор Фонтана Пино складывает это все в кожаный мешок путешественника, потом слышатся тихие слова:

— Итак, во имя святого дела освобождения Италии, прощай.

Гаррис не понимал, кто произнес эти слова. Он не узнает голоса Фонтана, который шипит и сипит так, как это бывает с синьором Паганини.

Фонтана Пино уехал. Синьор собирается в Англию, хлопоты о паспорте задерживают отъезд на три дня.

Глава двадцать девятая

НА ХЛЕБЕ СТРАДАНИЯ И НА ВОДЕ СТРАХА

Поведение Паганини приводило Гарриса в полное недоумение. Как можно, при его здоровье, столько времени отдавать притонам Парижа вроде этого Першеронского кабака или грязного «Café Tabakoff». В это кафе затащили Паганини певицы Шредер-Девриен и Синтия Даморо. Про госпожу Шредер-Девриен рассказывают страшные вещи. Свои эротические похождения она описывает в книжке, иллюстрированной такими рисунками, что никто не может ее печатать. Непонятно, как можно проводить время с такой женщиной! Но синьор Паганини стал мрачен и невероятно раздражителен.

— Вас раздражает что-то, — сказал Гаррис. — Может быть, вы мне скажете, что нужно сделать, чтобы предотвратить висящую над вами беду?

— Меня беспокоит одно обстоятельство, связанное с судьбой моих друзей, — процедил Паганини сквозь зубы и взглянул на Гарриса.

Гаррис не смотрел на него, словно вдруг стал очень рассеянным: он заметил на письменном столе большой чер-

ный пакет с изображением адамовой головы и костей. Он старался незаметно приблизиться к столу, ему хотелось вовремя убрать это новое бульварное устрашение и сделать так, чтобы оно до Паганини не дошло. Но было поздно: Паганини мгновенно бросил взгляд по тому направлению, куда смотрели глаза Гарриса. Он рванулся к столу. Гаррис умоляюще посмотрел на него и накрыл письмо ладонью.

— Не читайте, ради бога, не читайте!

Но Паганини уже разрывал конверт.

Гаррис с тревогой смотрел на то, как он, хмурясь, пробегает глазами строчки и потом внезапно расстегивает ворот.

— Фонтана! — кричит Паганини сиплым голосом, кашля и брызгая розовой слюной. Кровь появилась у него на губах. — Фонтана... негодяй! Где Ахиллино? Ахиллино!

— Тише, маэстро: ваш мальчик спит, я только что был у него.

— Какое счастье! — едва выговорил Паганини. На лице его появилась жалкая улыбка, он, казалось, был совершенно раздавлен.

— Пусть делают, что хотят, лишь бы оставили мне моего мальчика. Пусть делают со мной, что хотят.

Гаррис наклонился над столом и умоляюще взглянул на Паганини.

— Успокойтесь ради ребенка и разрешите мне прочесть письмо.

После первых строк буквы запрыгали в глазах Гарриса. Он читал:

«Я решил на этот отчаянный побег потому, что Вы, как мне кажется, подозреваете меня. Я не выношу подозрений. Вы считаете, что ограбление Вашей квартиры было произведено при моем участии. Вот Вам доказательства: синьор Фонтана Пино украл Ваши деньги, он пойман, он сидит в Сен-Пелажи и завтра будет перевезен в тюрьму Лафорс. Я рад, что получил полную возможность изблудить вора. Он рассказывает о Вас всякие небылицы. Я добился права читать полицейские протоколы.»

Жилы надулись на лбу Гарриса. Этого удара Паганини, вероятно, не снесет. Но почему он заговорил об Ахиллино? Гаррис читал дальше:

«Фонтана собирался похитить Вашего сына, но я вовремя помешал его проектам, и за это я должен страдать молчаливо, вынося Ваш подозрительный взгляд. Я вернусь к Вам в тот день, когда в утренней газете появится объяв-

ление о том, что Вы разыскиваете скрипку Страдивари номер семьсот семьдесят семь, я готов служить Вам до последней капли крови и сделаю все, чтобы синьорино Ахиллино был в безопасности. Оклеветанный перед Вами и Ваш верный слуга Федо Урбани».

— Сейчас же поезжайте в редакцию, сейчас же дайте объявление! — сипел Паганини над ухом Гарриса.

Гаррис никогда не видел его таким расстроенным.

— Фонтана! — повторял Паганини. — «Лучший друг» Фонтана, защитник свободы Италии.

Урбани сидел перед старым седоволосым коадьютором с номером утренней газеты, которая на последней странице крупными буквами возвещала о желании синьора Паганини приобрести скрипку Страдивари номер семьсот семьдесят семь.

Синьор Нови и старый коадьютор ордена спорили по-прежнему. Но на этот раз Нови удалось поселить в душе старика большое сомнение, лишь немного не хватало для окончательного торжества его замыслов.

— Я всегда считал, что в твоём деле, сын мой, говорит только личная ненависть — чувство, недостойное братьев ордена Иисуса. И сейчас в той мере, в какой к твоему справедливому негодованию дримешивается личное чувство, я склонен отвести тебя от этого дела решительно, но, — тут он обратился к Урбани, — мы решили кончить все дело с Паганини. Мы терпели очень долго, и твоё сообщение о том, что наглый конспиратор и опасный мятежник Фонтана Пино получил от этого безумца сорок тысяч франков на борьбу с властью и церковью, нас убеждает в необходимости нанести окончательный удар. Полиция пользовалась деньгами Паганини. Я слышал, что синьора Антониа Бьянки стала любовницей господина Жиске, префекта, ей нужны деньги, полиция помогла ей перенести золотые мешки из спальни супруга. Это их дело, но то, что деньги плывут мимо рук нашего святого ордена в нечестивые руки врагов ордена, не должно быть более терпимо. Иди, сын мой, вновь поступай на службу к Паганини и сделай так, как мы тебе приказали. Фонтана будет убит завтра. Скажи синьору Паганини, что он не раскаялся перед казнью и что правительство Франции по совокупности мятежных преступлений и замыслов казнило этого преступника вне зависимости от той кражи, которую он произвел у синьора Паганини. Затем ты будешь сопро-

вождать синьора Паганини в Лондон, уведомляя всех нас необходимыми знаками и извещениями.

Дорога на север была очень неблагоприятна. «Маэстро совершенно разбит», — думал Гаррис. Он видел, как Паганини нервно и судорожно обнимал Урбани, целовал его в плечо и жал ему руки. Урбани не оставлял синьора ни на минуту. Он подолгу рассказывал о тех ужасах, которые грозили ему, Урбани, в пути, и о том, как он сумел предотвратить эти ужасы. И каждый раз заканчивал одним и тем же:

— Маэстро, вам необходимо помириться с церковью. Иезуиты в гневе на вас и могут сделать вам много вреда. Ну, хоть для формы, помиритесь: делайте взносы, ходите слушать мессу.

Паганини все больше и больше раздражался от таких предложений.

— Вот именно теперь я меньше, чем когда бы то ни было, склонен идти на мир с попами! — говорил он гневно.

Не обращая ни к кому, оставшись один, Паганини вскидывал руки вверх и, сжимая кулаки, кричал:

— Негодяи, негодяи!

Внезапно он стал выказывать какую-то озлобленную, намеренно подчеркнутую, циничную жадность к деньгам. Он перечеркивал все предварительные соображения, приносимые ему Гаррисом. Гаррис делал вид, что соглашается, но поступал по-своему. А когда проходил концерт, как это было в Булони, Паганини не интересовался вырученными деньгами вовсе.

Какая-то торопливость появилась в движениях Паганини. Казалось, он вдруг понял размеры человеческой ненависти и зависти. Этим пользовался Урбани и каждый раз подливал масла в огонь. Он неожиданно вставлял словечко, и Паганини закипал злобой. Следствием этих приступов бессильной ярости всегда была полная потеря голоса. Опять появилась дощечка из слоновой кости.

Он внезапно собрался писать ответ Шпору, который, разражаясь проклятиями по адресу Паганини, написал письмо Лапорту, антрепренеру, заключившему с Паганини договор. Лапорт был настолько бестактен, что вручил это письмо скрипачу.

Шпор писал: «Все лучшее и высокое в мире связано с христианством. Лучшие музыканты нашего века пишут церковные гимны. Нет ни одного классического композитора, который не написал бы оратории и мессы. Реквием Моцарта, оратории Баха, мессы Генделя свидетельствуют

о том, что господь не оставляет Европы и что вся наша культура строится на началах христианской любви и милосердия. Но вот появился скрипач, который сворачивает с этой дороги. Всем своим поведением, ненасытной алчностью, упоительным ядом земных соблазнов Паганини сеет тревогу на нашей планете и отдает людей во власть ада. Паганини убивает младенца Христа».

Гаррису стоило большого труда отговорить Паганини от мысли отвечать Шпору.

Паганини обязался дать в Лондоне шесть концертов в Королевском театре. Первый концерт был назначен на 21 мая, но после разговора с Урбани Паганини почувствовал себя плохо. Тяжелый обморок и последовавшая за ним слабость, граничащая с потерей пульса, привели к тому, что концерт был отменен.

Журнал «Гармония» вдруг собрал сообщения европейской печати о необыкновенной жадности Паганини, и эту статью перепечатали газеты почти всех городов Англии. Заметка парижского «Музыкального обозрения» не помогла делу. «Английские газеты рисуют Паганини нахальным и дерзким», — писал английский корреспондент французского «Обозрения». Газета от себя добавляла: «Все дело в том, что Лапорт, своекорыстный и хитрый антрепренер итальянской оперы в Лондоне, удвоил цены даже на дешевые места, на которые, по английской традиции, цены вообще не повышаются».

Первый концерт состоялся только 3 июня. Англичане ломались на концерт Паганини. Игра его стала еще совершеннее, еще тоньше и чище, еще изумительней стала техника, еще полнозвучней выражалось все бесконечное разнообразие дарования скрипача. Но какие-то страшные срывы стали наблюдаться в его настроении.

На одном из концертов, когда Паганини в сопровождении английского скрипача Джорджа Смэрта вышел на эстраду и готовился начать первую пьесу, с галереи кто-то крикнул:

— Ну что же, мы готовы!

— Что это? — громко спросил Паганини Смэрта, топая ногой.

Он опустил скрипку почти до полу и ушел с эстрады. Публика была крайне смущена. Несколько представителей лондонской знати подошли к Паганини с просьбой продолжать концерт. Паганини отказался. Он громко при всех сказал Смэрту:

— Верните деньги: концерта не будет.

Смэрт, бледный, с трясущимися губами, умолял Паганини не портить дивных впечатлений, подаренных Лондону, выйти и играть. Наконец Паганини согласился. В это время раздался голос:

— Милый сэр Паганини, хлопните стаканчик виски и начинайте снова.

Паганини повернулся, положил скрипку и сказал:

— Нет, я не могу играть.

Но минут через пять он сам, без всяких просьб, вышел на эстраду и, как только утихла буря оваций, взял первый аккорд.

У лорда Холланда состоялся частный концерт в узком кругу изысканной литературной и аристократической публики. Паганини охотно приехал. Дощечка из слоновой кости сплошь была усеяна вопросами о покойном Байроне. Нервы Паганини были, очевидно, надорваны сильно. Лорд Холланд, не привыкший к сильным выражениям чувств, был смущен слезами, выступившими на глазах Паганини при воспоминании о Байроне. Так же, как однажды, слушая Бетховена, Паганини при мысли о смерти величайшего музыканта мира не мог удержать слез, так и теперь, слушая рассказ о Байроне, он отворачивался и прижимал платок к ресницам. Лорду Холланду это казалось аффектацией.

Понемногу, под влиянием творческого напряжения, стало выравниваться настроение Паганини. К нему вернулась его легкая насмешливость. Он стал гораздо спокойнее. Только физическое состояние его внушало боязнь Гаррису.

Приехали в Бристоль, и, как когда-то в Вене, Паганини вдруг получил удар из-за угла! Бристольские улицы были украшены огромными афишами.

«Граждане, с чувством невыносимого отвращения я анонсирую начало концертов некоего синьора Паганини в нашем городе. Почему в год несчастия и испытаний, посланных нам судьбой, мы будем слушать этого дьявола? В год, когда холера косит людей по Европе, у кого хватит бесстыдства вместо помощи несчастным идти на концерт? Не он ли, этот иностранный скрипач, привез в Англию страшную болезнь, и все для того, чтобы выкачивать по городам Великобритании деньги, которые могли бы пойти на помощь несчастным? Не совершайте порочной ошибки, не ходите слушать это музыкальное чудовище, которое приехало из чужих стран для того, чтобы с алчным корыстолюбием обмануть наивность Джона Булля». Подписано: «Филадельфус».

Концерт состоялся, но цели своей афиша достигла. Высшая степень депрессии сопровождала будни Паганини. Гаррис был удивлен, найдя пять экземпляров этой афиши на столе в комнате Урбани, когда вернулся в Лондон.

— Зачем вам это? — спросил он Урбани.

— Понадобится. Необходимо найти этого негодяя.

Гаррис покачал головой.

В Лондоне — новая причина для раздражения. После возвращения из путешествия в Ирландию и Шотландию Паганини писал синьору Паеру:

«Я публично выступал по меньшей мере тридцать раз. Мне казалось, что любопытство англичан к моей внешности должно быть удовлетворено. Однако, несмотря на наличие огромного количества портретов, англичане не довольствуются этим зрительным впечатлением. Я не могу выйти из дома, где я живу (к счастью, это не гостиница), без того, чтобы меня не провожала толпа людей. В гостинице это было прямо ужасно. Я не мог показаться в коридоре. Но здесь на улицах еще хуже. Целые толпы следуют за мной, сопровождают меня, идут рядом, окружают меня, загораживают дорогу, обходят вокруг меня, словно я какой-то столб, и даже, очевидно не считая меня живым и не относясь ко мне как к человеку, ощупывают меня, словно желая удостовериться, состою ли я из мяса и костей, и обращаются ко мне с нелепыми вопросами на языке, которого я не понимаю. И это не только английское простонародье. Это позволяют себе и люди, которые, по-видимому, принадлежат к благовоспитанному обществу».

Паганини впервые почувствовал свое страшное одиночество. Он действительно избегал гостиниц. Воспользовавшись предложением одного из друзей Лапорта, он поселился у господина Ватсона на Карлсен-стрит. Там он ощущал полный покой, и только много времени спустя ему пришлось расплачиваться за эту снисходительность судьбы.

Странные противоречия его характера сказались больше всего в месяцы пребывания в Лондоне. Он то соглашается на уроки в аристократических домах и внимательно, подолгу занимается со своими учениками, обнаружив в этих занятиях весь свой неожиданно развернувшийся педагогический талант, то пишет дерзкий ответ на предложение короля Георга IV играть во дворце.

Его королевское величество предлагает Паганини небольшую сумму денег и просит приехать вечером в Виндзор. Паганини пишет, что его величество может взять би-

лет в каком-либо ряду партера лондонской оперы, это будет стоить его величеству дешевле.

Господин Ватсон в ужасе от этого поведения. Никто так не осмеливался оскорбить короля, как этот зазнавшийся скрипач.

Настал час отъезда из Англии. Паганини снова едет в Париж. Три дня проходят в сборах, три дня слышит Паганини в соседних комнатах плач девушки. Мисс Ватсон прячется от скрипача в иные минуты, это значит — она крупно не поладила с отцом и боится показать заалевшуюся, как вишня, щеку. Она не выходит даже проститься с синьором Паганини. Лошади благополучно доставляют Паганини, Ахиллино, Гарриса, Урбани, фрейлейн Вейсхаупт на пристань в Дувре. Внезапно исчезает Урбани, потом он появляется, держа под руку плачущую женщину. Она отнимает платок от глаз и бросается к Паганини.

— Спасите меня, сэр! — кричит она, схватившись за него обеими руками.

— Да, маэстро, — говорит Урбани, — я брал билеты и увидел эту девушку. Она еще в Лондоне просила меня ей помочь.

— В чем дело? — спрашивает Паганини.

Девушка признается, что она бежала из семьи, где жизнь становится невозможной, и что она давно просила Урбани ей помочь. Господин Урбани был настолько добр, что обещал приискать ей уроки английского языка во Франции. Паганини со скучающим видом пожимает плечами.

В Булони Приморской три дня живут в гостинице.

Паганини чувствует себя плохо. Он простужен, головная боль не позволяет открыть глаза. Урбани уговаривает его принять услуги мисс Ватсон, но, прежде чем Паганини успеваает ответить что-нибудь, в комнату врывается разъяренный отец вместе с полицейским комиссаром. Происходит дикая сцена. Паганини, с трудом поднимая веки, произносит проповедь о необходимости бережного обращения с детьми.

— Я никогда пальцем не позволил бы себе тронуть своего Ахиллино, а вы бьете девушку, которую пора выдать замуж.

— Негодяй! — кричит Ватсон. — Похититель! Разбойник! Арестуйте его! — вопит он, обращаясь к комиссару.

Полиция составляет протокол. Урбани внезапно исчезает.

В протоколе значится, что еще в Лондоне синьор Паганини обещал родителям мисс Ватсон четыре тысячи гиней, а самой мисс Ватсон — бриллиантовую диадему и алмазное кольцо, которые были куплены и даже находятся в чемодане синьора Паганини.

Растерянный Паганини не знает, что ему делать. Он открывает чемодан, демонстрируя полное отсутствие каких бы то ни было женских украшений и подарков. Но полиция охотно идет навстречу великобританскому подданному, и 26 июня 1834 года булонская газета сообщает:

«Знаменитый Паганини, которого мы так ценили и расхваливали как артиста, но характер коего как человека в высшей степени опорочен справедливыми указаниями на всевозможные скандальные происшествия, случившиеся с ним в жизни, заключил в Лондоне с неким господином Ватсоном условия, в силу которых господин Ватсон предоставил синьору Паганини возможность спокойного и удобного проживания в Лондоне. Паганини не довольствовался этим. Покидая Лондон, он не только не заплатил условленных сумм господину Ватсону, но соблазнил его дочь и, тайно похитив девушку, скрылся с ней из Лондона».

Урбани принес этот лист скрипачу, и тут даже Гаррис посоветовал написать объяснение. Паганини писал в булонский «Аннотатёр»:

«Милостивый государь, Вы обвинили меня в похищении шестнадцатилетней девушки. Моя честь загрязнена. Теперь потрудитесь восстановить истину.

Сообщаю Вам, что господин Ватсон, который выступает в качестве моего клеветника, женился второй раз, и мачеха той молодой особы, похищение которой Вы мне приписываете, не только сама обращалась с мисс Ватсон жестоко, но и заставляла отца буквально преследовать дочь своими придирками. Я не вмешивался в эти семейные дела.

Те деньги, которые господин Ватсон самым обычным образом брал у меня взаймы после каждого моего концерта, превратились, оказывается, в плату за квартиру — в тот момент, когда наступил час моего отъезда. И это мною было игнорировано.

Сообщаю Вам, что отношения между господином Ватсоном и мисс Уэльс, которая заступила место его первой жены, указывают на существование каких-то тайных связей с лицами, находящимися в тюрьме, и это чрезвычайно болезненно сказывалось на состоянии дочери господина

Ватсона, которой, кстати сказать, не шестнадцать лет, а восемнадцать. Совершенно аморальная обстановка, чрезвычайно не похожая на семейную, возникла в доме господина Ватсона. Я не имел бы оснований это писать, если бы не взял под свою защиту сейчас репутации его дочери, девушки, для которой ничего другого не оставалось, кроме побега из родного дома. Имел ли я право, по долгу чести, отказаться от помощи девушке, которая случайно встретилась со мной почти уже на палубе пакетбота? Она по собственному движению души просила у меня помощи, я никогда не советовал ей бежать из дому, не рекомендовал ей уезжать никуда со мной. Но я неоднократно предлагал самому Ватсону все средства для того, чтобы устроить его дочь жить самостоятельно, если она настолько в тягость ему и его новой подруге жизни. Я делал это открыто, не сговариваясь с самой мисс Ватсон».

Паганини повторил ошибку, сделанную когда-то в Вене: следующие номера европейских газет в течение двух месяцев перепечатывали, по-своему комментируя и искажая ее, докладную записку Паганини, как они называли его оправдательный документ. А сам «Аннотатёр» написал пространное возражение против объяснения Паганини:

«Мы отвечаем господину Паганини, что, несмотря на необыкновенную ловкость рук, проявленную в подтасовке фактов ради своей защиты, он ничего не в состоянии ответить, кроме того, что девушке восемнадцать, а не шестнадцать лет, и что девушка согласилась за ним последовать не из дома отца, а присоединилась к нему в дороге.

Факт остается фактом. Во всех странах мира существуют законы, ограждающие невинность и молодость от покушений тех, кто в силу своего социального положения, не обладая ни религиозностью, ни христианской честностью, приближается к невинности девушки якобы с педагогическими намерениями, хотя сам имеет все признаки моральной распущенности. Необходимо отметить с негодованием, что «покровительство» подобного рода есть просто злоупотребление, имеющее целью обеспечить предмет этого покровительства.

С бесстыдством и наглостью господин Паганини, этот безнравственный иностранец, вторгшийся в семью Ватсона, осмелился разыграть роль отца, в то время как на самом деле он, ведущий распутный образ жизни, сам нуждается в исправительных мерах.

Обратите внимание на аргумент Паганини, который он приводит в свою защиту: он, дескать, не мог предчувствовать, что мисс Ватсон покинет Лондон по собственному побуждению, когда мы имеем свидетельства, что его агент, по имени Урбани, разыскивал перед посадкой в пакетбот дочь сэра Ватсона, для того чтобы сообщить ей час отхода, и настойчиво звал ее на палубу. Нам кажется, в заключение, что лучше было бы господину Паганини хранить молчание о происшедшем, нежели выступать с такой несчастливой аргументацией в свою защиту».

Отъезд в Париж пришлось отложить, но из попытки устроить суд над Паганини тоже ничего не вышло. Этому помогло довольно странное стечение обстоятельств.

Внезапно исчез Урбани. Гаррис с яростью и упорством повел расследование приключения. И перед ним раскрылся смысл поведения этого человека. Господин Ватсон и Урбани плохо стоворились. Гаррис перехватил их переписку и вручил ее Паганини. Совершенно отчетливо Паганини увидел всю последовательность событий. И ожесточенная торговля между Урбани и Ватсоном, у которого разгорелись глаза при виде колоссальных гонораров Паганини, и предшествовавшая работа Урбани вдруг показали Паганини, что он, Паганини, сделался жертвой колоссального шантажа. Он увидел напряженную работу Гарриса, скромную, протекающую изо дня в день без шума и показной суеты.

Господин Ватсон с синьором Урбани выработали план выкачивания денег из Паганини. Было условлено, что Урбани уговорит молодую девушку, взбалмошную по природе и к тому же оскорбленную жестокой мачехой, бежать из родного дома и разыграть роль жертвы, бросающейся в объятия к странствующему скрипачу. Эта роль понравилась ей, а Урбани, действуя якобы от имени Паганини, настолько уверил ее в легкости побега, что она, по уговору с ним, приехала на дуврскую пристань, и только там, когда количество свидетелей оказалось достаточным, Урбани инсценировал ее побег с Паганини.

Ватсон, заблаговременно знавший обо всем от Урбани, нанял агентов и сам одновременно с Паганини приехал в Дувр. Здесь у него начались столкновения с Урбани: Урбани вел дело к тому, чтобы организовать крупный скандал вокруг имени скрипача, интрига должна была кончиться тюремным заключением Паганини. У Ватсона были более скромные намерения: его не интересовала судьба синьора Паганини, он хотел лишь сорвать как можно

большую сумму денег, привезти дочь обратно в Лондон и зажечь припеваючи. Эта легкая форма заработка ему казалась гораздо более целесообразной, нежели длительная возня с судебным процессом в Булони и Париже, где пришлось бы выбрасывать деньги на номер в гостинице и на другие жизненные нужды.

Гаррисом были представлены в булонскую полицию документы, изобличавшие Ватсона, и тому пришлось немедленно вместе с дочерью вернуться в Лондон. План той организации, которая поручила Урбани нанести «решительный удар», потерпел крушение. Урбани должен был немедленно исчезнуть с пути.

После этой истории начались скитания Паганини из гостиницы в гостиницу: всюду высококонрастные обитатели требовали его выселения. Так продолжалось, пока дело не было, наконец, полностью прекращено. Получив разрешение на выезд, Паганини немедленно уехал в Париж.

Меньше чем через час после остановки лошадей на улице д'Анфер он был у Фердинанда Паера.

Сильно постаревший за это время Паер встретил своего ученика очень тепло.

Расспросив Паганини о том, что делается в Англии, рассказав, со своей стороны, о нарастающем волнении во французских городах, о событиях в Лионе, Гренобле и Париже, старый учитель Паганини перешел к тому, что его больше всего занимало.

Он показал Паганини статью Берлиоза, молодого композитора.

— Что он имеет против тебя? Смотри, выступление в «Литературной Европе». Кто такая мисс Смитсон?

— Мисс Смитсон? Не знаю.

— Однако тебя обвиняют в том, что она осталась нищей.

— Первый раз слышу,— сказал Паганини.— С Берлиозом у меня только раз был разговор,— вспомнил он вдруг и нахмурился.— Он приходил ко мне советоваться относительно партии альта для пьесы «Мария Стюарт». Я сказал, что эта партия мне не нравится, и посоветовал ему переписать все произведение.

Паер кивнул головой.

— Он это выполнил. Но вернемся к госпоже Смитсон. Так ты говоришь, что не отказывал ей ни в чем?

— Ко мне никто не обращался.

— Берлиоз обвиняет тебя в том, что ты отказал ей, когда она просила тебя сыграть небольшую арию в день ее бенефиса.

— В таком случае,— сказал Паганини, пожимая плечами,— меня могут обвинить все артисты мира, на бенефисе которых я не играл.

Паер внезапно рассмеялся.

— Берлиоз женился,— сказал он.— И, как это ни странно, в день свадьбы он написал свой знаменитый «Марш человека, идущего на эшафот». «Марию Стюарт» он переделал, теперь это произведение называется «Гарольд в Италии». Я сильно подозреваю, что твое увлечение Байроном заразило Берлиоза.

— Не знаю, как далеко пойдет эта зараза,— с досадой заметил Паганини,— но я вижу, что сейчас Берлиоз занял враждебную мне позицию. Знаете, учитель,— сказал он, вставая,— раньше я не так сильно чувствовал житейские уколы. Сейчас мне больше, чем когда-либо, хочется видеть родной город. Я устал от Парижа. Жизнь идет с такой невероятной быстротой, что куда-то уходят и уходят физические силы. Знаете, как странно я провожу время? Я должен почти все время лежать, Гаррис настаивает на консультации врачей в Париже. Самое странное то, что все намерения, возникающие из человеколюбивых побуждений, истолковываются как намерения эгоистические. Все поступки, которые совершаются с желанием сделать людям добро, бывают встречены как злой умысел. И я чувствую, что я накануне того дня, когда внезапно начну делать людям зло для того, чтобы они ощущали его как благодеяние.

— Ты все еще сохраняешь способность смеяться,— улыбнулся Паер.— Кстати, я могу тебя поздравить: у тебя есть последователи и почитатели. Лист усиленно работает над переложением твоих скрипичных пьес для фортепьяно. Шуман занят тем же самым. Как это ни странно, но вереницу твоих последователей начинают пианисты: скрипка после тебя замолкнет. Я слушаю Листа с величайшим наслаждением. Твое влияние на этого человека огромно.

Два концерта, данных Паганини в Париже, не были отмечены никак парижской прессой.

— Что это, заговор молчания? — спрашивал Паер.

15 сентября господин Жюль Жанен разразился огромным фельетоном в «Журналь де деба». Вся статья несла на себе печать личной заинтересованности и была очень острой и едкой. Жюль Жанен возмущался чрезвычайной алчностью и скаредностью великого скрипача.

Паганини был поражен этими нападками журналиста, тем более что непосредственно перед этим он как раз дал два концерта, сбор с которых целиком пошел в комитет помощи беднейшему населению Парижа и местностей, пострадавших от наводнения. Это умолчание о бесплатных концертах и яростные наскоки Жюль Жанена заинтересовали Паганини больше, чем какой бы то ни было хвалебный отзыв. Он вместе с Гаррисом направился в редакцию.

Запыленные, прокуренные комнаты, грязная лестница, огромное количество столов и необычайная теснота были первым впечатлением Паганини от этой фабрики литературных мнений и политических сплетен.

Жюль Жанен сидел на высоком стуле перед громадной конторкой, заваленной гранками и рукописями. Ножницы, банка с кистями и клеем, вороха газет на столах, пол, усыпанный обрезками бумаги; в качестве главного повара этой кухни господин Жюль Жанен вносил в обстановку романтический беспорядок. Очевидно, в его характере неяршливость сорбоннского студента дополнялась навыками старого холостяка, хотя по своему окружению Жюль Жанен не был похож на человека холостого. Наоборот, он восседал на своем стуле наподобие гордого шантеклера в покорном ему курятнике.

Гаррис метнул острый взгляд в угол, где три хорошенькие мордочки склонились над чьим-то письмом. Девушки оглашали воздух забавными восклицаниями в таком роде: «Этот болван думает, что его напечатают! Вот идиот, он вздумал опровергать!»

Приход Паганини и Гарриса не остановил потоки этих восклицаний. Но вот шантеклер, сидящий на насесте, заметил присутствие посторонних лиц.

— Тише, девочки! — закричал он.

Расправляя затекшие ноги, он встал и протянул руку Паганини с таким видом, как будто встретил старого, давнишнего друга. Он не ломался, он сразу узнал Паганини, он показал, что несколько не удивлен, ожидает возражений и охотно идет навстречу требованиям скрипача.

Разговор был короткий. Дважды пришлось нахмуриться господину Жанену при слове «шантаж». Паганини говорил холодно, заявляя, что собирается возвращаться в Геную и что он уже два раза концертировал, не получив от этих концертов ни франка.

Быстро записав слова Паганини привычным пером журналиста, закругляющим фразы, Жюль Жанен показал написанное. Паганини кивнул головой. Мир был как будто

бы восстановлен, и когда после ухода скрипача и его секретаря поднялся птичий гам и щебет в курятнике редактора, девушки, создающие общественное мнение и регулирующие настроение этого поглощенного своим величием журналиста, были немало удивлены простым и категорическим приказанием — напечатать в следующем номере письмо Паганини. Словесные комментарии Жанена были далеко не лестны для скрипача.

Порывшись в последней почте, Жюль Жанен вздохнул:

— Еще бы этому Скапену и Гарпагону не дать двух концертов в пользу французских бедняков, когда наш итальянский корреспондент сообщает, что состоялась при помощи господина Алиани покупка виллы Гайона около Пармы. Господин Паганини будет жить в истинно княжеской роскоши, в собственной вилле. Он может бросить кость французской собаке.

Действительно, Гаррис уговорил Паганини начать переговоры о покупке какого-нибудь жилища и прекратить надолго скитальческую жизнь. Гостиницы, придворные трактиры и мальпосты становились все более вредными для здоровья скрипача. Гаррис с ужасом замечал чудовищное похудание Паганини. Самые узкие костюмы висели мешком, рукава болтались, как на палках, всякий ворот оказывался слишком широким.

Как это ни странно, но чем больше физические силы Паганини шли на убыль, тем тоньше и прекрасней становилась его игра. Когда Паганини закрывал глаза, его трудно было отличить от покойника, лежащего в морге, от рабочего, умершего на газовом заводе Парижа, от венецианского стекольщика, отравленного ртутью, от стеклодува, погубившего свои легкие у громадных стекольных печей острова Мурано при изготовлении фантастических цветных стекол лучшей стекольной фабрики в мире. Но вот когда открывались эти глаза, в них горел спокойный огонь колоссального творческого напряжения и энергии. Никакого сожаления о своем здоровье не испытывал этот артист. Он беспрестанно увеличивал наполнение своих суток. И часто Гаррис видел, как ночью в белом длинном одеянии, еще больше подчеркивавшем его сходство с призраком, артист брал скрипку, смычок беззвучно скользил по струнам, проворные пальцы бегали, как белые мыши по деревянному мостику между клетками. Потом, не освобождая скрипки, зажатой подбородком, Паганини доставал карандаш и нанизывал тончайшие узоры на узкие нот-

ные линейки. Из этих сложных писем вырастало новое творение гения.

Гаррис заносил в свою тетрадку однажды утром: «Когда я сидел и писал, он начал первые вступительные фразы божественного бетховенского скрипичного концерта. Писать порученное им письмо было при этом невозможно. Я отложил перо в сторону. Тогда Паганини спросил меня, знаю ли я, что он играет. Я ответил утвердительно. Он на это сказал мне: «Я еще сыграю вам до конца этот концерт: раньше, чем мы с вами расстанемся в этой жизни». Мне казалось, что он забыл свое обещание. Однако наступил день, когда у него было два молодых пианиста, ученики его учителя. Внезапно, по знаку Паганини, один из них сел за рояль и стал играть. Я весь превратился в слух, узнав бетховенский скрипичный концерт. Я никогда не забуду улыбки бледного, худого, истомленного лица Паганини, каждая черта которого говорила о неимоверной боли его физического существа, Паганини был мучеником физических страданий. Он играл концерт Бетховена, и играл его так, что душа разрывалась на части и люди, слушавшие его, не знали, находятся ли они на земле и продолжают ли они обычное свое существование. Он играл, и как только кончил, то, прежде чем кто-либо мог прийти в себя, он уже скрылся в своей спальне, не простившись ни с одним из присутствовавших. Каждый концерт стоил ему года жизни. В чем состояла болезнь Паганини, не мог определить ни один врач».

Глава тридцатая СОЖЖЕНИЕ СУЕТ

28 июля 1835 года Генуя вдруг почувствовала, что она — родной город скрипача с мировым именем. Генуя, которая во время детства Паганини отнеслась к нему с таким жестоким пренебрежением, теперь вся была охвачена стремлением присвоить себе славу города, подарившего миру великого скрипача. Для магистрата и отцов города стало делом чести устроить Паганини, приезжающему из Северной Европы, блестящий прием. Маркиз Джанкарло ди Негро — из побуждений более бескорыстных — поспешил выстроить «земной рай» специально для того, чтобы дать там великолепный праздник в честь прибытия Maestro insuperato. Все, что может дать природа этих широт, было собрано в павильонах и садах ди Негро,

...Мраморный бюст возвышается у входа в роскошный тропический сад. Торжественная встреча на лестнице, охраняемой фавнами и нимфами, ожидает Паганини. Скрипач еще не появился, он совсем готов начать концерт, но все не выходит из своей комнаты. Он охвачен колебаниями и подавлен налетевшими на него неизвестными прежде чувствами. Шесть лет, прожитых вне Италии, проведенных в карете, в концертных залах, в гостиницах. Прекратится ли эта скитальческая жизнь теперь, когда синьор Паганини обставит свое новое жилище с княжеской роскошью и когда родина откроет ему свои объятия?

Родина ли? Давно пережитые прогоркшие воспоминания. За шесть лет произошло много событий, водой времени смыты родственные связи. Умерла мать, отец трижды послал Гаррису угрожающие письма, не довольствуясь ежемесячным содержанием, которого хватало бы на четырех отцов. После смерти матери жена брата сделалась предметом старческих исканий. Со всей остротой итальянского темперамента встретил сын этот удар судьбы. Была поножовщина. Под громкие крики соседей, на глазах у похолодевших от ужаса внучат старик был скручен веревками и выгнан из собственного дома. Семья разъехалась, старик умер.

С Гаррисом расставаться было тяжелее всего. Как долго и принужденно говорились бодрые, веселые слова, как грустно складывались старческие морщины на седых небритых щеках еще молодого Гарриса. Но вот сказаны последние слова прощанья. Последнее рукопожатие. Запылила дорога, и Гаррис, сутулясь, пешком пошел от парижской заставы. Ахиллино — в надежных руках. Здесь, в Генуе, австрийский лейтенант из свиты Марии-Луизы и его сын все время находятся около Паганини. В Генуе мальчика принимают за Ахиллино, и это избавляет Паганини от множества тревог и забот. Каждый день в ту комнату маркиза ди Негро, которую занимает Паганини, приносят гелиограммы. Световая депеша сообщает ему короткие слова, обозначающие, что мальчик жив и здоров, что охрана надежна и что никто, кроме одного человека, не знает, где находится ребенок.

Герцогиня Мария-Луиза, жена покойного императора Франции, потеряла сына, но не потеряла веселости и здорового спокойствия Юноны. Она прислала скрипачу из Пармы булавку с бриллиантами и большой золотой медальон, в котором сплетены пряди волос Наполеона Бонапарта, Марии-Луизы и белокурая прядка герцога Рейхштадтско-

го, ее покойного сына, никогда не царствовавшего Наполеона II.

Трижды сворачивала с дороги, которая ведет на виллу Гайона, большая карета, привезенная богатым синьором Паганини из Лондона. Трижды он миновал ту дорогу, которая вела в его постоянное жилище. Вышло так, что вилла Гайона, почти достроенная и готовая, не увидела своего хозяина. Вот дорога, усаженная кипарисами, вот зелень мирт. Площадка открывается вдалеке, там начинается поле, за полем лес, и в лесу — крутой и холмистый путь. Паганини был там только однажды, в детские годы. А теперь первые два раза он проехал мимо поворота в собственный дом Паганини, просто позабыв о существовании виллы Гайона; в третий раз он внимательно осмотрел каждую тропинку, открывавшуюся из окон кареты, сердце слегка сжалось при мысли о том, что, быть может, он никогда не увидит этого жилища, где должны окончиться его скитания.

Сильно пошатнулось здоровье, но равновесие душевных сил было полное. Было ощущение обладания всем могуществом таланта. Больше, чем когда-либо, чувствовались неисчислимы возможности магического воздействия скрипки на людей, и не было трудностей, которые могли бы остановить Паганини на пути к достижению предельных высот искусства.

Словно иглами кололо язвы в гортани, каждый звук скрипки сопровождался этой болью, и чем тоньше и лучше он выполнен, тем острее боль. Но чем полнее было угасание естественного человеческого голоса, тем полнее становилась выразительность игры этого человека. У слепого изощряется осязательный опыт. Паганини, потеряв голос, научил скрипку выражать всю полноту его мысли и чувств.

Он шел среди всплесков и криков влюбленной в него толпы. Вот он спустился по лестнице, вот он в саду, вот он в беседке, на свежем воздухе, среди сотен и тысяч слушателей.

Вот, в виде приветствия, Паганини берет смычок, и ясно, как никогда, перед ним всплывают картины его прошлого. Он играл, взяв тему Бетховена. Берега никогда не виданных стран и, быть может, еще не созданные миры, надо всем — угрожающий стук судьбы в дверь. Эта «песнь судьбы», как черное небо вселенной, открывшееся в жаркий полдень июля, как голос смерти, вдруг прервала бесконечную кантилену, и вот — странная, не слыханная ни

разу фермата. Этот длительный, не затихающий, тянущийся бесконечно долго звук, поневоле заставивший затанцевать дыхание тысячи людей, слушавших его, сначала вызвал вздох немого восхищения, а вслед за тем заставил людей испытывать мучительное томление. Нечеловеческая длительность этого звука, этой последней затянувшейся ноты, подавляла. Казалось, что эта нота сейчас оборвется, истощенная яростным движением смычка. Но она, обманув ожидание, приобрела новую силу и волной толкнула человеческую кровь к вискам. Напуганные, смущенные и утомленные слушатели в изумлении смотрели друг на друга, словно стремясь проверить свои впечатления по глазам других, словно стремясь проверить, во сне или наяву продолжается этот волшебный, усыпляющий звук. Это был настоящий Бетховен, это была песнь судьбы, но песнь судьбы, пропетая единственный раз в мире скрипачом. Первый раз Паганини создал музыку уничтожения и небытия, и в ней послышалось ему самому ужасающее дыхание смерти. Песнь судьбы превращается в похоронный звон, в стук костей — в гулкие удары кусков земли о крышку гроба.

Напряжение толпы граничило с безумием, когда без всякого перерыва и перехода раздался звон колоколов: на поле, среди цветов, легкие, легкомысленные, воздушные, в облачных, дымчатых, розоватых, голубоватых, зеленоватых одеждах, танцуют с посохами и гирляндами изящные пастушки в камзолах, в белых париках и элегантные пастушки в мушках и полумасках. Как марево вечерних облаков, исчезает это видение, ничего не оставившее от бетховенских звуков, и внезапно в сером тумане опять возникает голос басовой струны. Вливается сутолока вечерних улиц и притонов нищеты, протягиваются морщинистые, костлявые руки, продавцы живого товара громкими выкриками оглашают рынок. Потом внезапно слышится скрип и мерзкий крысиный писк. Кто-то бежит по деревянной лестнице в мансарду, но тысячи отвратительных злобных животных настигают его. Начинается борьба, ожесточенные животные вонзают свои зубы в теплое, живое человеческое мясо. Дикие звуки переходят в барабанный бой. Что же осталось от Бетховена? Величавая торжественность суровой музыки сменяется фантасмагорией Паганини. Страшные всплески звуков увлекают за собой. Люди не смотрят друг на друга. А сверху — ясное генуэзское небо с тысячами звезд. И где-то вдалеке слышатся пение и плеск морских валов. Никто не замечает очарования этой точки, все взоры устремлены на черную точку — мрачную

фигуру Паганини. Вот он откидывает голову влево и, как палач, с размаху срезавший голову, вонзает смычок в четыре струны, и струны, повинувшись, издают вопль, дисгармонический и страшный.

...Врач в комнате маркиза держит Паганини за обе руки. Скрипач заснул, но его нельзя оставить, у него едва слышен пульс и почти не бьется сердце. Была минута, когда он превратился в труп, и только зеркало, приложенное к губам, дало слабый след тумана.

За стенами дворца бродит маленький человек, держа четыре пергаментных листа с готовым нотариальным текстом, отпечатанным по старинной форме. Он заявляет, что синьор Паганини еще с утра заказал завещание и приказал принести его на подпись. Он показывает письмо самого синьора Паганини, оно адресовано генуэзскому главному нотариусу. Поручение великого маэстро исполнено, и так как контора работает безукоризненно, то нет никаких оснований для промедления.

Его не пускают, но он заявляет, что сейчас должен приехать некто всесильный, могущественный, тот, перед кем открываются двери всех дворцов, и маленький человек войдет с ним вместе, и синьор Паганини подпишет те заветные слова, которые он выносил в сердце и заказал напечатать на пергаментном свитке, с тем, чтобы все его родственники были довольны, если господу богу угодно будет унести его душу из этой юдоли печали.

Проходит полчаса, никто не приезжает, что-то задержало того человека, на которого ссылается этот маленький клерк. Проходит час, и человек, закутанный в черный плащ, сопровождаемый маркизом ди Негро, садится в карету и уезжает.

Бесконечные переулки, и вот, наконец, тупик, выход из которого возможен только через проход в доме. Это Пассо ди Гатта Мора. Здесь когда-то мальчуган Никколо выпрашивал лишнюю горсточку макарон, здесь голод и непосильный труд истощали организм, который спустя много лет болезнь заставила платить по векселям. Великий дух в маленьком и хилом теле одержал победу и торжествовал, но настал час расплаты, и каждый скрупул сил теперь на счету.

Вот дом, где умерла мать. Отсюда совершен был побег на Швейцарские Альпы, и здесь измученный тяжестью дороги ребенок выходил, вооруженный маленьким корявым смычком, на поединок с огромной тяжелой скрипкой, сра-

жался с ней по четырнадцать часов в сутки, без сна и отдыха.

Черная карета колесит по ночным улицам Генуи, но Паганини не хватает воздуха. Он отсылает кучера, выходит по мраморным ступенькам на площадь, и, как тогда, в дни бегства от отца, после первого сумасшедшего выигрыша в ночном притоне, вступает в сердце могучее чувство независимости, свободы от людей. Крадучись вдоль стен, Паганини минует квартал. Ничего не слышно, улицы пустынные. «Только на родине, только в местах, осененных воспоминаниями детства, чувствуешь близость своего конца так ярко и безутешно», — думает Паганини, прислушиваясь к звукам своих шагов, к тихим всплескам приближающегося к нему моря. Зависть к самым простым людям, населяющим этот благословенный берег, возникла в душе Паганини. Он ускорил шаги навстречу шумящим и беспечным волнам. Он не видел, как маленький человек, словно крыса, шмыгнул мимо, быстро пробежал — а язычок белого мола, к маяку Дарсена Реале.

Паганини, скинув плащ, расстегнул сюртук, снял галстук и швырнул его в море. Открыл грудь навстречу соленому ветру и твердыми шагами вступил на каменный мол. Узкая полоса огромных камней с обеих сторон сдерживала натиск соленых валов, брызги взлетали на якорные кольца позеленевших, обожженных ветром каменных глыб. Паганини шагал по шершавым камням, не боясь вздымающихся волн прибоя. Он слышал пение моря, вдыхал свежий морской воздух с таким чувством, будто к нему возвращалось детство. Он не видел, что человек, отдавший всю жизнь яростной, звериной злобе против него, стоит на конце мола, у высокой колонны маяка и, не спуская глаз, следит за ним. Паганини не видел этого человека, он прямо шел на него, и Нови казалось, что Паганини не только видит его, но и приковывает своими черными глазами к камню. И если Паганини не подозревал о том, что он сейчас не один на камнях мола, то Нови был олицетворением ненависти и испуга. Ему внезапно показалось, что приближается последняя минута и что тот, кого он всю жизнь преследовал, сейчас к нему подойдет и могучими пальцами, обладающими силой стальной пружины, схватит за горло. Этот чудовищный страх сдавил глотку Нови, он хотел кричать, и голос ему не повиновался. Он хотел броситься в ноги Паганини, но руки и ноги были налиты свинцом.

Пение валов, крики чаек, проснувшихся и летающих

над маяком, все приближались, оглушая скрипача, упоенного зрелищем и музыкой моря. Паганини не видел, как маленькая человеческая фигурка в испуге попятилась, чтобы спрятаться за маяк, и, не рассчитав движения, с воплем, похожим на вскрик чайки, неожиданно сорвалась с мола. Паганини дошел до маяка и уже шагал обратно, не подозревая, что в эти секунды оборвалась жизнь.

...Утром Паганини чувствовал себя хорошо. На песчаной отмели работал старый рыбак, исхудалый, морщинистый, горбоносый, перетянутый в талии морским канатом с кожаным передником, на котором болтались снасти. Его маленький сын громко пел, помогая отцу. Прозрачные воды затихшего с восходом солнца залива золотились, над морем стоял утренний туман.

Паганини узнал лукавого Паскарелли из «Убежища», он узнал его, товарища детских игр, узнал по отсутствию левого уха, по большому шраму над левой бровью. Но рыбак не узнал Паганини. Он несколько раз поглядел в сторону человека, сидящего на камне, и делал по-прежнему свое дело с такой же заботливостью и размеренностью движений, как в мальчишеские годы, когда он пускал бумажные кораблики по лужам в Пассо ди Гатта Мора.

В час завтрака Паганини спустился из своей комнаты в большую столовую дворца ди Negro. Он ошибся дверью, и внезапное зрелище заставило его быстро захлопнуть дверь. Человек десять оживленно беседовали в этой комнате. Паганини услышал свое имя, произнесенное резким и недоброжелательным тоном. Он узнал эту женщину в широком ярко-голубом платье. Синьора Антония почти не изменилась, — по крайней мере, никаких перемен не заметил в ней Паганини, на секунду встретившись взглядом с этой дамой.

За завтраком маркиз ди Negro казался смущенным. Откинув последний листок артишока, Паганини в упор посмотрел на маркиза и сказал:

— А теперь говорите.

Ди Negro густо покраснел. Он показал Паганини кипу французских газет, извещавших мир о внезапной кончине синьора Паганини от холеры в родном городе Генуе. Среди газет был большой коричневый конверт со множеством штемпелей и марок. Письмо фрейлейн Вейсхаупт и несколько крупных строчек, нацарапанных детской ручонкой. Ребенок заболел от испуга, теперь ему лучше.

Через час карета Паганини бешено мчалась на север.

СОШЕСТВИЕ В АИД

Синьор Фернандо Паер болен. Малибран, очаровавшая Англию своим голосом, не вернулась из великобританского турне. Во время концерта в Манчестере на последней ноте спетой ею арии она покачнулась и тихо упала на руки аккомпанировавшего ей Берю. Смерть наступила мгновенно и легко. Россини покинул Париж, навсегда оставив музыку.

Ахиллино здоров и счастлив, как никогда. Слухи о смерти отца оказались напрасными. Но синьора Антония предусмотрительно оказывается всюду, где может умереть синьор Паганини. Она следует за ним по пятам в ожидании его смерти. «О счастливая тень! — думает Паганини. — Возможно, ей долго придется странствовать в Аиде».

Фердинанд Паер упрекает за внезапное исчезновение, за побег из Парижа, за отсутствие вестей. Он говорит, что наступает вечер его жизни.

Гарриса нет. Но как добросовестно выполнил этот бескорыстный друг все свои секретарские обязанности! Наем хорошего счетовода обеспечил синьору Паганини наличие толстой книги и большого сафьянового портфеля: там подытожены цифры состояния Паганини, там проложены дороги, по которым золото будет струиться ровным потоком по точно намеченным банковским дорожкам. Лаффит и Ротшильд наперебой стараются оказать услугу великому скрипачу. Господин Ротшильд даже превзошел самого себя. Он прислал синьору Паганини с первым директором своего парижского банка булавку для галстука, украшенную рубинами и бриллиантами.

Но враги Паганини также ни на секунду не выпускали его из поля своего зрения.

Однажды к синьору Паганини явились двое господ — Тардиф де Петивиль и Руссо-Демелотри — и предложили ему принять участие в организации музыкального дворца в столице столиц. Это, собственно, будет домом музыки, — каза — по-итальянски дом. Так вот, это будет «Казино». Это будет дом с широко открытыми дверями, основанный обществом любителей музыки. В этом доме, как во дворце искусств, найдут себе приют и литература, и живопись, и музыка, и хореография, и архитектура; одним словом, это будет энциклопедическое учреждение, украшенное именем первого художника мира, синьора Паганини. Все готово.

Господин де Петивиль купил отель «Жомар». О, это прекрасное место около шоссе д'Антен! Оно когда-то было владением финансиста времени французской революции, господина Перрего.

— Мы потому так охотно идем на выбор этого места, — говорили люди с двойными фамилиями, обращаясь к Паганини, — что синьор Перрего был итальянцем, а потом оно принадлежало Арриги, герцогу Падуанскому, и там, в сущности говоря, был учрежден первый банк вашего денежного патрона, господина Лаффита. Вы подписываете только устав и вот эти маленькие бумажки.

25 ноября 1837 года парижане впервые собрались в этом «Казино». Берлиоз в «Парижской хронике», на последней странице «Музыкальной газеты», поместил ядовитую и негодующую статью по поводу новой спекуляции синьора Паганини.

«Личное участие знаменитого скрипача в этом странном «Казино» будет выражаться в следующем: Паганини раз другой пройдет по саду, если будет хорошая погода...»

Паганини пожал плечами: «Что нужно этому человеку? Я как будто сделал все для облегчения его судьбы».

Он не отказывал Берлиозу ни в одном музыкальном совете, отвечал на все его письма, но тем не менее в кругу близких знакомых, когда распушенность языка доходила до крайнего предела и когда оправдывалась поговорка о том, что самые большие предатели — это друзья, господин Берлиоз становился беспощадным в своем отношении к поклоннику Паганини, молодому Листу, которого ненавидел и которому завидовал, и в особенности к самому Паганини. Это имя вызывало у Берлиоза чувство суеверного ужаса.

Берлиоз обладал возможностью рассказывать о Паганини гораздо больше, чем многие из его музыкальных друзей. Еще бы, господин Берлен, крупный парижский финансист, содержатель газеты «Журналь де деба», приютивший у себя Жюля Жанена, был в курсе всех сплетен о синьоре Паганини. Газета пользовалась услугами множества анонимных и открытых корреспондентов. Ежедневно почта приносила интересные эпизоды из жизни синьора Паганини. Редакция располагала даже кое-какими материалами, о которых не подозревал великий скрипач. А господин Берлен имел к этому непосредственное касательство, так как опера «Эсмеральда», поставленная по либретто господина Гюго и господина Фуше Берлиозом, была не чужда господину Берлену. Его дочь пела в этой опере, и если Берлиоз сплетничал о Паганини, то парижане имели еще боль-

ше оснований сплетничать о Берлиозе и его отношениях с дочерью господина Берлена. Но господин Берлиоз был женат, женат неосмотрительно, нерасчетливо, так как он тогда не был еще знаком с девицей Берлен. А теперь господин Берлиоз вынужден был влачить жалкое существование, и зачастую ему приходилось задумываться над тем, как расплатиться с прачкой. Поневоле приходилось быть хроникером «Музыкальной газеты», завтракать у Жюльи Жанена, обедать у господина Берлена, от ужина воздерживаться и ложиться спать на тощий желудок, перечитав в сотый раз страницы дивного романа Бальзака «Шагреновая кожа». О, как похож эгоистический Рафаэль на синьора Паганини, с его волшебным могуществом скрипки, которое не в состоянии, однако, вернуть ему здоровье!

И вот однажды на почту сдается пакет с экземпляром «Шагреновой кожи».

Паганини читает трагическую историю Рафаэля, бедного парижанина, вошедшего, как и он, однажды в отвратительный игорный притон и поставившего последнюю монету. Странная встреча в антикварной лавке. Эта шагреновая кожа, которая отсчитывает часы и дни, уменьшаясь в объеме после выполнения каждого желания Рафаэля. Потом — несметные материальные богатства, выполнение всех желаний и быстрое таяние жизни. День за днем, словно уносимые ветром листки календаря, бегут часы и минуты, подтачивая жизнь, и на глазах уменьшается объем когда-то огромной кожи онагра, висящей на стене. Вот ее старый контур, красная линия на белой стене, и вот нынешний ее объем. Крупнозернистая, лоснящаяся, с таинственной надписью на древнем языке, эта кожа символизирует запас дней и часов, оставшихся у Рафаэля. Берлиоз был прав, нанося этот удар. Его замысел удался. Паганини внезапно почувствовал полное сходство со своей судьбой.

События, развернувшиеся после возвращения Паганини в Париж, поражают необычайной согласованностью.

Шеф бюро полиции, господин Симоне, главный секретарь префектуры полиции господин Малеваль, «Музыкальная газета», представители духовенства, юристы и врачи Парижа, журналисты и рецензенты — все вдруг оказались исполнителями единого целеустремленного плана.

Гаррис, живя в Англии, получил письмо, извещавшее его о некоторых страных подозрениях, высказанных синьором Паганини по поводу ведения Гаррисом его финансовых дел. Гаррис написал Паганини письмо с предложением своих услуг и с просьбой установить истину. Пагани-

ни не получил этого письма. Гаррис считал сообщенное ему за истину и замолчал, не предлагая вторично своих услуг и скромно проживая в Брайтоне.

Паганини получил вскоре извещение о том, что в его распоряжение будет прислан огромный океанский корабль, который может отвезти его в Новый Свет. Паганини стал готовиться к отъезду. Он слишком громко говорил о своих приготовлениях, и те, кому нужна была его жизнь, нашли способ парализовать эти приготовления.

Если нужен был врач, являлся специальный врач; если нужен был юрист, являлся специальный юрист; если нужен был рецензент и представитель печати, то опять это была такая же маска все той же преследующей воли, которая принимала и личину врача, и личину юриста.

1837 год был годом решительного удара, годом, подготовившим осуждение и гибель Паганини. Талантливый и красноречивый адвокат NN** на всех перекрестках и во всех залах, где его присутствия требовала профессия, кричал о безумии Паганини. «Не довольствуясь своим колоссальным богатством, Паганини вошел в компанию спекулянтов, ажиотеров и темных дельцов Парижа, устроивших на пустом месте и без денег «Казино».

Это заявление опытного адвоката повторялось всеми. И если бы Паганини больше обращал внимания на людскую молву, если бы он читал парижские афиши и газетные объявления, он увидел бы, что «Казино» — это вовсе не такая уж невинная благотворительная затея. Это — его доход, «Казино» — это детище Паганини. «Казино» и Паганини — это одно и то же.

Внося шестьдесят тысяч франков первого взноса на организацию дома искусств, Паганини полагал, что он делает широкий жест благодарности мировому городу музыкальной культуры. А в это время авантюристы, растратив деньги скрипача, пользуясь его именем, влезли в колоссальные долги, начали крупные дела и сразу поставили Паганини перед фактом такой затеи, которая грозила полным его разорением, нисколько не отвечая его замыслам.

Мудрецы парижской юриспруденции не вмешивались в эти дела, ожидая, что Паганини сам обратится к ним за помощью. Были среди них люди, ожидавшие еще большей путаницы, после которой Паганини должен будет как следует раскошелиться. А «Казино» с каждым днем все больше и больше приобретало сходство с ящиком Пандоры, наполненным бедами.

Господин Руссо-Демелотри оказался простым исполнителем воли и управляющим господина Тардиф де Петивилля. Господин Тардиф внезапно уехал из Парижа.

Господин Паганини обязан выступать ежедневно в «Казино», ибо публика, которой все это обещано, ждет его выступлений. Ей нет дела до того, что господин Паганини болен.

Это все очень смешно. Это какая-то шутка, в которую в конце концов вмешается французский закон и защитит великого скрипача, так охотно шедшего навстречу французам. Это же ясно, как день, Паганини пишет письмо главному секретарю парижской префектуры господину Малевалю и получает извещение о том, что напрасно месье Паганини думает, будто французские законы будут защищать дикую спекуляцию, предпринятую неизвестными людьми: за оборудование «Казино» Паганини обязан немедленно внести двести тысяч франков, иначе ему грозит не только гражданский суд, но и вмешательство исправительной полиции.

На 7 марта назначен финансовый суд, и вот Паганини внезапно оказывается приговоренным ко всем колоссальным платежам, перечисляемым в письме Малевалю.

Паганини обращается к господину NN **. Господин NN ** пожимает плечами, говорит, что дело трудное, это все не так просто. Господин NN ** снисходителен, он все же обещает помочь синьору Паганини. И вот он начинает помогать. Каждый день он приезжает к синьору Паганини и начинает свои рассказы. Он привозит ему «Газету судебного трибунала». Он читает все, что написано о синьоре Паганини. Синьор Паганини — это обыкновенный шантажист, с точки зрения полиции и парижского суда. Он затеял организацию «Казино» ради наживы и надул почтеннейшую публику, как старый и опытный спекулянт. Господин Паганини предается суду уголовной исправительной полиции.

— Это будет дорого стоить, — говорит NN **, — избавить вас от такого тяжелого наказания. Вы уже знаете, что Петивиль бежал из Парижа и увез все деньги «Казино». Он был в стачке со старой полицейской собакой Флери. Этот Флери теперь под судом. Недоволен вами также господин Симоне, он представил министру юстиции жалобу на вас, равно как и секретарь префектуры господин Малеваль представил министру юстиции аналогичную жалобу. Оба в качестве вещественного доказательства вашего шан-

тажа представили министру те акции «Казино», которые вы им прислали в качестве взятки.

Паганини смотрит широко открытыми глазами человека, перед которым раскрывается пропасть. Но вдруг бешенство овладевает им, он топает ногами, выгоняет NN ** и решает принять за дело сам.

16 марта опубликован приговор во всех парижских газетах. Синьор Паганини, организатор «Казино», обязан играть в «Казино», давая концерты без получения гонорара не меньше двух раз в неделю. Каждый концерт может быть заменен платежом со стороны господина Паганини в размере шести тысяч франков штрафа. В обеспечение все средства «Казино» объявляются находящимися под специальным арестом.

Ни о какой поездке думать нельзя. Взята подписка о невыезде синьора Паганини из Парижа. Так проходит время до августа. Паганини мечется, как зверь в клетке. Болезнь осложняется, каждый вечер его трясет лихорадка, ночью преследуют кошмары, идет горлом кровь.

Какие-то лица по специальным пропускам полиции эксплуатируют помещение «Казино». Во вторник на масленице некая Сан-Феличе с подложным письмом Паганини выступала на эстраде «Казино». Потом она бежала вместе с кассиром, захватив все оставшиеся деньги. После этого господин NN **, брат жены парижского префекта Жиске, обращается из адвоката в истца. Он вызывает Паганини в суд и требует с него колоссальную сумму денег за ведение его дела. Паганини отвергает помощь NN **, но суд приговаривает Паганини к штрафу, NN ** удовлетворен. Паганини пишет письмо министру юстиции, и дело назначается к слушанию в палате.

Дворец юстиции — медленно работающая машина, терются дела и документы. Заявления Паганини исчезают, словно они написаны на ледяных пластинках, тающих под солнцем; и только журналы Франции и Европы печатают то с сочувствием, оскорбляющим Паганини, то с злорадством, угнетающим его, сообщения о его злоключениях. Нет великого скрипача, есть человек, бросившийся в омут шантажа, есть тяжелая больная. Врачи стали интересоваться синьором Паганини.

Паганини пытается вырваться из парижского смрада. Он написал Лапорту письмо, в котором выразил желание дать концерты в Лондоне. Английские газеты указали дни и часы концертов. Паганини готовился к отъезду, но отъезд не состоялся: Дворец юстиции вспомнил, что Па-

ганини просил о рассмотрении его дела, и послал синьору Паганини повестку, которая заставила отложить поездку в Лондон.

В тот день, когда до Парижа дошли сведения о том, что в лондонских газетах напечатан отказ Паганини от концертов, Паганини получил извещение: дело, назначенное к слушанию во Дворце юстиции, переносится на декабрь. Паганини не знал, что делать. Он был почти обесшечен.

24 июня «Музыкальная газета» поместила письмо синьора Паганини, которое указывает, по мнению газеты, на крайнюю степень помешательства синьора Паганини. Письмо это любезно сообщено синьором Дугласом Ловедеем, дочери которого Паганини давал уроки игры на скрипке. Синьор Паганини требует с господина Дугласа Ловедея двадцать шесть тысяч четыреста франков за уроки. Новый взрыв негодования. Паганини делается жертвой невыносимой газетной травли. Люди, недавно восхищавшиеся его концертами, пожимают плечами и говорят: «Что сделалось с этим человеком? Двадцать шесть тысяч франков за уроки в течение какого-нибудь месяца! Да он с ума сошел!» И когда находились чудачки, говорившие, что тут что-нибудь не так, мудрые головы покачивались и раздавались голоса: «Вы не знаете этого человека».

Шесть недель Паганини тщетно добивается, чтобы напечатали его объяснения. Наконец, представленные им доказательства оказываются настолько разительными, а угроза обращения непосредственно к Луи-Филиппу настолько действительна, что газета принуждена напечатать письмо господина Дугласа Ловедея, предшествовавшее письму Паганини.

В этом письме Ловедей требовал с господина Паганини за девяносто дней проживания у него, Ловедея, на квартире сорок тысяч франков. Кроме того, ввиду того, что мисс Ловедей в Лондоне давала уроки маленькому Ахиллино, — она ровно десять дней обучала Ахиллино игре на рояле, — господин Дуглас Ловедей, под угрозой суда, требовал с синьора Паганини две тысячи франков за урок. Письмо Дугласа Ловедея было составлено в самых категорических и твердых выражениях. В трехдневный срок синьор Паганини должен был выплатить шестьдесят тысяч франков.

Публикуя это письмо, Паганини добавляет:

«Я не давал уроков его дочери. Я ответил сэру Дугласу Ловедею простым указанием, что если фантазировать,

то можно фантазировать так, как я этого захочу. За то, что я не давал уроков его дочери, взыскать с него двадцать шесть тысяч четыреста франков или вообще любую цифру, какая придет мне в голову. Я не касался, — пишет Паганини, — другого вопроса. Господин Гаррис, мой секретарь и друг, вовремя прекратил визиты брата господина Ловедея, которого сам господин Ловедей выдавал за знаменитейшего английского врача. Я не знаю, имеет ли этот человек медицинский диплом, но испытал странное состояние, чрезвычайно ухудшившее мое здоровье после первых приемов прописанных им лекарств. Гаррис раскрыл мне весь этот обман. Знаменитый врач поразил его требованием стофранкового гонорара за каждодневное посещение меня на квартире Ловедея, даже тогда, когда эти визиты просто сводились к вопросу: «Как поживаете?» Я принужден был быстро покинуть квартиру господина Ловедея, причем Гаррис получил с него расписку о состоявшемся полном расчете».

Паганини боялся обращаться к врачам в Париже с некоторых пор. Будучи тяжело болен, 16 декабря 1837 года он слушал концерт Берлиоза. Вот этот странный музыкант, относящийся к имени Паганини с таким пренебрежением! Он, оказывается, пишет дивные композиции.

— Это чудо! — говорил Паганини, слушая «Гарольда в Италии».

На следующее утро Берлиоз написал своему отцу письмо: «Паганини, этот великий и благородный артист, поднялся ко мне и сказал, что в этот раз он растроган до глубины души концертом, ставящим меня на уровень Бетховена. Сейчас произошло событие, которое меня потрясло. Пять минут тому назад чудный двенадцатилетний ребенок Паганини Ахиллино передал мне письмо отца с вложением чека на банк Ротшильда, и я — обладатель двадцатитысячного состояния. Вот что пишет мне Паганини:

«Мой дорогой друг!

Бетховен умер, и только Берлиоз его оживил вчера. Я, вкусивший счастье слышать звуки божественных Ваших творений, прошу Вас позволить мне исполнить долг перед гением: примите от меня, в знак благодарности, двадцать тысяч франков, которые можете получить от барона Ротшильда.

Всегда Вам преданный друг Никколо Паганини».

Неожиданно появилась новая заметка в «Журналь де деба»:

«Нет ничего в мире более жестокого, более несправедливого и более сурового, к моему стыду, нежели мои статьи, направленные против Паганини. Я был совершенно неправ, в глубине души я соглашался с тем общественным мнением, которое создалось вокруг имени Паганини. Жюль Жанен».

Невнятные строки Жанена ни слова не говорили об истинной причине его отказа от травли Паганини.

Бульварные парижские газеты подняли вой по поводу происшествия на концерте Берлиоза. Сказка о двадцати тысячах франков сделалась предметом самых веселых суждений о Паганини. Говорили о том, что Паганини дал Берлиозу не свои деньги, а что это мадемуазель Берлен упростила скрипача, тайком от отца, издателя «Дебатов», вручить Берлиозу ее сердечный дар: этим объясняется и заметка сотрудника «Дебатов» господина Жанена.

Лист в письме к Ортегу осудил этот жест благотворительности. Другие указывали просто на то, что Паганини вручил Берлиозу краденые деньги.

«Деньги, выигранные нечистыми картами, не могут принести пользы Берлиозу», — писала газетка, выходящая на Итальянском бульваре.

Но Берлиоз был счастлив. Три года легкого труда, свободы и счастья. Теперь он закончит «Ромео и Джульетту».

«Я застал его одиноким, в большом зале, — писал Берлиоз сестре. — Ты знаешь, он лишился человеческого голоса; без посредства Ахиллино, его мальчика, нельзя понять, что хочет сказать Паганини. Когда он увидел меня, слезы показались у него на глазах, и я чувствовал, что могу разрыдаться. Понимаешь ли, Паганини плакал, этот дикий людоед и губитель женщин, он плакал, обнимая меня. «Не говорите. Мне не нужно ваших слов! Я сам получил радость, большую, нежели вы! — говорил он мне. — Вы дали мне ощущение давно утраченного подлинного искусства музыки». Затем, смахнув слезы, он вдруг со смехом ударил рукою по столу и начал быстро-быстро шевелить губами, смотря на меня с невероятной страдальческой выразительностью. Маленький Ахиллино переводил мне эти беззвучные слова.

«Я счастлив, — говорит Паганини, — я на вершине блаженства. Теперь вся эта сволочь, писавшая против вас, не осмелится повторять своей клеветы. Я — авторитет в музыке, я заявляю о признании вас великим музыкантом».

Берлиоз был действительно растроган. Эта растроганность мешала ему говорить. Перспектива осуществления

всех возможностей, утраченных композитором в дни голода и нищеты, сделала его и восторженным, и онемевшим в минуты беседы с Паганини. Но вот момент первого смущения прошел. Берлиоз спрашивает Паганини о здоровье, он в ужасе от того, что видел скрипача на эстраде здоровым и могущественным, а сейчас, вблизи, перед ним стоит усталый и измученный до последних пределов человек, сделавший без всякой корысти огромное благодеяние, хотя, по-видимому, здоровье его таково, что ему в пору думать только о сохранении жизни.

Берлиоз заговорил о тайне волшебства, открывшегося с такой полнотой великому Паганини. Скрипач покачал головой. Ахиллино передал короткую фразу отца:

— Моя тайна не есть результат случая, это — плоды длительной, изнурительной работы. Изучайте природу своего инструмента. Начните с мысли о том, что вы его знаете не до конца. Свойства скрипки гораздо богаче, нежели об этом думали мои предшественники.

— О вас говорят как о жреце Изиды, — ответил на это Берлиоз.

— О нет, — ответил Паганини, — мое божество просто называется скрипкой.

Берлиоз долго колебался, следует ли ему говорить о том, что ему, вследствие его связей с парижскими журналами и газетами, стало известным. Ему хотелось предупредить Паганини о новых опасностях, он чувствовал себя обязанным сделать это, и в то же время ему казалось, что заговорить о тяжелых и волнующих предметах сейчас, во время визита облагодетельствованного человека, невозможно. Берлиоз ежился, смущался и в конце концов неловко протиснулся и ушел. Ощущение надвигающейся катастрофы, которая должна произойти вот здесь, в Париже, которая почти неотвратима, охватило его тотчас же, как только он вышел на улицу. Ему хотелось кричать, взывая о спасении Паганини. То, что происходило здесь втайне и что вело какими-то неведомыми путями к тому штабу, где вырабатываются новые способы нападения на Паганини, показалось Берлиозу чудовищным. Но ощущение обеспеченности, счастья и свободы опьяняло Берлиоза. Еще минута — и все мысли о Паганини исчезли. Чек в банк Ротшильда, сверкающие золотые кружки, скромный, но изысканный вечер в кругу избранных людей, чтобы не было большого шума: музыканты завистливы и... «В самом деле, что я могу сделать для этого странного человека?» — вот мысли и чувства Берлиоза.

Доктор Лаллеман, присланный друзьями и почитателями, констатировал ухудшение состояния больного.

— Весь Париж интересуется вашим здоровьем,— сказал он, обращаясь к Паганини.

«О да,— думал Паганини,— я знаю, что весь Париж. Дело в первой палате снова отложено, я опять под угрозой». Он смотрел на врача грустными, серьезными глазами, а губы шептали слова, не относящиеся к его здоровью.

Постепенно из редакции «Журналь де деба» и «Музыкальной газеты» вести о чрезвычайной серьезности положения Паганини стали проникать всюду.

Четыре знаменитейших парижских врача приведены на консилиум доктором Лаллеманом. После тщательного осмотра Паганини они удаляются на совещание в соседнюю комнату.

Молодой доктор Лассег, открывший манию преследования как тяжелую форму заболевания, доказывал, что Паганини страдает именно этой болезнью. Старый, почтенный психиатр Фовиль, написавший диссертацию о мании величия, настаивал на том, что Паганини одержим *mania grandiosa*. И только Жан Крювелье указывал на признаки полного нервного истощения и, обращаясь к истокам биографии своего пациента, удивлял своих почтенных коллег тонким знанием детских лет и юности Паганини.

— Я уже был у него однажды,— говорил Крювелье.— Это был день, когда кто-то испытал на нашем пациенте средство, открытое коллегой Субераном.

— Как? Что? — спросил доктор Ростан, поправляя очки.

— Да,— сказал Крювелье,— бандиты унесли мешок с золотом у него из квартиры, усыпив хозяина хлороформом.

— Но, я думаю, он от этого не пострадал,— сказал Ростан, обнаруживая свою солидарность со слухами, ходившими в Париже, о чрезвычайном богатстве Паганини.

Заговорил доктор Лассег:

— Основное свойство этого человека — чрезвычайное сопротивление рецепциям. Я считаю, что это произведение природы, именуемое синьором Паганини, обладает колоссальной силой сопротивления всем явлениям, которые ему по природе чужды. Это исключительно продуцирующая натура. Я считаю себя компетентным в музыке и имею честь сообщить коллегам, что ни одно произведение скрипичных мастеров не было сыграно синьором Паганини без полной переработки, настолько ярко отражающей характерные

черты собственной индивидуальности Паганини, что композиторы, которых он переделывает, имеют полное основание обижаться. Это упорство в восприятии чужого и вулканическое бурление собственных чувств, мыслей сопровождается у пациента гипертрофией индивидуальности, и как результат мы можем наблюдать сжигание нервной силы на собственном огне. С каждым новым выступлением сжигание будет идти кресчендо.

— Я считаю положение его безнадежным,— отрывисто бросил доктор Крювелье.— Истощение в детстве и изнурительная, нечеловеческая работа заложили основание той болезни, которая вспыхнула сейчас с лихорадочной яркостью. Господин Паганини погиб. Это милярная чихотка, раскинувшаяся от *lagux'a*; она скоро повлечет за собой перерождение всех тканей. Паганини подобен свинцовому чайнику, попавшему за Полярный круг. Твердый и вязкий металл под влиянием арктического мороза превращается в порошок. Спасения нет. Каждый новый концерт будет уносить пять лет жизни. Я думаю, что достаточно десяти концертов, чтобы на одиннадцатом Паганини выронил скрипку и умер.

— У него есть наследники? — легкомысленно спросил Лассег.

Крювелье промолчал.

— По-видимому,— бросил в воздух психиатр Фовиль.— Говорят, дела его крайне запутаны. Я слышал краем уха о том, что он писал в министерство юстиции, но письмо оставлено без последствий. Министр Лаффит был прав, когда заявил, что господа банкиры будут теперь формировать власть. Золотые аристократы, сидящие у нас в правительстве, не любят, когда люди чужого лагеря начинают прибегать к таким способам, какими вздумал разбогатеть Паганини. Он нанял каких-то авантюристов Петивиля и Руссо и хотел, спрятавшись за их именами, устроить в Париже выгодную спекуляцию. Дело сорвалось, и сам Паганини попал под суд. Если бы он совершил публичное оскорбление кого-либо, ему простили бы, конечно, но попытка разбогатеть в Париже, да еще такими средствами, не будет ему прощена.

— Вот как! — заметил Крювелье.— К чему же его приговорили?

— Однако мы отвлеклись,— вместо ответа напомнил Фовиль.

Крювелье не переспрашивал, так как сам знал гораздо больше, чем его коллеги. Доктор Ростан вынул из бумаж-

ника сложенный вчетверо красивый листок почтовой бумаги, заглянул в него, сложил опять и убрал.

— Итак, мы приговариваем пациента к смерти. Я должен буду огорчить господина Лаффита, который пишет мне о необходимости помочь Паганини.

Врачи переглянулись.

— Кому адресовано письмо господина Лаффита? — спросил Крювелье.

Несмотря на странность вопроса, Ростан ответил:

— Да, вы правы: письмо послано в Факультет, а не лично мне.

Крювелье наклонил голову.

— Итак, — сказал доктор Фовиль, — кроме созвавшего нас Лаллемана, высказались все.

Лаллеман, стоявший у окна и не произносивший ни слова, сказал:

— Факультету доложу я, а не доктор Ростан. Медицинский Париж отвечает за жизнь скрипача.

— О, конечно, конечно, — хором заговорили все врачи с самыми кислыми улыбками.

— Итак, с нынешнего дня категорическое запрещение каких бы то ни было концертных выступлений, — сказал Крювелье.

— Но, дорогие коллеги! — воскликнул доктор Лаллеман. — Как можно в столице Франции допустить?.. — Лаллеман остановился, не находя слов.

— Медицина не вторгается в частные жилища, — сердито сказал Фовиль. — Что могут сделать парижские врачи, когда причиной своей болезни является сам пациент, а правосудие Парижа создает обстановку, вряд ли благоприятную для нашего пациента!

Фрейлейн Вейсхаупт, по знаку доктора Лаллемана, принесла конверты с тонкими чековыми бумажками в каждом. Врачи, обмениваясь шумливыми фразами, вышли. Остался один Лаллеман, который сел к постели Паганини и принялся твердо, настойчиво убеждать его подчиниться решению Факультета и оставить скрипку.

— Дорогой друг, любимый маэстро, — говорил Лаллеман, — с того дня, как я воспользовался вашим разрешением разлучить вас с музыкой, скрипки ваши находятся у вашего друга Алиани. Оставьте их у него и едьте со мной на юг. Уверяю вас, что не пройдет полугода, как ваше здоровье восстановится полностью. Где хотели бы вы пожить?

— Об этом я должен спросить моего хозяина, — написал Паганини на дощечке.

Хозяина позвали. Он вбежал, разгоряченный игрой, веселый и смеющийся. Он принес кипу писем, которые вырвал у госпожи Вейсхаупт. Разбрасывая их по полу, прыгая по комнате, он с восторгом принял предложение доктора Лаллемана отправиться на юг Франции, к морю.

В ту минуту, когда маленький Ахиллино прыгал на паркетe перед отцом, четыре-чрезвычайно элегантно одетых человека ждали внизу у подъезда, там, где кучера четырех экипажей, облокотившись на фонарные столбы, перебрасывались фразами на темы об алжирской войне, о восстании арабов, о том, что племянница одного из кучеров, Фаншетта, ловко подцепила молодчика, парикмахера с улицы Риволи.

Но вот доктора, в цветных цилиндрах и элегантных сюртуках, показали на лестнице. Кучера бросились к своим лошадям.

Группа элегантно одетых людей подошла к врачам: Гюго, Ламартин, Мюссе и Жорж Занд. С большой тревогой они искали глазами человека, к которому легче всего обратиться.

— С кем имею честь? — начал было доктор Крювелье, когда Мюссе подошел к нему вплотную. Потом, любезно осклабясь, всем существом выражая улыбку, Крювелье протянул руку Жорж Занд и поклонился Мюссе.

— Самое большее он проживет месяц или два, — сказал Крювелье.

Жорж Занд всплеснула руками. В это время из-за порога показался человек среднего роста с длинными волосами, с живыми блестящими глазами: это был Лист. Он едва не опоздал к условленному времени.

...Паер лежал на смертном одре. Он звал Паганини в бреду. В минуту облегчения он первым делом перелистал бумаги, лежавшие на огромном столе перед кроватью, нашел нужный документ и, запечатав его в тяжелый серый конверт, тронул колокольчик, стоящий на столе. Вошла синьора Риккарди. Она еще раз упрекнула мужа за то, что он запрещает отодвигать письменный стол от кровати, взяла конверт и вышла. Паер предчувствовал свою кончину и поэтому, не дожидаясь специального распоряжения Паганини, отправил в парижскую консерваторию документ, написанный его учеником в первые дни счастливого пребывания в Париже. К вечеру синьора Фернандо Паера не было в живых.

В консерватории к делам о пребывании синьора Паганини в Париже присоединили его собственное заявление. Оно начиналось обычными словами:

«Милостивые государи, тот прием, который сообразовало оказать мне общество Франции, позволяет предполагать, что я не обману тех надежд, которые предшествовали моему появлению в Париже.

Если бы по поводу моего успеха могло возникнуть во мне самом какое-либо сомнение, то оно могло бы разрешиться тем, что стены Парижа заклеены моими портретами, похожими и не похожими на меня. Но дело в том, что старания портретистов не ограничиваются стремлением дать схожий портрет. Сегодня, проходя по Итальянскому бульвару, я увидел литографию, снова, как в прежние годы, изображающую меня в тюрьме. «Нечего сказать,— подумал я,— люди находят возможным наживаться, пользуясь тем обвинением, которое вот уже пятнадцать лет тяготеет надо мной».

По-видимому, по поводу моего тюремного заключения существует много историй, пригодных как материал для всевозможных иллюстраций. Например, рассказывают, будто бы я застал соперника у моей любовницы и убил его сзади как раз в ту минуту, когда он был лишен возможности защищаться. Что касается остальных, то они того мнения, что моя бешеная ревность обрушилась на мою любовницу. Не сходятся только в одном — каким способом заблагорассудилось мне отправить на тот свет милую женщину: одни уверяют, что я для этой цели воспользовался кинжалом трехгранной формы, а другие — что я предпочел яд. Что касается меня, то я полагаю, что есть люди, не стесняющиеся выдумывать и распространять про меня подобные слухи, но что же после этого мне сказать о рисовальщиках, которые пользуются правом изображать меня, как им заблагорассудится, на своих рисунках.

Приведу в пример случай, происшедший со мной пятнадцать лет тому назад в Падуе. Я концертировал там, и, насколько мне удалось заметить, концерты имели успех. Наутро после концерта, за табльдотом, по обычаю сидя скромно и незаметно, я был свидетелем разговора моих соседей о предшествующем концерте. Один собеседник не жалел похвал, его сосед был не менее лестного мнения. «В искусстве Паганини нет ничего удивительного,— внезапно вставил слово третий собеседник.— Я думаю, что если он провел восемь лет в тюрьме и за это время у него не отнимали скрипку, то что же было ему делать с утра до ве-

чера? Что касается тюремного заключения, то он был приговорен потому, что самым подлым образом зарезали моего друга, который был его соперником у женщины. Весь город возмущался низостью этого подлого преступления Паганини».

Никто не ожидал, что я вступлю в этот разговор. Я просто обратился к тому из говоривших, кто выдавал себя за наиболее осведомленное лицо, сообщающее о моих преступлениях. Тут все сидевшие за столом внезапно повернулись ко мне. Вообразите эффект и удивление. Вся публика, сидевшая в столовой, узнала во мне отъявленного преступника и негодяя. Рассказчик был смущен. Оказалось, что убитый вовсе не был его другом и что сам он слышал эту историю из третьих, четвертых, пятых уст. Со смущенным, жалким видом он говорил о том, что его могли ввести в заблуждение.

Милостивые государи! Вы видите, как злобно играют репутацией артиста. Люди, склонные к лени, не могут понять, что человек, поставивший себе большую цель, может достичь ее упорным трудом во всех условиях, может долго и напряженно работать тайком по ночам, и даже для вида притворяясь беседующим, и даже закрывши глаза, просто ходя по улицам. Поэтому лентяю и паразиту, живущему на теле общества, необходимо быть заключенным в одиночную камеру, чтобы понять творческую одинокость мысли человека, посреди всего городского шума остающегося наедине со своей творческой совестью.

В Вене я был очевидцем еще более странного происшествия. Что это, милостивые государи? Курьез легковерия, подогретый энтузиазмом моей игры, или что-либо злонамеренное? В Вене я играл скрипичные вариации под названием «Колдуньи». Они произвели совершенно необычайное впечатление. Но я увидел молодого человека с бледным лицом, с бородкой, с горбатым носом, с блуждающим взглядом, с неестественно возбужденным видом. Он смотрел на меня и громко уверял соседей в том, что он несколько не удивляется моей игре, ибо с полной отчетливостью видит за моей спиной самого черта, стоящего около меня и управляющего движениями моих рук и напряжением моего смычка.

— Смотрите,— говорил молодой человек,— это поразительное сходство с самим Паганини. Черт и Паганини — это одно и то же лицо, лишь раздвоенное. Это двойники — один одет в черное, другой — в красное. Взгляните за спину Паганини, вы увидите существо в красной одежде, с

рогами, с козлиной бородой, с выпяченной нижней губой, с улыбкой и сиплым смехом. Его красный хвост шлепает по туфлям синьора Паганини.

Милостивые государи! После подобного случая даже я сам как будто не сомневаюсь в справедливости этих слов. И вот отсюда возникает огромное количество людей, объясняющих секрет моего мастерства моим союзом с дьявольской, нечестивой, злонамеренной, злокозненной силой. Милостивые государи, меня возмущали и изводили все эти пакостные истории. Я пытался доказать всю их нелепость и смехотворность. У меня простая и грустная биография. Милостивые государи! С четырнадцати лет непрерывно я выступаю публично. Пять лет подряд был я директором и придворным капельмейстером в Лукке. Присоедините к этому, что в течение восьми долгих лет много дней и много ночей я был заключен в одиночную камеру за убийство моей любовницы и моего соперника,— и вы видите, в силу простых арифметических вычислений, что год моего преступления, убийства, каторги и галер падает на время, когда мне едва исполнилось семь лет. Семилетним мальчиком я уже имел любовницу и убил соперника.

В городе Вене, прославленном городе искусства, я вынужден был прибегать к свидетельству посланника моей родины. Он выдал мне сертификат, удостоверяющий, что он как посланник достославной Италии в течение двадцати лет подряд знает меня как честного и добропорядочного человека, а я сам во всякое время могу доказать, что возводимые на меня обвинения суть не более, как наглая клевета».

Глава тридцать вторая ДЫХАНИЕ МИСТРАЛЯ

Ветер южных городов Франции, свистя, разгуливает по полям и, внезапно врываясь в улицы маленьких городов, бешеным порывом рвет вершины деревьев, свивает листья клубками; валит фонари на городских площадях. Он повергает ниц высокие деревья и выворачивает камни. В ущельях гор и даже в маленьких изгибах переулков, даже в слуховых окнах мансард он вдруг начинает петь глухими и густыми звуками органа. Это «благодетельное божество Прованса», как называют его южане, дует с северо-запада и всегда приносит с собой ясную погоду. Ломая деревья, как тростник, он крутит гальку и мелкие камни. И беда, если человек попадет в эту вертикальную ка-

менную грядку, идущую наподобие древнего старого монаха по дороге. Этот маленький смерч, человекообразный, возникающий неведомо откуда, отшвыривает прохожих в придорожные овраги. Овцы бегут и собираются в тесный клубок, когда слышат свист мистралья.

Карета Паганини двигалась третьей, несмотря на запрещение доктора Лаллемана, стремившегося уберечь больного от пыли. Синьору непременно хотелось, чтобы посередине ехала карета с Ахиллино и чтобы все время было видно эту карету.

Лаллеман писал доклад своим старшим коллегам: «От Паганини осталась только тень. Он потерял голос окончательно. Голос к нему никогда не вернется, и только пламенные глаза и угловатые жесты, к которым мы привыкли, дают нам возможность с ним объясняться. Он соглашается играть в Марселе квартет Бетховена, когда его просят, и, несмотря на мое запрещение, выписал скрипки Гварнери и Страдивари от Алиани. Этот агент его славы вышел сейчас с ним из его кареты. Дело в том, что на Мартинике много жертв внезапной катастрофы. Паганини собирается дать в Марселе благотворительный концерт, несмотря на мое запрещение».

12 мая 1839 года в Париже «Общество времен года» всколыхнуло внимание Франции. На улице Бур л'Аббе отряд повстанцев захватил оружейные магазины, главари стали призывать парижан к оружию. У Дворца юстиции повстанцев отеснили, они построили баррикаду на улице Гренетт, но к вечеру стрельба затихла. Барбес, Бланки, Бернар и Гинбо были арестованы, начался процесс «Общества времен года». А на юге зашевелился новый карбонарский союз «Молодой Италии».

В те дни, когда Дворцу юстиции было вовсе не до Паганини, внезапно возник еще один процесс против скрипача. Дело, бывшее на пересмотре, неожиданно получило новый поворот. В отсутствие Паганини началось дополнительное расследование всех его злодеяний, и приговор первоначальных инстанций был утвержден.

Доктор Лаллеман не решался говорить об этом Паганини, он боялся, что внезапное волнение может окончиться смертью. Приговор сводился к следующему: помимо выплаты единовременных штрафов, помимо конфискации имущества Паганини на покрытие всех претензий по устройству «Казино», Паганини обязан был играть на скрипке, то есть безгонорарными концертами, заплатить по всем претензиям неожиданно возникших жертв его

алчности. Приговор королевского суда приказывал «синьору Никколо Паганини играть в Париже, в «Казино», не меньше двух раз в неделю, желательно ежедневно». Если же будут пропуски, то «за каждый пропущенный день из двух обязательных еженедельных концертов Паганини платит штраф в шесть тысяч франков».

Лаллеман чувствовал, что волосы у него шевелятся. Он схватил карандаш и стал вычислять. Ему казалось, что он бредит. Он перечитывал этот потрясающий документ. Нет! Цифры были правильны, опечатка в одной строчке могла быть исправлена в следующей, но везде стояла цифра — шесть тысяч франков за каждый пропущенный день.

Лаллеман вычисляет на листке бумаги — в году триста шестьдесят пять дней, сто двадцать пропущенных концертов в течение года лишают синьора Паганини половины его состояния, и, во всяком случае, судя по имеющимся у доктора Лаллемана сведениям, в течение первого года Ахиллино Паганини превращается в нищего. Два года без концертов разоряют самого Паганини. «Говорят, его имущество доходит до трех миллионов франков», — сообщает доктор Лаллеман. Приговор ставит дело так, что каждый день жизни отца разоряет сына, ибо если бы Паганини умер нынче или завтра, то претензии к нему отпали бы. Каждый концерт — это яд для отца. Смерть отца оставит неприкосновенным наследство. Это — адский план. Эти люди должны знать, что несколько концертных выступлений в теперешнем состоянии больного будут достаточными для полного расчета с жизнью.

У правительства множество хлопот. Случай на улице Бур л'Аббе показывает, что Франция живет на вулкане. Можно ли кому-либо из правительства заниматься такими пустяками, как спасение от рук убийц величайшего мирового скрипача, проживающего у господина Сержана в Ницце?

Господин Сержан, в доме которого остановился Паганини, не стремится рассказывать о своем прошлом. Он — член революционного комитета, добровольно оставивший Францию в те дни, когда звезда ее свободы упала к ногам Первого консула. Спутник жизни Робеспьера и Марата, он был в Ницце в те годы, когда Шарлотта Робеспьер путалась на морском берегу с худощавым лейтенантом Бонапартом. Кто знал тогда, что этот лейтенант делается императором французов! Теперь старичок Сержан, в темно-зеленом сюртуке, в чистом голландском белье, доживает свой

век на морском берегу и сдает комнаты господину Паганини.

Но вечером, когда доктор Лаллеман сидит с этим старичком в саду на скамейке, Сержан рассказывает доктору историю мраморного креста, стоящего на другом берегу предместья. Павел III, римский папа, пленник Бонапарта, провел несколько дней в Ницце по пути в Савону. Ницца только что была присоединена к Франции приказом Бонапарта. Речка Вар, разделявшая в этом месте владения Франции и Италии, соединяла свои берега маленьким мостиком, и вот римский папа увидел на другом берегу коленапреклоненную женщину. Он один вышел из кареты и пошел ей навстречу. Там, где стоит мраморный крест, произошла трогательная встреча римского первосвященника и другой жертвы бонапартовского деспотизма, королевы Этрурии, сосланной в этом году в город Ниццу.

— А девятого февраля тысяча восемьсот четырнадцатого года, — говорил Сержан, — на севере гремели пушечные громы. Бонапарт был низвержен, и уже другой пленник — папа Пий Седьмой — возвращался свободным в свою столицу.

Этот мраморный крест, поставленный раболепными горожанами, внушал Сержану жестокое отвращение.

— Здешнее население суеверно, — говорил он доктору Лаллеману. — Впрочем, я уже много лет как дал обет вечного политического молчания.

В дни, когда доктор был наиболее встревожен газетными заметками о возобновлении судебного процесса и о доведении всего дела о «Казино» до королевского суда, Паганини внезапно почувствовал улучшение.

Чистый, отчетливый тон появлялся в сипящих словах, когда Паганини шевелил губами, и хотя Лаллеман был уверен в кратковременности новой вспышки энергии, он был поражен необыкновенной стойкостью этого организма простолюдина, этого истого генуэзца, худощавого, сухопарого, с жилами, похожими на стальные канаты, человека, проделавшего столько километров гигантского пути по Европе, сколько поколение наполеоновских генералов не покрывало в походах. Паганини сам любил говорить в эти дни о том, что «можно измерить до последнего пальма расстояние от эстрады к эстраде, от города к городу». Так вся жизнь прошла в карете, в гостиницах, в концертных залах, в придорожных трактирах, в роскошных отелях, куда Паганини переносил невзыскательные привычки человека, привыкшего жить впроголодь.

Пользуясь возможностью говорить, Паганини излагал доктору Лаллеману свои суждения о музыке, свой план — по выздоровлении построить исполнинскую музыкальную консерваторию для всей Италии. Он говорил о начале нового искусства с огромным оживлением, с такой уравновешенной мудростью в глазах, с такой ясностью ума, что Лаллеман получил уверенность в бесповоротной победе организма над болезнью.

Лаллеман записывал суждения Паганини о музыкальном ритме: «Синьор Паганини рассматривает ритм как внутренний закон процесса. Он говорил о том, что время есть форма движения материи, и внутренний закон процесса сказывается во времени в частом претворении ритма в звуках. Музыка — это невоплощенный ритм, это — наиболее тонкая форма движения материи, в ней лучше всего сказывается внутренний закон процесса».

— Я шел к этому кружными путями, — говорил Паганини, — я нашел следы этого всюду. Есть способ преодоления пространства путем ускорения движения во времени. Я делал это для того, чтобы всюду посеять семена новой музыки. Добро, истина, красота, строй души одного человека, находящий себе отклик в чувствах других, весь мир человеческих взаимоотношений — это замкнутая ритмическая цепь. Добро и зло, истина, красота, ритм, стройность, а потом разлад — это аритмия. Беспорядок, вносимый в применение ритма истории, порождает бурю и волнение, дисгармонию в человеческом обществе, так же, как камертон, поставленный неправильно, разбрасывает порошок лилоподия на пластинке. Вы можете найти ритм решительно всюду. Посмотрите, как ритмически повторяет природа смену времен года.

На этих словах, произнесенных достаточно громко, Паганини остановился. Дверь слегка открылась и, скрипнув, замолкла. Господин Сержан привстал, он вышел в соседнюю комнату, там никого не было.

— Никого нет, — сказал он, возвращаясь и садясь в кресло перед раскрытым окном.

В треугольник, образованный краями тяжелых бархатных портьер, врывался веселый солнечный юг, со всеми своими красками и звуками, с морским ветром, со щебетом птиц, с шелестом пенящихся волн, дробящихся о берег. Прохладный тихий ветер пробежал по листьям, шевеля ветки и слегка покачивая бахрому портьеры.

Большие старинные залы примыкают к комнатам боль-

ного. Полная тишина кругом. Скрипка лежит на бархатном кресле. Паганини устало откидывает голову.

— Так вы считаете, что добро и божественное милосердие не суть абсолютные начала мира? А где же место церкви?

Паганини покачал головой: казалось, он не понял.

Белокурый голубоглазый мальчик играет в серсо в саду под окнами скрипача. Золотое кольцо влетает в окно и, упруго ударившись в портьеру, падает на одеяло у ног Паганини. Раздается стук в дверь. Появляется испуганное лицо фрейлейн Вейсхаупт, глаза с острым напряжением смотрят на Паганини.

— Ну, что же, входите, не бойтесь, фрейлейн! — говорит Паганини.

Старушка молчит. Доктор Лаллеман неловко встает и подходит к ней. Потом спокойно поворачивается к Паганини и говорит:

— Монсиньор Антонио Гальвани, епископ города Ниццы, прислал своего викария. Этот набожный священник говорит, что вы пригласили его. Святая церковь напугана вашим нездоровьем и, желая принести вам облегчение, предлагает вам исповедь, отпущение грехов и святое причастие.

Сержан встает. Паганини качает головой.

— Ну, хотя бы для виду, — подходя к кровати, шепотом говорит доктор.

— Тем более — для виду, — хрипит Паганини. В глазах его появляется гнев, он откидывает голову на подушку.

Лаллеман совершенно растерян. Его вдруг мгновенно пронизывает мысль о неосторожности синьора Паганини, который отчетливо и громко произнес слова — ритм *в изменении времен года*. Весь Париж сейчас бредит этим, всюду ищут членов таинственного «Общества времен года». Что сделал этот больной, сам того не зная! Мысль доктора работает напряженно. Он, доктор Лаллеман, не связан ни с какой организацией, кроме парижского Факультета. У него честные стремления помочь больному, он не знает ужаса интриг, окружающих Паганини, и в этом сказала тонкая хитрость тех людей, которые убили человека и твердо уверены в том, что он не воскреснет. В качестве свидетеля смерти они ставят человека, ни в чем не заинтересованного и не знающего их намерений. Доктор Лаллеман огорчен упорством Паганини. Он — старый, опытный врач, в глубине души — полный и законченный

атеист, но он знает всеильное могущество римской церкви на юге Франции.

Рыбаки прибрежных сел и мещане города Ниццы, торгующие козьим молоком, цветами, вином и виноградом, очень хорошо знают господина префекта, еще лучше знают агента полиции, живущего на их улице. Они хорошо знают монсиньора епископа Гальвани, еще лучше знают священника местной церкви, но они совершенно не знают и не хотят знать чахоточного человека, игравшего когда-то на скрипке. Они впряме ничего не знают еще об одном чахоточном, привезенном на благословенную Ривьеру; они узнают его только в том случае, если священник и жандарм укажут на этого уродливого негодяя как на врага церкви, и тогда все, что можно поднять с мостовой, полетит в стекла того дома, где умирает Паганини.

— Что же сказать? — с волнением спрашивает доктор.

Паганини открыл глаза. Он увидел встревоженное лицо старого человека, вспомнил, что священник ждет ответа, и громко произнес:

— Скажите, что еще рано, что я вовсе не собираюсь умирать, если ничего другого сказать не можете.

— Дайте ему что-нибудь, — шепнул Сержан доктору Лаллеману.

Доктор посмотрел растерянным взглядом, не понимая.

— Да, да, — вдруг спохватился он и стал искать шкатулку с деньгами.

Она куда-то исчезла. Пришлось обратиться к фрейлейн Вейсхаупт. Старушка отперла свою комнату и сказала:

— Я ее убрала. Новая прислуга проявила чрезвычайное любопытство к этой шкатулке. — При этом, механически, привычной рукой отсчитывая деньги для священника и вручая их доктору, фрейлейн говорила: — Синьор никогда не знает, сколько у него денег. Он всегда выведет из кареты сына, вынесет скрипки и никогда не вспомнит о шкатулке. В Праге мы случайно остались без денег при выезде за город, и вот видите: синьор, забросив шкатулку в карету, так и оставил ее в пражской конюшне. Пришлось ехать обратно, разыскивать.

Лаллеман вернулся, он был вполне удовлетворен необычайной скромностью священника. Казалось, этот человек не имел никакого злого умысла, у него был глуповатый и наивный вид.

Прошло три дня. Теперь уже двое священников стояли в вестибюле. В этот день Паганини чувствовал себя хуже, кровь полилась у него горлом, носом, даже из ушей. Жел-

тые руки хватили одеяло, и наступало беспмятство. Доктор ничего не говорил больному о настойчивости священников. Они вели себя довольно грубо. Один громко сморкался и харкал на ковер. Чувство страшного беспокойства охватило маленького Ахиллино. У мальчика были синие круги под глазами, он сбивчиво рассказывал, что кто-то напугал его в саду криками о скорой смерти отца.

— Почему они зовут его проклятым? — спрашивал Ахиллино врача.

В три часа дня состояние Паганини ухудшилось. Он почти не приходил в себя. Тихие стоны сменялись редкими глубокими вздохами. Пытаясь достать скрипку в минуту прояснения сознания, Паганини опрокинул стол с графитом воды и сам упал с постели. Никто не пришел ему на помощь, так как в эту минуту помощник префекта полиции стучал деревянным молотком в наружную дверь. Полицейский передал доктору Лаллеману извещение о том, что на Паганини наложен штраф в размере пятидесяти тысяч франков за неявку в королевский суд. Одновременно было вручено приказание местных властей — немедленно явиться в префектуру и отбыть в Париж для тюремного заключения на десять лет. Приговор утвержден постановлением королевского суда 4 января 1840 года.

— Но ведь он болен, он страшно болен! — крикнул доктор Лаллеман, с удивлением и негодованием глядя на префекта.

Представитель полиции пожал плечами и вышел. Доктор, комкая в руках бумагу, пошел по направлению к комнате, где лежал Паганини. Это было 27 мая 1840 года в четыре часа пополудни.

Он нашел Паганини мертвым. Извещение королевского суда Франции запоздало.

Но не запоздала синьора Бьянки, вечером она была в Ницце. О, как безутешна была эта вдова, обнимая своего маленького и милого Ахиллино и обливая его голову слезами! Она упрашивала синьора помощника префекта на минуточку допустить ее к вскрытию завещания.

Два жандарма и четыре полицейских чиновника охраняли все выходы из дома, пока помощник префекта опечатывал тяжелыми сургучными печатями пакеты, переписку, ноты, документы, шкатулки. Он хотел опечатать даже корзину с детским бельем.

— Умерло безголосое чудовище, — говорил садовник, когда толпа зевак собралась у подъезда дома Паганини, —

умер проклятый дьявол. Не допустил священников, умер без покаяния, как собака. Его труп оскверняет наш город.

Синьора Антониа Бьянки тщетно умоляла священника совершить последний обряд над покойным возлюбленным супругом. Ни один священник не шел, у всех на лицах было написано полное недоумение. Синьора тревожилась.

На утро следующего дня прибыли неизвестные люди. «Музыкальная газета» в Париже печатала депешу от 27 мая 1840 года:

«Умер в Ницце знаменитый скрипач Паганини, завещав свое великое имя и несметное состояние своему единственному сыну, красивому мальчику в возрасте четырнадцати лет. Бальзамированное тело Паганини было отправлено в город Геную, на родину скрипача. Будем надеяться, что и это сообщение, как и все предшествовавшие сообщения о смерти Паганини, будет счастливо опровергнуто».

Это объявление «Музыкальной газеты» опровергнуто не было. Оно оказалось правильным во всем, кроме последнего — сообщения о погребении в Генуе.

Глава тридцать третья

ЗАГРОБНЫЕ СКИТАНИЯ

— Я привез с собой все необходимое,— сказал доктор после двухдневного отсутствия.

Худое тело Паганини лежало на жесткой деревянной кровати. Рядом стоял стол, накрытый клеенкой. Баночки, мензурки и тяжелый стеклянный шприц были разложены и расставлены на этом столе. Доктор быстро приступил к своей операции, быстро ее закончил. Методически он вводил в мышцы и под кожу, в вены и в артерии тела Паганини средство доктора Ганналя. Это был раствор хлористого цинка. После двухчасовой работы мышцы приобрели естественную округлость, кожа перестала обвисать и морщиться на теле. Лаллеман не коснулся лица. Затылочными мышцами и волосами скрыты были места самых больших головных уколов. Лицо было спокойно. Телу Паганини не грозило уже разложение, оно могло, постепенно все более и более высыхая, сохраняться не разрушаясь.

Синьора Бьянки дважды приезжала из гостиницы. Она становилась все мрачнее и мрачнее. Ахиллино был до та-

кой степени напуган кем-то, что после двухчасового припадка, когда он бился ногами и головой об пол, у него появилась пена на губах, и он заснул тяжелым, лихорадочным сном.

Синьора заказала металлический гроб, но в дальнейших хлопотах нигде не могла добиться никакого толку. Странное затаенное молчание говорило о том, что где-то происходила какая-то работа, сделавшая предусмотрительные заботы доктора Лаллемана чрезвычайно необходимыми.

Две свечи по углам дымили в полутемной комнате. Так прошло три дня, пока, наконец, синьора получила категорический отказ местных священников прийти и прочесть отпустительную молитву. Цепкие руки держали Паганини на земле и не позволяли опустить его в землю. После двух дней тщетных просьб синьора подала жалобу монсиньору епископу города Ниццы. На третий день она была допущена в парлаторий местного монастыря и через решетку, издали, увидела осанистого и важного молодого человека, который в резких выражениях дал ей понять, что Паганини, умерший как безбожник и живший как нечестивец, не только прошел мимо благодати святой вселенской церкви, но оскорбил ее грубым отвержением милосердного и снисходительного предложения примириться с церковью. Эта длинная витиеватая фраза, произнесенная через решетку, как заклинание, звонким и резким голосом средневековой литании, вдруг показала синьоре Бьянки всю значительность происходящего.

Она поняла свою бесконечную правоту, заставившую ее отшатнуться от этого человека при жизни. Но завещание!

Завещание, наконец, было вскрыто. Оно было составлено еще задолго до смерти и подписано было 27 апреля 1837 года. Перед расставанием Гаррис сделал все, чтобы оградить имущество своего друга и почитаемого маэстро. Миллионные суммы франков, вложенные в акции и облигации государственной ренты Англии и королевства обеих Сицилий, обеспечивали на долгие годы любимца и наследника, Ахиллино. Но некая дама из города Лукки имела получить значительную сумму денег на специальные цели, ей одной известные и ей завещанные. Знаки, эмблемы и сертификаты эта дама представит сама, не объявляя своей фамилии. Они подробно перечислены, зарисованы и описаны в завещании.

«Матери моего ребенка,— говорилось дальше в завещании,— вы обязуетесь обеспечить именем моим пожизненную

ренту в тысячу двести франков. Маркиз Лоренцо Паренто, синьоры Джамбатиста Джордани, Лаццаро Реббичо и Пьетро Торрильяни, генуэзцы, приглашаются в свидетели и в охранители моей воли».

«Странный человек этот Паганини,— писала «Музыкальная газета».— Для того, чтобы завершить нелепость своей жизни, он довел до кульминационного пункта нелепость своей смерти. Что может быть смешнее этого завещания: его можно назвать завещанием сумасшедшего, завещанием чудака».

В самом деле, скажет читатель, не странно ли обеспечивать женщину, сделавшую столько вреда своему мужу? Не чудачество ли синьора Паганини заставляет его завещать восемь скрипок с мировыми паспортами не только друзьям, но и врагам? Почитайте, кому перешли эти дивные инструменты — Амати, Гварнери и Страдивари. Вот имена восьми скрипачей, получивших по завещанию скрипки Паганини. Это — Берио, Эрнст, Липинский, Майзедер, Молик, Оле Булл, Вьетан и, наконец, Шпор. Да, и Шпор является наследником великого маэстро, огромного духа Паганини.

«У меня остается одна надежда,— писал Паганини Фердинанду Паеру,— что после моей смерти оставят меня в покое те, кто так жестоко отомстил мне за мои успехи скрипача, что не нарушат покоя моего и не оскорбят имени моего, когда я буду лежать в родной земле».

Синьор Паганини ошибся. Он лежит, поверженный в прах. Доктор только что снял белый халат. Мертвеца одели и положили в цинковый гроб, напоив страшным питьем из хлористого цинка. Вот, после мирового турнира, этот рыцарь скрипки лежит в гробу. Все ждут, что, наконец, отворится дверь и войдет черный рыцарь, поднимет забрало и скажет:

— Да, это я враждовал с этим человеком всю жизнь. Дверь отворилась, и вместо черного рыцаря с опущенным забралом, жестокого и гордого, появился маленький грязный монах с измятой бумажкой в руках. За ним вошли двое неожиданных посетителей. Это были мужья сестер Паганини. Одну из них Паганини вспоминал при жизни, о другой сестре знал только понаслышке. Но в завещании, напрягши свою память, упомянул обеих. Появился и Андреа Паганини, объявивший себя самым родственником из родных, хотя нигде ни разу сам покойный скрипач его не упоминал. Семья католических мещан бросилась на растерзание наследства умершего скрипача.

Монах с беспокойной ласковостью взгляда был похож на переодетого зверя. Он бегал глазами по комнате, но ни на ком не мог остановиться, что-то, по-видимому, хотел спросить и, сложив руки на животе, быстро-быстро крутил палец вокруг пальца. Осмотрев комнату, этот монашек спросил, кто хозяин дома. И, не увидев хозяина, с каким-то загадочным и угрожающим видом подошел к дверям. Открыл дверь, чуть раздвинул портьеры и занавески, увидел Ахиллино Паганини и поманил его пальцем. Мальчик вошел и непринужденным простым движением отодвинул портьеру; задержав ее левой рукой, он большими глазами смотрел на монаха. Монах засуетился. Оставив комнату, он ринулся к выходной двери и исчез. Через минуту донеслись его дикие восклицания, обращенные к толпе. Господин Сержан, бледный, с трясущимися губами, вошел в комнату. Он подошел к Ахиллино Паганини и шепотом произнес какую-то очень короткую фразу. Щеки Ахиллино запылали, он ушел во внутренние комнаты дома господина Сержана.

В это время чудовищное зрелище представлял собою подъезд дома, где жил Паганини. Маленький монах в грязной одежде, стоя на верхней ступеньке лестницы, кричал толпе, собравшейся у крыльца, что за этими дверями лежит страшный безбожник, отвергнувший покровительство и помощь святой церкви. Этот колдун, этот чародей питался мозгом младенцев и сделал струны своей скрипки из кишок убитой и замученной им жены. Монах сыпал клеветническими заверениями и говорил главным образом о том, что если человек имел дерзость отвергнуть помощь святой церкви, то он не только оскорбляет этим свое собственное тело после смерти, но и предает проклятию дом, в котором он находится, местность, где он умер, город, в котором он жил, кладбище, на котором его похоронили. Он говорил недолго, но настолько выразительно, что толпа, постепенно выраставшая до огромных размеров, была возбуждена до последней степени.

Старый дом был окружен со всех сторон. Пылкие парикмахеры, бакалейщики и клерки, женщины легких профессий, продавщицы маслин и козьего молока, крестьяне, хотившие свои виноградники,— все верные сыны католической церкви образовали цепь и окружили этой цепью проклятый дом, где лежал демон в цинковом гробу. Они требовали выдачи трупа и предания его огню. Подняв придорожные камни, вооружившись кольями, мотыгами, кирочками, чем попало, они двинулись к последней обители ве-

ликого скрипача, угрожая снести до основания дом, в котором лежит его проклятое тело.

Почтенный господин Сержан не успел опомниться, как в окна полетели камни и на крыше оказались бойкие, бедовые ребята, владельцы соседних голубятен. Все это ломало рамы, выбивало стекла, осаждало дом, где ни в чем не повинная груда костей и оцинкованных хлорированных мышц напоминала о том, что умер затравленный французскими банкирами и римской церковью величайший скрипач, какого когда-либо видел мир,— Никколо Паганини.

— Где это чудовище? — кричали голоса. — Покажите его нам!

— А вот мы сейчас его покажем! — раздавались голоса в другом конце улицы.

Но в эту минуту небесное зрелище остановило толпу. Молодая красивая синьора в розовом платье, с огромной пальмовой веткой в руках, стояла перед толпой на верхней ступеньке лестницы, ведущей в дом.

— Тише,— произнесла эта женщина и повысила голос. — Вы видите, что ваше волнение напрасно: я жива, вы видите, что мой покойный супруг, великий скрипач Паганини, лежащий в этих комнатах, не делал скрипичных струн из кишок своей жены. Я — жена покойного скрипача. Не моя вина в том, что он по недосмотру окружавших его докторов не мог приобщиться святых тайн и воссоединиться с церковью. Я прошу вас разойтись и не тревожить праха усопшего.

Толпа отпрянула. Черепицы крыши, валявшиеся на тротуаре, и осколки стекол свидетельствовали об успешном начале операции.

Господину Сержану было не по себе. Странные слухи о магии и колдовстве обежали все побережье, надо было принимать какие-то меры.

Господин Сержан невольно вспомнил былые времена, когда он стоял в карауле около трупа зарезанного Марата и утешал Симонну Эввар, уроженку парижских предместий, которая разделяла трудный путь и бессонные ночи великого Марата, Друга народа. Он и теперь считал своим долгом охранять безутешную вдову замученного Паганини. Но тогда молодой, семнадцатилетний гвардеец гражданин Сержан готов был отдать всю свою кровь революционным Секциям, и гражданка Эввар могла рассчитывать на то, что мальчишка Сержан отдаст свою кровь до последней капли на защиту тела Марата, если уж случилось такое

несчастье, что аристократка Шарлотта Корде ударила ножом в сердце Друга народа.

А теперь этот старый человек в темно-зеленом сюртуке бегал по комнатам и не знал, что ему делать. Дымятся свечи с обеих сторон на двух концах гроба Паганини. Синьора Бьянки безутешна. И мальчик!.. Ах, какой удивительный мальчик! И как жаль, что в этом возрасте выпало ему на долю такое горе... Но дебелая и пышнощекая синьора Антониа Бьянки несколько не была похожа на Симонну Эввар.

Под утро новая толпа народа собралась у подъезда, и когда господин Сержан вышел из двери, бойкий семинарист ловко попал булыжником ему в глаз. Господин Сержан упал, за первым ударом последовал второй, потом набросилась толпа, и через десять минут господина Сержана, окровавленного, избитого, с переломанными костями, унесли в госпиталь.

К счастью, на следующий день появились душеприказчики, отмеченные в завещании, и начался настоящий торг с духовными властями города Ниццы.

Ночью в гостиницу, где проживала синьора Бьянки, явились трое неизвестных людей и предложили, ввиду чрезвычайных осложнений с погребением синьора Паганини, а в особенности ввиду того, что, вероятно, жизнь покойного супруга была ей самой неизвестна, отвезти синьора в укромное и тихое место в сердце французского королевства и там похоронить тихо и бесшумно. А недели через две-три молва затихнет, и можно будет не возобновлять печальных разговоров.

Белолицый худой человек с необыкновенно симпатичным лицом, чарующе спокойным и ясным, совершенно покорил синьору Бьянки.

— Что же,— говорила она,— я согласна.

И, как опытная хозяйка, спросила при этом:

— Я не знаю, как и кого за это вознаградить?

Но тут выступил добродушный и спокойный человек, он говорил:

— Знаете что, сударыня, я похороню его у себя, мне придется претерпеть то, что предвещают наши духовные лица. Но что же делать, я согласен, лишь бы только была обеспечена моя семья.

— Подождите,— сказала синьора и вышла из комнаты.

В соседнем номере гостиницы спал Ахиллино. Неузнаваемо повзрослевший за эти дни, мальчик уже вполне отдавал себе отчет в том, что раскрыла ему жизнь. После

первых припадков помешательства он сделался меланхолическим, тихим ребенком и вполне понял и оценил все могущество церкви, предписывающей абсолютное повиновение авторитету, даже тогда, когда здравый смысл и все существо человека протестуют.

Мать разбудила и привела его, в детском халатике, в туфлях на босу ногу.

— Ахиллино,— сказала синьора Бьянки,— мы с тобой оба являемся жертвой отцовского безумия.

Ахиллино опустил голову. Он молчал и ждал, что скажет женщина дальше.

— Итак,— сказала синьора,— вот этот человек,— она резко подчеркнула это слово, указывая на родного сына,— вот этот человек, который может располагать средствами.

Ахиллино поднял глаза на того, к кому были обращены слова матери. Синьора Бьянки объяснила:

— Он хочет похоронить отца тайком где-то в центральных провинциях.

Маленький Ахиллино посмотрел на этого человека.

— Ну, хороните. Хотя отец завещал похоронить его в Генуе. Должно быть, он не знал, что это будет так трудно.

Синьора Бьянки, обращаясь к сыну, сказала:

— Но надо платить деньги.

— Сколько?

Быстро карандаш начертил что-то, и синьора прочла: два с половиной. Это была только цифра два и потом дробь: половина.

— Не понимаю,— сказала она.

— Два с половиной франка? — спросил Ахиллино, и вдруг вся его детскость сказала в этом вопросе.

Посетители переглянулись горестно. Странная улыбка прошла по их лицам. И только тот, кто написал эту цифру, слегка захохотал.

— Две с половиной тысячи франков? — спросила синьора Паганини с надеждой в глазах.

Опять молчание.

Посетители встали.

— Синьора и вы, молодой синьор, отдавайте два с половиной миллиона франков,— все, что вам завещано. А иначе будет плохо и вам, и вашему папаше...

...Завещание не было утверждено. Наступила новая работа для душеприказчиков синьора Паганини, тихих буржуа города Генуи, и для тех, кто бескорыстно хотел помочь,— для маркиза Сезоля и графа де Местра, которые

считали себя достаточно авторитетными представителями легитимистских партий на юге Франции. Сезоль и де Местр посоветовали душеприказчикам, поименованным в завещании Паганини, подать жалобу в гражданский трибунал города Ниццы. Обвинение Паганини в колдовстве, в магии и чародействе в середине XIX столетия, по их мнению, звучало диким отзвуком невежества средних веков. Но судебный трибунал города Ниццы полностью утвердил постановление монсиньора епископа города Ниццы Антонио Гальвани и даже усугубил кару.

И цепь замкнулась на протяжении всей Франции. Секретные инструкции, протоколы и циркуляры запрещали хоронить покойного Паганини в какой бы то ни было стране, где есть крест Христов.

«Да не будет он предан земле кладбищенской, городской, частной и государственной, помещичьей и крестьянской, дворянской и графской, в лесах и полях, в виноградниках и фруктовых садах, у дворян в имениях или у купцов в городах, где бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом, а если тайно это свершится, то да будет прощен от всех грехов тот верный сын церкви, кто вырвет это дьявольское тело из земли, и выбросит из гроба, и развеет по ветру».

Префект полиции и маленький монах объявили дом господина Сержана подлежащим передаче в ведение города. Был произведен обыск во всех комнатах, и пока господин Сержан находился в больнице,— повинувшись массовому движению населения, господин префект города Ниццы со скандалом выволок гроб Паганини и поместил его в главном госпитале. Но верный сын церкви, главный врач, ненавидевший доктора Лаллемана, ничего не понимавший в музыке и больше всего дрожавший за свою шкуру, лечивший крестьян святою водою, а горожан — касторовым маслом, потребовал, чтобы в мгновение ока гроб был вынесен из госпиталя, ибо госпиталь есть место для восстановления здоровья, а не для похорон гнусных покойников.

Дорога на восток по каменистому берегу моря была чрезвычайно трудна. Восемь человек и впереди мальчик с фонарем, Ахиллино, измученный, с израненными коленями, шли, сопровождая гроб.

Дождь, гроза, буря и морской прибой провожали тело Паганини из Ниццы на восток.

Наступило серое и туманное утро. Горячее солнце накаляло воздух. Стало трудно дышать, в горных ущельях носильщики обессилевали. Маленький Паганини смотрел

на то море, которое еще недавно видели глаза его отца. Мачеха, как он называл синьору Бьянки про себя, неподалеку разговорилась с красивым черноусым гробовщиком. Этот парень в черном цилиндре, в одежде с серебряными галунами, стрелял в нее глазами и указывал на горное ущелье, расположенное неподалеку от дороги. Ночь провели в этом ущелье.

Вилла Франка, лазарет, при лазарете — морг для утопленников, рыбаков и для тех, кого убили папские жандармы или почтенные бандиты больших дорог. В этом лазарете, среди трупов убийц, воров и проституток — цинковый гроб. Но там оставаться более двух дней невозможно. Ахиллино один ездил в Польчеверу около Генуи и просил разрешения отвезти отца на знаменитое генуэзское кладбище, где стоят лучшие памятники, мраморные скульптуры, украшающие могилы знаменитых людей. В Польчевере вообще не знают, кто такой синьор Паганини, но напуганы холерой и боятся всего, что, по мнению горожан, ее разносит.

Мальчик обходит дома именитых граждан и властей. С высокомерным или снисходительным видом рассматривают с ног до головы юного пришельца:

— Паганини? Не слышали.

Наконец, в погребке Вилла Франка за огромную сумму наличными удастся получить приют для гроба синьора Паганини. Долгое путешествие по берегу Средиземного моря. Мрачная и тяжелая жизнь.

Синьора Бьянки, увидя, что ей не по пути с маленьким сыном, внезапно исчезла с нотариусом из Польчеверы, вытеснившим из ее сердца гробовщика. Мальчик остался один. Рядом с ним шагает высокий человек, похожий на парикмахера, приходившего к отцу на улицу д'Анфер в Париже. Это синьор Андреа Паганини; он хлопает Ахиллино по плечу и говорит:

— Подожди, еще увидим хорошие дни!

На побережье от Марселя до испанских берегов и от Марселя до Генуи были испытаны все средства подкупа.

Ночью, на пути к испанскому берегу, почти у самой испанской границы появляется грязный высокий человек со сросшимися бровями. Он узнает историю этого страшного путешествия, похожего на странствования Изабеллы Кастильской, матери Карла V, скитавшейся за гробом своего мужа и ожидавшей его воскресения.

В это время на севере, в одной из столиц, темноглазый и сумрачный человек, продолжавший дело гениального Паганини, Франц Лист, говорил:

— Нет, не воскреснет Паганини!

Но появился странный человек со сросшимися бровями и предложил мальчику и его спутнику тридцать тысяч франков, лишь бы они отдали ему тело синьора.

— Не пройдет года, — говорил он, — как этот скрипач снова появится в Европе. Я его знаю, он воскреснет.

Ахиллино, сморщенный, хилый, с лиловыми кругами под глазами и желтыми пятнами на щеках, полный ужаса, слушал этого странного человека.

Утром какой-то новый спутник, присоединившийся к траурной процессии семьи Паганини, пояснил:

— Это чудовище, этот браконьер — это просто Агасфер, явившийся к вам. Это содержатель подвижных кунсткамер. Вы хорошо сделали, что его не приняли, иначе ваша сделка с ним воскресила бы не вашего отца, а молву о том, что умерший Паганини — колдун, отравляющий Европу и заражающий чистый воздух нашей страны дыханием, от которого виноградники перестают родить.

Вот, наконец, берег и за волнами моря — остров. Матросы на берегу у костра предлагают остановиться, разделить их скудный ужин из фруктов ди маре, из плодов, приносимых морем. Ахиллино и синьор Андреа садятся у костра.

Ночью гроб Паганини, по приказанию капитана безвестного корабля, перевозят на остров Сен-Фереоль. Если кто-нибудь был в этом месте Средиземноморья, то, высаживаясь на маленьком одиноком острове, вероятно, видел в пещере, словно сделанной нарочно над морем, место, где висел на цепях гроб Паганини.

Власти проведали о том, что Ахиллино похоронил отца на острове. Но юный Паганини не дремал. Теперь уже меланхолический, полупомешанный юноша, за эти годы он перебивал всюду.

Вот она, светлая юность Ахиллино: она растрчена на чтение пергаментов и старых книг, энциклик и булл, канонических правил, книг в пергаментных переплетах, древней, старой и новой печати. Ахиллино в Риме проводит дни в изучении параграфов и пунктов, глав и разделов, отделов и схолий, короллариев и аргументов, доказывающих его право предать тело отца земле.

Папский мажордом Маркезе приглашает его к обеду. Тонкие вина, прекрасные кушанья, музыка, пение, пляски; прелестные девушки, готовые на все и ничего не требующие, приходят тревожить сон Ахиллино в Трастевере. Легкий шепот на ухо говорит ему о том, что Ахиллино — ду-

рак, Ахиллино — ступидо бамбино. Надо просто хорошо заплатить римской церкви. Отец будет похоронен, и сын будет доволен.

— Но как же это: просто за деньги? — спрашивает Ахиллино.

На это ответа нет.

Снова барка, и паруса, и ночевка на палубе. Скучный свет факелов, табак и спирт, рыбы кости и пьяная ругань матросов.

Бордигера, Сан-Ремо, порт Морис и, наконец, Савона.

— Постранствуй после смерти так же, как римский первосвященник странствовал при жизни, — говорит Андреа, хлопая по плечу Ахиллино Паганини и стуча кулаком по гробу великого скрипача.

Но синьор Ахиллино Паганини теперь обладает купленным маркизатом, он — эччеленца; прошли годы, когда можно было над ним смеяться, он — один из лучших знатоков канонического права во всей Италии.

Церковь «Стегката» в 1853 году возносит молитву об отпущении грехов неслыханному грешнику. Миллион сто тысяч франков потекли золотым потоком по каналам консистории римской апостолической курии. Еще немного, и будут выжаты последние соки из этого Ахиллино.

Зрелый муж, не лишенный сумасбродного, меланхолического величия, маркиз Ахилло Паганини обращается к римскому первосвященнику с просьбой о выяснении загробной судьбы отца. И, как это ни странно, римский первосвященник, отвергая все предшествовавшие постановления, требует, чтобы два каноника, выехавшие из Рима, определили, насколько был повинен в ересях покойный отец, безвестный и презренный скрипач: надо сделать это ради сына, знаменитого Ахилло Паганини, верного сына церкви, каноника часовни «Стегката» в Парме, архидиакона римской церкви.

— Это пустая форма, — говорили маркизу Ахилло в Риме.

Но пустая форма растянулась ровно на двенадцать лет. Синьора Паганини к этому времени раза три-четыре зарывали в землю и выкапывали обратно.

И пока два каноника ездят по всем городам, где давал концерты покойный скрипач, синьор Ахилло успевает покрыться морщинами.

Наступил 1876 год. Из склепа на вилле Полеври гроб тайком перенесли в Парму, где впервые поставили в каменном склепе на кладбище. Но прошло еще семнадцать

лет, прежде чем римский папа разрешил предать это тело земле.

Наступил 1896 год, когда впервые владелиц виллы Гайона въехал — в цинковом гробу — в свое имение.

Седоволосый, желтолицый, огромного роста хилый старик, с опухшими веками и нависшими бровями — кавалер ордена святого Георгия, маркиз Ахилло Паганини стоит со свечой среди кипарисов. В маленькой ограде высятся восемь колонн. Над архитравом вздымается легкий купол, по фронтоны — большая надпись: «Никколо Паганини».

Синьора Бьянки давно похоронена на севере Франции. Маркиз Ахилло Паганини ждет прихода священника. Рядом с ним стоит плохой венгерский скрипач Ондричек и играет раздирающую душу мелодию памяти Паганини. Потом скрипач уходит. Синьор Ахилло боязливо озирается. Свеча наполовину сгорела, а священника все еще нет. Неужели и в этот раз опять какое-нибудь новое вмешательство?

Но вот, наконец, приходит этот вершитель судеб. Суровый, грубый, с резкими движениями, с сознанием своей власти над существом человека. По всем без исключения правилам святой римской католической церкви происходит полное погребение.

Внезапно прибегает синьор Андреа Паганини:

— Этот негодяй генуэзец не соглашается платить две тысячи лир! Он говорит, что эти ордена, медали, булавы, иголки и запонки не так уж ему необходимы. Чего они от нас хотят, подлецы?

— Тише, — останавливает его Ахилло Паганини. — Вы и без того разменяли память моего отца.

Погребение закончено. В большой зале виллы Гайона собираются гости. Прошло пятьдесят шесть лет после смерти отца, и невероятным упорством маркиз Ахилло Паганини добился своего — его отец, наконец, зарыт в землю и смешался с прахом своей родины. Вот сидит священник, который говорит, что душа нераскаявшегося грешника теперь прощена богом и радуется радостью ангелов.

Маркиз Ахилло тихо прикладывает платок к глазам, а когда высыхают слезы умиления, он подсчитывает оставшиеся деньги и с ужасом думает о том, как дорого обходится людям воссоединение с католической церковью и как тяжело ложатся на детей грехи отцов.



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая.</i> Город двуликого бога	5
<i>Глава вторая.</i> Легенда о рождении	7
<i>Глава третья.</i> Нищета	7
<i>Глава четвертая.</i> Война	10
<i>Глава пятая.</i> Путь по земле	15
<i>Глава шестая.</i> Кремона	20
<i>Глава седьмая.</i> Граф Козно	28
<i>Глава восьмая.</i> Путь по звездам	35
<i>Глава девятая.</i> Отрочество	46
<i>Глава десятая.</i> Карты, кости и скринья	57
<i>Глава одиннадцатая.</i> Крысы	63
<i>Глава двенадцатая.</i> Львиная лапа перевернула страницу	70
<i>Глава тринадцатая.</i> Carmen saeculare	74
<i>Глава четырнадцатая.</i> На три франка	91
<i>Глава пятнадцатая.</i> Тюльпаны и гитара	97
<i>Глава шестнадцатая.</i> В стране отцов	104
<i>Глава семнадцатая.</i> Путь к вершине	113
<i>Глава восемнадцатая.</i> Двойная жизнь	135
<i>Глава девятнадцатая.</i> Скитания Орфея	145
<i>Глава двадцатая.</i> В поисках Эвридики	156
<i>Глава двадцать первая.</i> Преображенная Эвридика	169
<i>Глава двадцать вторая.</i> По дороге на Вену	181
<i>Глава двадцать третья.</i> Прижизненное погребение	198
<i>Глава двадцать четвертая.</i> Опытный врач	207
<i>Глава двадцать пятая.</i> Письма и пассажиры	215
<i>Глава двадцать шестая.</i> На берегах большой реки	233
<i>Глава двадцать седьмая.</i> Ученик и учитель	243
<i>Глава двадцать восьмая.</i> Отражение двух зеркал	255
<i>Глава двадцать девятая.</i> На хлебе страдания и на воде страха	270
<i>Глава тридцатая.</i> Сожжение сует	285
<i>Глава тридцать первая.</i> Сомествие в Аид	292
<i>Глава тридцать вторая.</i> Дыхание мистралья	308
<i>Глава тридцать третья.</i> Загробные скитания	316

fr. 80r.

